

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

Бог света! Озари и помоги

Не множить на земле погостов,



От караван-сараев
береги

Твой Остров!

Бог сечи! Если нет
судьбы другой,

Не дай жиреть

беспечности
бескостой...

Уже в российский
берег бьет

прибой.

Европа — остров!

Василий Бетаки

Тихо в мире. Скорбно. Немо.

И пылает стремя злое.

В воротах — полки
медвежьи,

А в очах-то — злые

пчелы...

Древний клич

тревогу будит —

Клич спасенья!

Это с башни

колокольным

дальним эхом

Слышен зов:

Эммануил!

Василь Барка



Очень важно понять, что власть в СССР достаточно прочна и, возможно, переживет всех нас. Она не только прочна, она гибка, и это значит, что под давлением обстоятельств она меняется и может становиться человечнее, хотя и сопротивляется этому. Но по своей природе власть эта порочна в основе и очень важно не забывать, что она может стать вполне бесчеловечной, как это уже было. Поэтому для тех, кто хочет помочь народам России, важно



понимать, какого рода давление извне и изнутри может заставить эту власть изменяться в сторону большей человечности — медленно, увя, очень медленно, но все же изменяться. И важно понимать, какое давление сделает ее еще хуже.

Валерий Чалидзе

И в лет — прямое попаданье.

И смерть пернатого письма.

Где рваный ракурс заклинанья



«О, дай нам Бог
сойти с ума!»

Мир заключен
в стеклянной

сфере,

Вмерзает, как бы
в лед — графин.

Но у щеки обитой
двери

Рассечен шрамом
дерматин.

Кира Сапгир

Русским... свойственно было всегда и

тоталитарное и либеральное мышле-

ние. Стоит лишь обратиться к кон-

кретным фактам

истории русской

мысли и политичес-

кой жизни России

за последнее тыся-

челетие, чтобы уви-

деть, что в России

либерализм имел

не меньше шансы

на успех, чем то-

талитаризм.

Герман Андреев



Главный редактор: Владимир Максимов
Заместитель главного редактора: Виктор Некрасов
Ответственный секретарь: Наталья Горбаневская
Заведующая редакцией: Виолетта Иверни

Редакционная коллегия:

Раймон Арон · Ценко Барев · Джордж Бейли
Сол Беллоу · Николас Бетелл · Иосиф Бродский
Владимир Буковский · Ежи Гедройц
Александр Гинзбург · Пауль Гома
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Петр Григоренко · Милован Джилас · Эжен Ионеско
Артур Кестлер · Роберт Конквест · Наум Коржавин
Эдуард Кузнецов · Николаус Лобковиц
Михайло Михайлов · Эрнст Неизвестный
Андрей Сахаров · Виктор Спарре · Странник
Юзеф Чапский · Александр Шмеман
Карл-Густав Штрём · Пьер Эмманюэль

Корреспонденты «Континента»

Англия Владимир Тельников
Wladimir Telnikov, 28 St Luke's Rd
London W 11

Израиль Михаил Агурский
Michael Agoursky, P O B 7433,
Jerusalem, Israel

Италия Сергей Рапетти
Sergio Rapetti, via Veruto 1/B
20131 Milano, Italia

США Юрий Ольховский
Yuri Olkhovsky, 3319 Ardley Court
Falls Church, Va. 22041, USA

Япония Госуке Утимура
Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7
189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

К

КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал

23

Издательство «Континент»
1980

СОДЕРЖАНИЕ

Инна Лиснянская — «Кусочек мироздания...». Стихи	7
Владимир Максимов — Они и мы	15
НОВЫЕ СТИХИ: Бахыт Кенжеев, Василий Бетаки, Игорь Чиннов	65
Фазиль Искандер — Кролики и удавы. Окончание	79
МАСТЕРСКАЯ: Василь Барка, Владимир Казаков, Дмитрий Савицкий, Кира Сапгир	137
РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ	
Валерий Чалидзе — О некоторых тенденциях в эмигрантской публицистике	151
Владимир Буковский — «Почему русские ссорятся?»	176
Андрей Сахаров — В редакцию журнала «Континент»	200
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Кшиштоф Заврат — «Барышни из Вилько» и художники из Варшавы	203
ЗАПАД — ВОСТОК	
Александр Пятигорский — Философия на развалинах революции	213
ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА	
Лидия Шатуновская — «Дом на набережной»	235
Семен Черток — «Лагеря придумал Френкель»	255
ИСТОРИЯ	
Герман Андреев — Заметки о традициях русского либерализма. Окончание	263
ИСТОКИ	
Роман Днепров — «Власовское» ли?	287

СПОРТ И ПОЛИТИКА

**Фридрих Незнанский, Эдуард Тополь — Миллион
для чемпионки** 315

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Борис Суварин — Последние разговоры с Бабелем 343

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 379

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

А. Лосев — Крестный отец самиздата 381

В. Бетаки — Репортаж о марафоне 384

Виолетта Иверни — Книга — жизнь 388

Кира Сапгир — Водочная речка — железны берега 393

Н. Горбаневская — Вы — свободны! 397

КОРОТКО О КНИГАХ 403

НАША АНКЕТА

Интервью с Милованом Джиласом 425

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

«КУСОЧЕК МИРОЗДАНЫЯ...»

* * *

Этот город — арестантская одевка,
Полосатый и застиранный мешок.
В нем давно себя не чувствую неловко,
Ничего не замышляю поперек.

Ни к чему мне и свирепая усталость,
И воинственная русская вина...
Что с того, что я надолго задержалась,
Что с того, что эта улица темна?

Провод голый ухватить рукою голой —
Неужели вспыхнет света полоса?
Я понизила, а ты возвысил голос,
Я зажмурилась, а ты раскрыл глаза,

Ангел мой, полуседой и бесноватый,
Ты зовешь меня из мрака моего
В тот просвет, куда уходят все закаты
И откуда не приходит ничего.

Фосфорическая кошка ест из блюдца,
Единица придвигается к нулю...
Мне бы вздрогнуть, мне бы вскрикнуть и проснуться
И очнуться, — но давным-давно не сплю.

* * *

Есть у меня лампада
И дерево и Русь,
Где я живу, как надо,
И мыслить не берусь.

Кусочек мирозданья
Пылает с двух сторон,
По краскам угасанья
Я вижу — это клен.

А как на ладан дышит
Страна во цвете лет,
Увидит и опишет
Эпический поэт,

И подтолкнет страдальца
И жертву к алтарю.
А я на всё сквозь пальцы
Или сквозь сон смотрю...

* * *

Предвидено, предсказано,
Цветком не прорасту,
Я к времени привязана,
Как к конскому хвосту.

О плоские булыжники
Крутым затылком бьюсь.
Молчат твои подвижники,
Затопанная Русь!

Молчат твои мятежники,
Лежат в сырой земле,
Кровавые подснежники
Им чудятся во мгле,

Да снится, как расплющило
Их младшую сестру, —
Лишь волосы распущены
И тлеют на ветру.

* * *

Возят на рынок картошку и сало,
Ягоду, тару, тряпье...
Мне хорошо, я еще не узнала
Куплю и тщетность ее.

В доме напротив два друга устало
Тянут хмельное питье...
Мне хорошо, я еще не узнала
Дружбы и скуки ее.

Возле кладбища в начале квартала
Праздно орет воронье...
Мне хорошо, я еще не узнала
Славы и праха ее.

Старый партиец смахнул с одеяла
«Правду» — обрыдло вранье...
Мне хорошо, я еще не узнала
Веры и краха ее.

Поезд тюремный уходит с вокзала
В тундру, где волчье житье...
Мне хорошо, я еще не узнала
Воли и смерти ее.

БАБУШКИНА ПЕСНЯ

Вот и без друга я, вот и без крыши,
Разве что не во гробу.
Первые песни, которые слышим,
Определяют судьбу.

Все-то мне слышится, как напевает
Бабка моя по ночам:
«Деточка, это не солнце сияет,
А догорает свеча.

Деточка, что ты от рамы оконной
Глаз не отводишь своих, —
Это стучится к нам ветер бездомный,
А не любезный жених.

Деточка, жарко тебе не от печки, —
Это пылает озноб,
Ангел-хранитель уносит с крылечка,
Легкий, как облако, гроб».

* * *

Судьба пытала, брила наголо,
И ты жила сверх всяких сил, —
Лицо смеялось, песня плакала,
Народ руками разводил.

Ты и поняв всю степень бедствия
Слыть полоумной иль чужой,
Не находила соответствия
Меж оболочкой и душой.

Но было и страшной мучение:
Ты всматривалась в зеркала,
Но подлинного отражения
Никак найти в них не могла.

Стекло лицо твое коверкало,
Но пела пустота в тиши,
Что кроме музыки нет зеркала
У человеческой души.

* * *

Затвердел воздушный пласт
И почти немислим вдох.
— Потеряешь, Бог подаст,
Задохнешься, примет Бог.
Этот в сердце разнобой
Не конец, а перерыв. —
Это я сама с собой
Говорю, окно раскрыв.
Наверху стоит январь,
А июль стоит внизу,
Воздух черствый, как сухарь,
И сегодня разгрызу.
Липа выдох мой вдохнет,
Превратит в медовый дым, —
Друг вспомнит и придет,
Был бы цел и невредим!
Сладко выспится отец,
Руки мертвые скрестив, —
Даже это не конец,
Даже это перерыв.

* * *

Ветер дует и свет задувает,
Задувает и сердце мое.
Но не верьте мне, так не бывает!
Это нас, как табак, набивает
Время в трубку и курит ее,

И выкуривает из таможни
В синий воздух родных и друзей.
С каждым часом на сердце тревожней,
С каждым разом мне все невозможней
Дождаться минуты своей.

Ветер дует и речь задувает...
Но не верьте мне, так не бывает,
Я порю несусветную чушь!
Это время, куря, затевает
Мировую миграцию душ.

1977 г.

* * *

Возьми меня, Господи, вместо него,
А его на земле оставь!
Я — легкомысленное существо,
И Ты меня в ад отправь.

Пускай он еще поживет на земле,
Пускай попытает судьбу!
Мне легче купаться в кипящей смоле,
Чем выть на его гробу.

Молю Тебя, Господи, слезно молю!
Останови мою кровь
Хотя бы за то, что его я люблю
Сильней, чем Твою любовь.

ВОДОЛЕЙ

Никогда ни о чем не жалею,
Никогда ничего не изменится...
Лей слезу, голубой водолей,
На голодную зимнюю мельницу!
Я, твоя лунатичная дочь,
Буду в поле поземку толочь,
Буду вьюгу месить привокзальную, —
Пролегла пешеходная ночь
Через всю мою жизнь поминальную.
Перед небом ничем не гордясь,
Погружаюсь в дорожную грязь,
Самолет — совершенство излишнее, —
Что дала нам воздушная связь?
Чем стремительней, тем неподвижнее.
В мимоходной толпе облаков
Встречу тени друзей и врагов,
И потоком сознания подхвачена,
Я под легкие звоны подков,
И под клетоты колоколов,
И под всхлипы души околпаченной
Обойду все родные места
От бакинской лозы до креста
На лесистой московской окраине,
Наша память о жизни — мечта,
Наша память о смерти — раскаянье.
Водолей, голубая бутылка,
Память, мельница, жатва обильная, —
Из-под жернова белая пыль,
То ли снег, то ли известь могильная.

ЛИСНЯНСКАЯ Инна — родилась в 1928 году, в Баку. Начала печататься в конце сороковых годов. Автор нескольких книг стихов. Участница альманаха «Метр⁰поль». Живет в Москве.

27 января 1980 года в лагере строгого режима в поселке Табага в Якутии умер глава Церкви Адвентистов Седьмого Дня в СССР Владимир Андреевич Шелков. За месяц до этого ему исполнилось 84 года, из которых в общей сложности 25 лет он провел в советских тюрьмах и лагерях за свои религиозные убеждения. Последний раз В. А. Шелков был арестован 14 марта 1978 года и затем осужден 23 марта 1979 года в г. Ташкенте на 5 лет лагерей строгого режима.

Ему инкриминировались выступления против религиозных преследований в СССР (он собрал и направил информацию об этом Белградскому совету по проверке выполнения Заключительного Акта Хельсинкских соглашений и написал об этом в своем обращении к президенту Картеру в 1977 году); распространение религиозной и правовой литературы и выступления против преследований А. Д. Сахарова, Юрия Орлова и Александра Гинзбурга.

Арест и осуждение В. А. Шелкова вызвали много протестов как внутри Советского Союза, так и за рубежом. Практически в каждом из них был призыв учесть возраст и состояние здоровья В. А. Шелкова, при которых это осуждение означало смертный приговор. Последние месяцы Владимир Андреевич и его родные неоднократно обращались с просьбами о переводе его в другое место с менее суровым климатом, не настолько губительным для его больного сердца, как климат Якутии, а также об оказании квалифицированной медицинской помощи. Все призывы и обращения оставались без ответа.

К сожалению, это не первый известный нам случай гибели заключенных в результате того, что им не была оказана квалифицированная медицинская помощь, несмотря на просьбы и обращения (Борис Талантов, Юрий Галансков и др.).

Издательство «Хроника»

ОНИ И МЫ

Размышления у театрального подъезда

Перевод этой пьесы я выловил в «Самиздате» еще в конце пятидесятых годов и с тех пор сделался горячим поклонником ее автора. Поэтому легко понять мое волнение, когда, спустя годы, уже будучи в эмиграции в Париже, я получил от него коротенькое, но исполненное словесного изящества письмо с приглашением на премьеру возобновленного театром Д'Орсе спектакля «Носороги».

Действо начинается с идиллической, традиционно французской картинке: за столиком перед входом в кафе собираются его завсегдатаи — обитатели окружающих кварталов, видимо, знакомые друг с другом с детства. Потягивая любимые напитки, они обмениваются житейскими новостями, спорят, мирятся и снова спорят. Ничто еще не предвещает сумасшедшей карусели последующих событий. Но в самой атмосфере или, так сказать, в цвете спектакля уже чувствуется, улавливается едва ощутимая, но все нарастающая тревога, от которой в обморочной истоме, словно при авиационной болтанке, то и дело сжимается сердце. «Боже, отвори эту беду от меня, ради детей моих!»

Мир начинает медленно, но неотвратимо сжиматься вокруг идиллического кафе с его клиентами и обитателями, с его повседневной суетой и хлопотами, с его карточной хрупкостью и мнимым благополучием. Сначала это только слухи и пересуды о весьма проблематичной опасности, затем отдаленный храп и

Продолжение «Саги о носорогах». Журнальный вариант.

топот и, наконец, первая, окутанная собственным дымом тень однорогого зверя накрывает собою этот последний остров тишины и благоденствия.

Я не знаю языка, переводят мне сбоку чуть слышно и с пятого на десятое, но зрение мое неожиданно отмечает, как среди действующих лиц, у одного за другим, принимается дробно постукивать каблук ботинка, а в еще членораздельной речи время от времени прорывается легкое похрапывание: человек физически хоть и присутствует в привычном своем бытии, но внутренне он уже там, в храпящем и топочущем стаде, где нет места разуму или логике.

И так один за другим, один за другим, до тех пор, пока последний из упорствующих — главный герой этой трагической мистерии — не складывает оружия и не сдается, безвольно вливаясь в безумный поток всеобщего озверения.

Страшно, почти до беспамятства страшно, но ведь это было предсказано, и когда!

«Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло».

После спектакля мы стоим с автором в фойе, и я, вспоминая наш первый с ним разговор сразу по моем приезде в Париж, когда у меня еще кружилась голова от надежд и радужных иллюзий, подавленно спрашиваю его:

— Значит, выхода нет?

— Не знаю, — отвечает он, мерцая печальными глазами, — но, по-моему, вы опоздали, поезд уже отошел.

— Значит, конец?

— К сожалению, месье Максимов, к сожалению.

— Жизнь без надежды, зачем?

— Я тоже часто думаю: зачем?

— Если так, — в отчаянье взрываюсь я, — то для себя человек должен оставить только последний патрон.

— К сожалению, и это не выход, — тихо молвит он и начинает раскланиваться, — увы!

Он неспешно направляется к выходу, и, проследившая взглядом его медленную и чуть шаркающую поступь, я представляю себе, будто он выносит сейчас из театра на своих сутулых плечах какой-то никому неведомый, но непомерно тяжелый груз.

Я тоже выхожу в ночь, и меня тут же хрипящим полукольцом обступают однорогие рожи, готовые в любую минуту раздавить, растоптать в остервенелом раже все, что встает на их безумном пути. И кого только нет в этом беспощадном стаде: неудовлетворенные в славе и похоти околотитературные истерички; озлобленные графоманы из числа кандидатов в общемировые гении; ничего не забывшие и ничему не научившиеся «совпатриоты» послевоенных лет; набившие руку на стукачестве и всегда готовые услужить недооценившей их советской власти профессора; амнистированные советские шпионы, мародерствующие на переводческой ниве; и дети советских шпионов, на старости лет высасывающие из пальца романы а ля «рашен клюква»; бывшие и нынешние «члены родной коммунистической партии», с помощью которых уже потоплено в крови более полумира, и так далее и тому подобное или, как говорят здесь, на Западе, — этсета, этсетера.

Но в общей мешанине звериных масок я различаю лица людей, еще недавно близких мне по духу и делу. Вот они: раз, два, три и еще, и еще, и еще: один за другим, один за другим. Неужели скоро и моя очередь!

Я иду в ночь, чувствуя себя существом, по которому всей своей тяжестью прошелся асфальтовый каток. Меня остается только подсунуть под двери

моей квартиры вместо прощального письма жене и детям.

Пронеси, Господи!

1

Они пригласили его на частную встречу, обставив ее с такой конспиративной ухищренностью, будто дело происходило во времена оккупации и подпольного Сопротивления. Они — это высшее руководство «авангарда еврокоммунизма», «самой независимой от Москвы компартии Запада», здешнее средоточие «веротерпимости и демократического плюрализма», так сказать, без берегов. Он — один из ведущих лидеров «Пражской весны», мучительно переживающий свой переход от безграничной веры в марксистские идеалы к искреннему осознанию краха недавних надежд и прежних иллюзий.

Они, разумеется, сочувствуют ему, хором сетуют на агрессивную амбициозность «русских товарищей», наперебой клянутся в понимании и солидарности, умильно рисуя перед ним радужные картинки их собственной, европейской формы социализма, который будет построен ими сразу же после прихода к власти.

Он слушает их восторженный лепет вполуха, с самого начала убедившись в том, что его пригласили сюда не для того, чтобы понять, а лишь затем, чтобы обеспечить себе душевный комфорт свободомыслия и сомнительное алиби перед своею собственной и не совсем чистой совестью. Да и о чем ему спорить с ними, с этими политическими младенцами пенсионного возраста, если у них в голове вместо воспринимающего устройства крутится заезженная пластинка со стереотипами расхожего пропагандистского толка. Им не понять его до тех пор, пока гусеницы советских танков не впечатают в их души свои неопровержимые письма. Но тогда уже будет поздно.

Лишь на прощанье он не удерживается, говорит, снисходя к их непробивной самоуверенности:

— Неужели после всего, что было, вам трудно понять, что как только ваша партия придет к власти, вы должны будете сойти со сцены?

— Интересно, — с вызовом вскидывается один из них, — кто же придет тогда к руководству?

— А тот, кто придет, — в сердцах отрезает гость, — он еще даже не в партии, он торгует сейчас сигаретами в Неаполе.

Нет, нет, никогда, убеждают гостя хозяева! Они не допустят этого, они абсолютно свободны в своих решениях, они принципиально самостоятельны, они предельно независимы, и у них собственный, не имеющий ничего общего с восточным путь к социализму.

Конечно же, самостоятельны и, конечно же, принципиальны, но, правда, и того и другого у них хватает ровно настолько, чтобы конспиративно встретиться со своим чешским коллегой, весьма опасаясь, как бы слух об этом не дошел до чутких ушей «старшего брата», от которого они так независимы. И это — еще находясь в уважаемой оппозиции!

2

Съезд молодых социалистов. И, разумеется, страстные речи о Свободе, Равенстве и Братстве, о борьбе с эксплуатацией, неоколониализмом, расовой дискриминацией. Боли и беды далеких Чили, Аргентины, Южной Африки воспринимаются здесь как свои. Горящие глаза, вдохновенные лица, уверенные голоса. Со стороны посмотреть, сердце возрадуется: есть еще взыскующие Правды души!

Но вот на трибуну выходит гость из России. Он так же молод, как и они, но у парня за спиной два тюремных срока, демонстрация на Красной площади

против оккупации Чехословакии, вынужденная и очень тяжкая для него эмиграция.

Он говорит им о своей стране, о ее духовной и социальной трагедии, о миллионах замученных в прошлом и о тысячах заточенных сегодня, о борьбе и общественных исканиях русской молодежи. Он приводит проверенные свидетельства и установленные факты. Он взывает к поддержке и помощи.

Но зал реагирует весьма вяло, к концу выступления и вовсе замолкает. Гаснут глаза и лица, освободительный восторг улетучивается прямо-таки на глазах. Такое впечатление, будто собрание прихватило внезапным заморозком.

Гость сходит с трибуны и после короткой паузы в спину ему тянется недружная, но отчетливая цепочка ругательств:

- Фашист!
- Лакей империализма!
- Социализм — да, Си-ай-эй — нет!
- Пропаганда!...

Парень, не оборачиваясь, выходит в ночь, заворачивая в ближайшее кафе, где за кружкой пива, в который уже раз в эмиграции пытается осмыслить эту, непонятную для него глухоту окружающих.

Внезапно двери распахиваются и в кафе вваливается компания его недавних слушателей. Глазами отыскав гостя, они с беззаботным дружелюбием рассаживаются вокруг него, и каждый из них спешит к нему с рукопожатием.

— Ты понимаешь, — доверительно полуобнимает его за плечи один из них, — все, что ты говорил, — правда, мы это знаем и верим тебе, но на собрании так нельзя, это могут использовать наши враги.

— Всегда и везде, — с горечью откликается гость, — это начиналось именно так.

— Что ты имеешь в виду? — недоумевает тот.

И уже поднимаясь, гость коротко бросает:
— Фашизм.

3

Цитата из статьи одного ошалевшего от собственной прогрессивности испанского журналиста по поводу приезда Александра Солженицына в Испанию:

«Я убежден, что, пока существуют такие люди, как Солженицын, придется сохранить исправительные колонии. Возможно, следует несколько улучшить их охрану с тем, чтобы лица, подобные Солженицыну, до тех пор пока они не перевоспитаются, не могли бы оттуда выйти».

Не знаю, что он за журналист — этот писака, — но вот по части сыскной и тюремной чувствуется явный профессионализм.

Думаю, что Испания должна знать своих... героев: его имя — Хуан Бенет.

4

У этого итальянского гида лицо Савонароллы и повадки комиссара времен Гражданской войны. Презрительно кивая в сторону храма святого Петра, он отрывисто спрашивает:

— Что вы на это скажете?

— Прекрасно, — ничего не подозревая, отвечаю я, — поразительно гармонично!

— Гармония — это для буржуазных эстетов, — пренебрежительно пожимает плечами он, — для нас, людей прогресса, это прежде всего памятник тиранической эксплуатации человека человеком.

— ?!..

Этот интеллигентный вандал, еще не придя к власти, уже готов нажать рычаги бульдозера, чтобы в любой момент снести с лица земли славу Италии и

воздвигнуть на ее месте многоквартирный курятник, который развалится в промежутке между двумя муниципальными выборами. Можно себе представить, на какие социальные художества способен этот «реформатор», окажись он вскоре у кормила правления!

5

Они слушают меня угрюмо, настороженно, как бы заранее не принимая моих доказательств. Потом один из них — с беспорядочно взбитой шевелюрой до плеч — задиристо выдвигается навстречу:

— Что вы нам все твердите: «свобода», «свобода»! Свобода умирать с голода и быть безработным — это тоже свобода, но кому она выгодна?

Знакомые речи! У меня на родине меня пичкали ими более сорока лет, но там, к счастью, эта наивная демагогия давно уже не принимается всерьез ни пропагандистами, ни слушателями, а вот здесь, в свободном мире, поди ж ты, она в самом ходу.

Мой друг — Наум Коржавин — в таких случаях отвечает со свойственной ему поэтической лаконичностью:

— Что такое свобода? А вы потеряйте ее, тогда узнаете.

К тому же, удивительное дело! — когда ретроспективно оглядываешь историю, то убеждаешься, что перед Человеком во все века вставала одна и та же дилемма: Свобода или Хлеб — с вытекающей из нее последовательной закономерностью: если человек выбирал Свободу, он обычно имел Хлеб; если же выбирал Хлеб, он тут же терял и то и другое.

К сожалению, Человек чаще всего выбирал и продолжает выбирать — Хлеб.

Как палит корсиканское солнце! И как приятно сидеть в это время дня под тентом случайного кафе, потягивая белое вино и запивая его минеральной водой со льдом. Народ на Корсике, хоть и горячий, но дружелюбный, улыбочивый, всегда расположенный к застолью и собеседованию.

К моему столику подсаживаются двое. Оба лет тридцати, поджарые, мускулистые, в рабочих, заляпанных раствором комбинезонах. Заказывают аперитив и тут же поворачиваются ко мне:

— Месье — иностранец? — радушно улыбаясь, спрашивает тот, что сидит напротив меня. — Я угадал?

— Совершенно верно.

— Наверное, немец?

— Нет, русский.

— Вы здесь в отпуске?

— К сожалению, эмигрант.

Продолжая улыбаться, он сокрушенно покачивает головой:

— И кто только вас сюда звал, ехали бы лучше в Америку, там вас скорее поймут, они привыкли, у них там сброд со всего света. Если уж вам в Советском Союзе было плохо, то здесь вас ничего хорошего не ждет. Вы скоро увидите, какво живется простому человеку в капиталистическом раю.

— Увы, в социалистическом еще хуже.

— Это страшные сказки для маленьких детей.

— Надеюсь, вы слышали про ГУЛаг, со временем у вас может случиться то же самое.

Его улыбка становится все шире и дружелюбнее и только уши мешают ей раздвинуться еще шире:

— И чем скорее, тем лучше, мы станем тогда надежными надзирателями для таких, как вы.

Вот и все.

Из газет:

«По сообщению «Вашингтон пост», сенатор Фулбрайт считает, что радиостанции «Свобода» и «Свободная Европа» являются сеятелями недоверия, вражды и ненависти и призывает американское правительство закрыть эти источники дезинформации времен холодной войны».

От русского слушателя в «Вашингтон пост»:

«Уважаемый господин редактор! Недавно в еженедельнике «За рубежом» мы прочитали перепечатанную из Вашей газеты статью сенатора Фулбрайта. Выступления этого убеленного сединами государственного мужа ценятся у нас наряду с трудами таких маститых советских международников, как Юрий Жуков, Николай Грибачев и Валентин Зорин. Но, к сожалению, в его публикациях порою проскальзывают нотки оппортунизма, а то и прямого капитулянтства. Красноречивым тому свидетельством может служить и вышеозначенная статья».

Господин Фулбрайт, к примеру, пишет: «Известие о том, что Россия организовала радиостанцию «Освобождение Америки» с целью демонстрации наших недостатков и разжигания недовольства в нашей стране, едва ли было бы встречено в Соединенных Штатах с удовольствием».

Эта, прямо скажем, безответственная гипотеза равносильна обвинению нас в классовом отступничестве и ревизионизме. Очень жаль, но мы должны поправить господина Фулбрайта: такая станция у нас существует и носит вполне недвусмысленное название «Мир и прогресс». Ее многочасовое вещание на всех основных языках мира, в том числе и на английском, с отдельной американской редакцией, известно прогрессивной общественности во всем мире. Мы никогда не прекращали и не прекратим

беспощадной идеологической борьбы с американским империализмом, судом Линча, угнетением и нищетой негритянского рабочего класса в Америке. Мы призывали и будем призывать трудовой народ США к свержению ненавистной ему власти империалистического капитала, ибо, как справедливо писала газета «Правда»: «Борьба между пролетариатом и буржуазией, между мировым социализмом и империализмом будет идти вплоть до полной и окончательной победы коммунизма в мировом масштабе».

Прекращение такой борьбы, на наш взгляд, было бы изменой нашему интернациональному долгу, вечной правоте дела Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина, освобождению человечества от гнета пресловутой буржуазной демократии. Так что напрасно господа рокфеллеры, маккормики и прочие херсты пытаются усыпить нашу классовую бдительность своими финансовыми посулами. Торговля торговлей, а идеология врозь. Мы начеку, мы на страже, мы во всеоружии!

Если бы не эти досадные и, смеем надеяться, случайные промахи в выступлениях господина Фулбрайта (возраст, видимо, берет свое), то он со спокойной совестью мог бы представлять интересы нашей страны в Вашингтоне.

С уважением

Имярек

От себя: Прошу сообщить мне номер счета господина Фулбрайта с тем, чтобы я мог перечислить туда те примерно семь центов (пятак по официальному курсу), которые он как налогоплательщик ежегодно и с таким понятным мне отвращением отдает на содержание разного рода сомнительных радиостанций, клеветующих на его кремлевских друзей.

С уважением

В. Максимов

Она смотрит на меня, прищулив близорукие глаза, и выговаривает, словно отсчитывает доллары в крупных купюрах:

— У нас на Западе так не пишут, это некорректно и грубо, у нас на Западе...

Она настолько русская, что даже приходится внучкой по прямой линии одному из наших классиков, но, родившись в эмиграции, изо всех сил старается вытравить из себя все, напоминающее ей о ее настоящей родине и норовит выглядеть передо мной, как говорится, святее Папы. «У нас на Западе» она произносит так, будто Запад — это ее личный огород при их фамильной усадьбе.

Я слушаю ее, и мне хочется кричать благим матом: ратуйте, добрые люди, караул!

Из писем

1

«Владимир Емельянович! Причиной настоящего письма является инцидент, имевший место 18 июня с. г. на приеме, устроенном Баварской Академией изящных искусств для писателей Восточной Европы в Мюнхене.

На обеде в ресторане один из Ваших служащих, г. Н. ударил меня по голове, а подбужвавшая г. Г. произнесла оскорбления в мой адрес. И если некоторое извинение г. Н. можно видеть в том, что он был пьян, то для поведения г. Г. те же оправдания не столь очевидны, — впрочем, я не берусь утверждать это определенно.

Надо ли говорить, что эта сцена произвела дурное впечатление на немецкую общественность.

Коль скоро мой журнал стал международным и мне приходится его представлять, то наши встречи, к сожалению, неизбежны, и я призываю Ваших служащих вести себя более хладнокровно: в конце концов странно, что вчерашние герои диссидентства ведут себя в духе чекистско-милицейской практики. А от нее, как Вы, может быть, еще помните, есть только одна защита — гласность. Н. Б.».

«Господин Б.! Вполне разделяя взволнованность мировой общественности по поводу головы редактора журнала, который уже становится «международным», я, тем не менее, вынужден заметить Вам, что Вы обратились не по адресу: редакция «Континента» не полицейский участок, а я не околоточный. В. Максимов».

2

«Много уважаемый г-н Р., я получил от Вас такое не обыкновенное письмо, которого вообще не ожидал от таких высоко учёных людей, такого не обоснованного, ничего не знающего о моих Богом данных, 8-и летних, чудесных трудах. Вы меня осудили, ничего не знающие, что и как я это написал. Но какой разумный Судия, судил своего обвиняемого, не выслушавши его?!

1) что Вы сказали мне, что производство книг в Германии, будет мне стоить дороже, чем в самой Австралии. Да, но сколько дороже Вы должно умышленно этого не сказали. Ведь может быть дороже Тысячу, две тысячи и три тысячи?!

2) Вы пишете, что стихи продаются плохо, это верно, но это в Германии, где абсолютно русских людей нет. Но в Австралии на много раз это дело об-

стоит лучше, чем в Вашей без русских людей Германии. И насколько я это знаю, что я мог бы моих 100 книг продать за несколько дней! А Вы уважаемый Редактор, берёте утверждать, чего Вы сами не знаете. Или Вам моих денег жалко? Теперь, Вы пишете, что стихи, в особенности политические, продаются очень плохо! Это верно, а Вы знаете, что это не обыкновенные стихи, как в других поэтов, а это роман, выраженный в стихах, то есть дело новое, дело небывалое, которого нету нивкого в других, что бы была описана вся его жизнь в стихах. Да еще в таком обширном объёме, в 4-х томах, (каждый Том, по 300 ст. Это повидемому Вас нисколько не удивило, г-н Профессор. Вас видно что-то другое заставило отнестись ко мне отрицательно.

Вы пишете, что главным образом, книги политические, не идут в ход. Ну скажем, из за давления, или влияния ССР на Западную Европу, это отчасти верно, но как тогда солженические, (они что, не политические?!) так пошли по всему Свету, на несколько миллионов долларов?! Притом, кто платил за его издание книг? Разумеется не он сам, выскочивший с Сов. Союза в одной рубахе?! Ну Вы можете сказать, что это так сказать особенные книги, которые Редакция взяла на свой счёт, уверенно знавшая, что она вернёт свои деньги. Но кто платил за издание Максимовских книг? Который так-же выскочил с Сов. Союза, в одних помятых штанах, без копейки при душе?! Кто взял эту чепуху, на свой счёт, ее издать да еще в таком обширном тираже, с такой дорогой политурой, которая если я не ошибаюсь, дороже самой этой книги.

Вы пишете, что Максимова, «Семь Дней Творения,» ваш лучший роман, в котором там ничего абсолютно, хорошего нет. Это одно, а другое то, что он не знает хорошо русского языка. А 3-е то, что Как Вы будучи Профессором, знающим на зубор русский язык,

пропустили это?! И если Вы скажете, что это мое ложное утверждение, то я могу с Вами поспорить, на 1000 долларов! В него например есть такие выражения: Сторожкость, на место осторожность; лошаажим, наместь лошадиным; поёт с зазной; это грубое, чуть не вульгарное выражение. Крупчатого, наместо крупчатого; столби делянку, наместо сдолби делянку; (так в нас черкесы говорят) люди выглядывали както особенно бодро и выпукло; выпукло, это есть польское выражение, но не русское. Ржание, обезумевшей скотины, тоже не русское выражение. Ржание обезумевшей лошади, это будет правильное выражение. Сокровенно перегаваривались; наместо секретно, или тайно; тогда Андрей положил гнедка, а потом и лёг сам; представте, первый раз слышу, чтоб лошадь укладывали спать, а потом сами ложились. Да так, чтоб дух вон со-льду! Какой дух во-льду?! Что говорит безрогий, рогами шевелить? Дуб говорит, работай под серого; Ну во-гроб же твою мать! Это что, он так матерится, что ли? Это очень вульгарно, уважаемый Профессор. Серед голи и нищий принц; на место голоты. Вот сколько я Вам привел не русских, или не цензурных выражений, а мог бы их и больше написать, но я думаю и этих достаточно для доказательства, что Ваш уважаемый писатель Максимов-еврей, с такою чипухою и вульгарностью, так Вам мог понравиться. Но просто чуть, чуть не Нобелевскую Премию, ему посулили! И если бы не Солженицын, наверно былоб так. Да Вы кажется, (если я не ошибаюсь) есть «земляк», с Вашим Максимовым, потому должно так для него и постарались?!

Вот я Вам кстати скажу несколько слов о знаменитом романе, Доктор Живаго», где еще неоднократно подчёркивалось, в газетах, что Пастернак был Поэт. Но в его книге, «Доктор Живаго,» есть стихов только 33 странички. А других книг больших книг, от начала

и до конца стихов, я например таких неслыхал. Значит, его называли поэтом за какие-то коротенькие, незначительные стихи, поэтом?!

А его проза, в его книге «Доктор Живаго», на мой взгляд, тоже недостойная Нобелевской Премии.» (это разумеется, если её оценить справедливо) Я её тоже дочитал до половины и бросил. Это такой скучный роман! Так он его растягивает! Так он вникает во всякие ненужные, надоедающие читателю мелочи, что просто этим отбивает последнюю охоту, читать её. И если например, сравнить её с какой либо другой книгой, ну скажем с книгой Казанцева, «Третья Сила,» то она гораздо хуже неё. Мне просто удивительно, почему 2-ро классные, да еще романы, что это абсолютная выдумка, получают Нобелевские Премии?! Да, пусть будет в моих глазах, всё казаться (другого цвета), но вот я сказал одному человеку, про эту книгу, а он мне сказал так: я её тоже читал, но верите, еле, еле, её дочитал, это такой мелочный, такой скучный, что я просто без всякой охоты, не вникая в эти мелочи, с пятого, через десятое, её дочитал.

Я Вам скажу как бы в безумии моем, что в моей книге, «Князь Вяземский», больше кое-чего интересного да и больше в ней правды. А Вы г-н Профессор, не зная еще что там именно в ней написано, вже заочно её осудили! И вже заранья мне сказали, что лучше мол и «не рыпайся», иначе твоё дело пропащее!

Ведь я же Вам сказал в моем 1-м письме, что для меня было бы это целесообразно, чтоб её напечатало Ваше издание, ибо это есть ценный материал, для организации, которая там находится. Этот роман, «Князь Вяземский,» этот мой главный труд, как я вже Вам сказал, предназначен, для Советской молодежи, который будет и после моей смерти, воевать против коммунизма! Для освобождения от этого векового рабства. А в Вас г-н Редактор, из ваших слов, не

трудно понять, что в Вас не болит сердце, о нашей Родине. А это вполне понятно, что если Вы есть не русский, то оно так должно и быть. Но я всегда думал и сейчас думаю, о своей никогда забываемой Родине. А Вам видимо всёравно, Вам и в Германии живётся не плохо. И я Вам еще писал, что я получил Дар Божий, а получил его разумеется не для себя самого, а для всего русского народа! Но не вкоем случае, что бы мне на старость сбить себе громадную валюту, которая мне абсолютно не нужна. Я есть старый человек, а притом в меня плохая болезнь, от которой должно и года не проживу.

А Вы меня предупредили, чтоб я и в другие издания, не обращался, ибо мол ничего с этого не получится! Правду Пушкин сказал, что они мол любят только мёртвых,» вот получается и здесь так. Я Вас уверяю, что и меня «мёртвого» будут любить. Ибо я уже написал 10 книг, за такое короткое время. Но никто еще незнает содержания их, кроме меня одного.

Вы еще сказали, что мол любая типография, издасть, лиш бы ваши деньги, но продать вы их не сможете. То пожалуйста мои заботы, возложите на мою голову. Вы за их абсолютно не отвечаете. Ведь я же Вам писал в 1-м письме, что я с Вашей редакцией, заключил бы любой контракт, ибо я знаю что я написал и уверен втом, что я не прогорю с ним, а обязательно возьму свои деньги назад. А если и не возьму, то возмут мои дети. А если не возмут и дети, то возьмет наша Необъятная Родина!

Я думаю, что я не так узько понимаю, как кто либо другой.

Раз мне Бог дал чудо, то оно не есть худо. Я был человек совсем малограмотный, а вот видите, могу разговаривать и с Профессорами и с Иерархами. И прошу Вас верить в Бога, как и я верую и так грубо не отве-

чать писателю. Да, меня ни одна Редакция, не назвала таковым, но меня Сам Бог назвал. Да и я сам знаю, что в меня внутри есть.

Этот Вам обширный ответ, является как документом, (написанный в 2-х экземплярах) он будет свидетелем и после моей смерти, о всякой неправде, о всяком назло игнорирующем, или просто без всякого основания, унижающем меня. Ибо это не Вы первый и не Вы сами хотите моему делу сопротивляться, а злой дух, который не желает выпуска моей глубоко религиозной поэмы.

И так, с тем досвидания, желал бы я, чтоб мне дал Бог встретиться с Вами, с глазу на глаз.

Ксему Вас уважаемый, П. Л.»

О, этот безумный, безумный, безумный мир!

Трогательное единомыслие

1

Честно говоря, живя в России, я не предполагал, даже помыслить не мог, что у советской власти такое множество единомышленников на свободном Западе, готовых и за страх и за совесть топтать любого, кто, как говорится, может сметь свое о ней суждение иметь. В самом деле, за сорок три года жизни (и довольно крутой!) в Советском Союзе я, к примеру, не выслушал в свой адрес столько инсинуаций и ругани, сколько мне приходится выслушивать здесь всего за неделю. Причем все клишированные эпитеты и определения, которыми награждала и продолжает награждать меня советская и восточноевропейская печать, почти

дословно повторяются «самыми свободными в мире средствами массовой информации», не говоря уже об устном фольклоре.

Приведу для наглядности лишь заголовки и характеристики некоторых статей и заметок, посвященных моей скромной персоне или редактируемому мною журналу:

1. На службе реакции («За рубежом», СССР)
2. Диссиденты не представляют России (орган зарубежных монархистов «Знамя России»)
3. Рыбак, ловящий рыбку в антисоветском болоте («Огонек», СССР)
4. На службе у Шпрингера («Борба», Югославия)
5. В упряжке дьявола («Форвертс» — орган социал-демократической партии, ФРГ)
6. Архиреакционный журнал («Правда», СССР)
7. Пресловутый «Континент» (эмигрантская «Русская жизнь», США)
8. Кто такой Максимов? («Литгазета», СССР)

И так далее, и в том же духе.

По адресу Александра Солженицына советская, а также «самая свободная» печать и вовсе не стесняется:

1. Литературный власовец («Литгазета», СССР)
2. Солженицын предает русскую землю (монархическая «Знамя России»)
3. Солженицын разоблачил и дискредитировал лишь самого себя («Советская Россия»)
4. Король-то совсем голый! (националистическая «Свободное слово Закарпатской Руси»)
5. Солженицын хочет Аятоллу (либеральная «Цайт», ФРГ)...

И список этих «комплиментов» можно приводить и приводить до бесконечности.

Невольно хочется воскликнуть: чума на оба ваши дома!

Смотрю кинохронику двадцать пятого съезда их партии. Мертвые слова. Мертвые, ничего не говорящие и никем не проверенные цифры. Механическое и единоедушное, словно на кладбище, голосование. Мертвое однообразие мертвого ритуала. Господи, казалось бы, нормальному человеку даже не нужно читать «Архипелага», чтобы понять всю тотальную ложь и смертельную фальшь того кровавого действия, которое называется коммунизмом! Но, как это ни странно, в современном мире еще есть люди (и в огромном числе!) глухие (глухие ли?) и слепые (слепые ли?), готовые не только верить в эту кладбищенскую фантазмагорию, не только исповедовать ее бесчеловечные догматы, не только служить ей верой и правдой, но также, что еще преступнее, взаимоотносятся с ней, как с равной, как с «высокой договаривающейся стороной», как с естественным партнером свободного мира.

Несколько лет назад, к 30-й годовщине окончания 2-й мировой войны, польский философ Лешек Колаковский нарисовал утопическую картину послевоенного мира, где победу одержал гитлеровский нацизм. После короткого периода «холодной войны», а иными словами — принципиального сопротивления фашизму, спасшиеся от разгрома западные державы объявляют, наконец, эпоху разрядки напряженности. В нацистской Германии, тем временем, в свою очередь происходят «коренные» изменения: умирает Адольф Гитлер, и его политические наследники в лице Гиммлера и Геббельса принимаются за «либерализацию» расистского режима. Концлагеря переименовываются в «трудовые колонии», крематории заменяются благоустроенными психбольницами, а территориальные захваты провозглашаются «интернациональной помощью».

От себя мог бы дофантазировать: либеральная и откровенно розовая интеллигенция Запада, млея от

идеологического восторга, во всю мощь «прогрессивных» средств массовой информации трубит о благотворной либерализации национал-социализма «с человеческим лицом», завязывает дружеские контакты с творческими союзами Третьего Рейха, а господин Сартр, проживающий в Виши, приветствует замену Генриху Бёллиу смертной казни высылкой из Германии как акт гуманности и смягчения нравов в послегитлеровской верхушке.

Горькая правда этой пародии состоит в том, что она поразительно схожа с текущей действительностью. И напрасно апологеты детанта пытаются убедить народы в том, что *неизменяемая* природа тоталитаризма изменилась и что профессиональный агрессор с течением времени и под их дипломатическим влиянием становится все миролюбивее. На этот счет в России рассказывают весьма забавный, но горький анекдот.

«В зоопарке в одной клетке с волком мирно уживается ягненок. Удивленный посетитель обращается к сторожу:

— Поразительно, как вам удалось этого добиться?

— Очень просто, — невозмутимо отвечает тот, — правда, ягнят приходится часто менять».

Хватит ли у вас ягнят, господа хорошие!

3

«Я уже побывал в брюхе дракона, — написал однажды Александр Солженицын, — в красном брюхе дракона. Он меня не переварил и отрыгнул. И я пришел к вам свидетелем того, как там в брюхе».

К сожалению, мало до кого здесь доходит это свидетельство, большинство явно не прочь повторить рискованный эксперимент. Только боюсь, что дракон больше никого не выплюнет.

У дракона хороший желудок.

Цитаты с комментариями:

1936 год. Геббельс перед Олимпиадой в Берлине: «Каждый должен быть хозяином. Будущее Рейха зависит и от того, с каким чувством покинут его наши гости».

1936 год. Газета «Нью-Йорк таймс» после Олимпиады: «Гости Олимпиады уносят благоприятное впечатление о Рейхе».

Во что обошлось это «благоприятное впечатление» через несколько лет самой Америке, общеизвестно: почти один миллион жителей, не считая прочего.

1975 год. Заведующий отделом пропаганды Спорткомитета СССР, в преддверии Олимпиады в Москве: «Каждый москвич должен чувствовать себя хозяином. От нас всех вместе и от каждого в отдельности зависит, вынесут ли лучшие впечатления о Москве, о нашей социалистической родине гости Олимпиады».

1977 год. Та же «Нью-Йорк таймс»: «Более чем за три года до церемонии открытия двадцать вторых Олимпийских игр Советский Союз и Эй-Би-Си установили первый рекорд Московской Олимпиады — восемьдесят пять миллионов долларов». (Речь идет о сделке между Спорткомитетом СССР и этой телевизионной компанией.)

Если учесть бешеную и никем не контролируруемую гонку вооружений в Советском Союзе, то нетрудно представить, во что на этот раз обойдется Америке ее олимпийский бизнес! Боюсь только, подсчитывать будет некому.

1936 год. Тот же Геббельс в обращении к спортсменам: «Германия — ваш друг! Германия стремится только к миру, и только Германия имеет возможность обеспечить мир!».

1962 год. Брежнев на открытии пятьдесят девятой сессии Международного Олимпийского комитета: «Прочный мир, полное равноправие, взаимопонимание и доверие между всеми государствами, невзирая на различия в их общественном строе, — таков генеральный курс нашей внешней политики».

Не правда ли, трогательно!

2

1979 год. Свидетельство на Сахаровских слушаньях бывшего советского заключенного Николая Шарыгина: «На двенадцати лагпунктах Владимирской области изготавливаются значки и сувениры к Олимпийским играм в Москве».

Сообщения газет: «По сведениям, поступившим из достоверных источников, советские власти намереваются очистить столицу от примерно миллиона «лишних» людей, в основном молодежи, с целью оградить ее от «тлетворного» влияния западных туристов — гостей Московской Олимпиады».

Информационный бюллетень № 20 за 1979 год: «22-23 октября в Ленинградском городском суде слушалось дело члена Совета представителей СМОТ (свободное межпрофессиональное объединение трудящихся. — Прим. авт.)». И далее: «В ночь с 7 на 8 октября в Ленинграде арестованы Владимир Михайлов и Алексей Стасевич»; «Вечером 23 октября на улице Киева арестован Микола Горбаль, участник украинского правозащитного движения»; «10 сентября арестован рабочий Анатолий Позняков, один из членов Свободного профсоюза трудящихся».

Телеграмма Франс-Пресс: «1 ноября в Советском Союзе арестованы трое активных участников правозащитного движения: священник о. Глеб Якунин, математик Татьяна Великанова и литовский католик Антанас Терляцкас».

Владимир Буковский в обращении «Новые жертвы Олимпийских игр»: «Вы, кто собираетесь занять номера в московских гостиницах летом 1980 года, по крайней мере вспомните о тех, кто занимает совсем другие, казенные 'номера'».

Бывший министр Франции по французскому телевидению: «Нельзя допустить, чтобы спортсмены фашистской Аргентины были представлены на Олимпийских играх в Москве».

Учитесь, советские пропагандисты: вот как надо ставить проблему с ног на голову!

3

Дорогой друг! Странные вещи происходят в современном мире, очень странные, мягко говоря, странные. И события, связанные с предстоящими Олимпийскими играми в Москве, — красноречивое тому свидетельство. Впервые в истории этих внушительных соревнований страна-устроительница диктует участникам свои условия, и, что самое удивительное, последние безропотно соглашаются с подобной практикой. Возникает вопрос: что, какая сила, какие интересы заставляют МОК и его бессменного главу господина Килланина соглашаться с сугубо политическими требованиями Москвы, попирая тем самым не только вековые традиции и правила Олимпийских игр, но и Спорт как такового вообще?

Судите сами, советская сторона единолично решает: 1) Кому из зарубежных гостей будет разрешено просмотреть всю программу игр целиком (практически никому, кроме лиц, имеющих непосредственное отношение к соревнованиям). 2) Какие органы средств массовой информации будут допущены к освещению соревнований (уже сейчас на этот счет имеется «черный список», в который внесены, например, радиостан-

ции «Свобода» и «Свободная Европа»). 3) Каким странам будет вообще запрещено участие в играх.

Дополнительно МОК согласился и на целый ряд других, беспрецедентных в истории спорта ограничений. Чего стоит только его угроза лишать медалей спортсменов, совершивших политические проступки, причем право квалифицировать такие проступки оставлено за тою же советской стороной.

Обращает на себя внимание и тот факт, что в связи с бытовыми и продовольственными трудностями, сложившимися в СССР, многие западные команды приняли решение обосноваться в эти дни в Финляндии или ФРГ, что создает для них дополнительные физические и психологические нагрузки.

Если же говорить о фоне, на котором будут протекать соревнования, то он немногим отличается от фона Олимпийских игр в Берлине тысяча девятьсот тридцать шестого года: незаконные судебные процессы, превентивные аресты, высылка из столицы нежелательных и «лишних» граждан, бешеная гонка вооружений на всех уровнях.

Ничего, кроме горькой иронии, не могут вызвать громогласные, исполненные пафоса и принципиальности выступления западных общественных и политических деятелей, когда речь заходит об участии в мировом чемпионате по футболу в Аргентине или о допуске команды регбистов Южной Африки в какую-либо европейскую страну, ибо — куда девается у них этот самый пафос и эта самая принципиальность перед лицом наглой агрессивности советского и восточно-европейского тоталитаризма?

Если у Свободы хватает мужества открыто заявлять себя только по отношению к слабому противнику, то эта Свобода находится в смертельной опасности, если вообще уже не обречена.

Что ж, пусть мертвые хоронят своих мертвецов, у нас с тобой один выход: сопротивляться.

Размышления у театрального подъезда

Окончание

И вот, год спустя, я снова на премьере его пьесы. На этот раз шел спектакль «Урок французского языка для американских студентов». Одна за другой чередуются не связанные на первый взгляд сценки, и только где-то к концу первой половины действия зритель начинает улавливать знакомые ему уже по прежним ионесковским пьесам мотивы: «Носорогов», «Лысой певицы», «Урока», «Стульев», «Человека с чемоданом».

И мы постепенно осознаем, что это снова о том же: о гибели всего человеческого в человеке, о распаде его корней и связей с окружающим миром, об отрыве его от своего Творца и, если уж договаривать до точки, о его близком конце вообще.

Для зрителя здесь знание языка более чем необходимо, ибо все в пьесе построено на виртуозной вязи диалога со смысловыми и семантическими подтекстами, где каждое слово, междометие, пауза имеют огромное, подчас решающее в понимании происходящего на сцене значение.

И все же к концу спектакля, несмотря на языковой барьер, еле-еле преодолеваемый мной с любезной помощью французской спутницы, я вместе со всеми проникаюсь очищающей беспощадностью автора, без обиняков бросающего нам в лицо правду о нас самих.

Выходя из театра, я, словно рыба, выброшенная на песок, жадно глотаю ртом ночной воздух парижской осени: мир вокруг кажется пустым и бездомным, как после очередного потопа, хотя я чувствую: это катарсис, за которым, пусть едва еще только различимое, но что-то открывается.

Сам Эжен Ионеско говорит об этом так: «Я думаю, что сейчас уже недостаточно сарказма, тяжелого

сарказма, от которого смех часто холодеет на губах. И я обязан становиться все более и более патетическим. Мне повезло — или не повезло, — и я никогда не был на каторге, поэтому то, что я могу о ней сказать, будет менее глубоко, менее исторично, чем у свидетелей каторги. Но это не значит, что я не могу говорить о несчастье других — наша история все больше и больше становится ожиданием жалости и милосердия».

В своем творчестве, как, впрочем, и в жизни, Эжен Ионеско хирургически жесток и нелицеприятен; но это его врачующий метод для того, чтобы призвать нас к Мужеству и Сопротивлению.

И в этом его величие.

Двойной счет

1

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

713 О лишении гражданства СССР Максимова В. Е.

Учитывая, что Максимов В. Е. систематически совершает действия, наносящие ущерб престижу Союза ССР и не совместимые с принадлежностью к советскому гражданству, Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

На основании статьи 7 Закона СССР от 19 августа 1938 года «О гражданстве Союза Советских Социалистических Республик» за действия, порочащие звание гражданина СССР, лишить гражданства СССР **Максимова Владимира Емельяновича**, 1932 года рождения, уроженца гор. Ленинграда.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. Подгорный
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. Георгадзе
Москва, Кремль. 30 января 1975 г. № 947 — IX.

КОММЮНИКЕ

По приглашению Президиума Верховного Совета СССР и Советского правительства Президент Французской Республики В. Жискар д'Эстен с супругой с 14 по 18 октября 1975 года находился с официальным визитом в СССР.

Президент Франции возложил венки к Мавзолею В. И. Ленина и на могилу Неизвестного солдата в Москве.

В. Жискар д'Эстен возложил также венок у мемориальной доски, установленной в Москве в память об авиационном полке «Нормандия — Неман», который сражался совместно с Советской Армией в годы второй мировой войны.

Во время пребывания в Советском Союзе Президент Франции и сопровождавшие его лица совершили поездку в Киев. Высоким представителям дружественной Франции был оказан радушный прием, отражающий чувства уважения, которые питают друг к другу СССР и Франция.

В ходе визита состоялись переговоры Л. И. Брежнева, Н. В. Подгорного, А. Н. Косыгина и А. А. Громыко с В. Жискар д'Эстеном.

17 октября имела место беседа Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева с Президентом Франции В. Жискар д'Эстеном. В беседе приняли участие член Политбюро ЦК КПСС, Министр иностранных дел СССР А. А. Громыко и Министр иностранных дел Франции Ж. Сованьярг.

2

Сообщение немецкого телеграфного агентства: «Сегодня в Федеративную Республику Германии прибыл представитель советских рабочих, председатель ВЦСПС Александр Шелепин».

Александр Шелепин! Кто не знает у нас его «этапы большого пути»: вождь сталиннюгенда, член Политбюро, председатель Комитета государственной безопасности. В конце пятидесятых составлял проскрипционные списки на русскую интеллигенцию, вдохновлял в начале шестидесятых культурный погром в Манеже, не брезговал и мокрыми делами. (Министерству юстиции ФРГ пришлось временно снять с него преследование за прямое соучастие в убийстве Ребета и Бандеры для того, чтобы «высокий гость» мог въехать на территорию Германии.) Хорош представитель советского пролетариата, ничего не скажешь!

И я мысленно рисую перед собой ситуацию наоборот: в Германии царит фашизм, а в Советском Союзе процветает парламентская демократия. И вот в этих условиях Свободные советские профсоюзы принимают у себя в качестве представителя немецких рабочих Гиммлера или Кальтенбруннера, а? Как бы отнестя к этому германский пролетариат?

Но если серьезно, то почему нынче на политическом рынке солидарность трудящихся всех стран?

3

Передо мной тоненькая, непрезентабельная на вид книжечка. Это не «Иван Денисович» и не «ГУЛаг», где речь идет о событиях, отдаленных от Италии временем и расстоянием. В этой книжке безо всяких комментариев опубликован список итальянцев (в основном коммунистов), перемолотых железными челюстями Лубянки.

Казалось бы, одного этого документа достаточно, чтобы отбить у слишком ретивых энтузиастов охоту к социальным экспериментам одного класса над всеми другими и, прежде всего, над самим собой, но не тут-то было: чуть не на каждой стене здесь красуются серп и молот или красная звезда.

Впрочем, что стоят доказательства во времена всеобщего помешательства!

4

Мы сидим с ним у телевизора и смотрим репортаж о беженцах из Камбоджи. Я познакомился с ним недавно, и мы, к удивлению окружающих, быстро сошлись, приходя с разных политических концов к одним и тем же выводам. К удивлению, ибо он — герой майских событий шестьдесят восьмого года, недавний троцкист, маоист, экзистенциалист и еще Бог знает что, а я — исчадие консервативного ада, поклонник давно изжившей себя представительной демократии, да к тому же, что уже совсем непростительно на просвещенном Западе, верующий человек. Согласитесь, симбиоз довольно странный, если не противоестественный.

Я вижу, как искренне, как мучительно переживает он трагедию, которая разворачивается перед нами на экране: бредущие по дорогам толпы человеческих теней, вымершие деревни, агонии крохотных, со вздувшимися животами скелетов, едва обтянутых ссохшейся кожей.

— Какой ужас, — в глазах у него неподдельное страдание, — разве этого мы ждали от них!

— Вот что значит разный опыт, дорогой друг, — срываюсь я, — мы от них, например, ничего другого не ждали. Так было, так есть, так будет. И заметь, господин Пол Пот учился не в университете имени Лумумбы, а у вас в Сорбонне. И учителями его были вы — французские маоисты.

— Это скорее рецидивы сталинщины, чем маоизма.

— Значит, Сталин это не только восточная монополия?

— Собственно Сталин — да, такая личность могла сформироваться лишь в условиях азиатской ментальности, но мотивы сталинизма в той или иной степени свойственны любому обществу, в том числе и нашему.

— Значит, ты думаешь, что у вас этого не может быть?

— Во всяком случае, в том виде, в каком это происходило у вас.

— А если ты ошибаешься?

— Я уверен в этом...

А в цветном провале телевизора прямо у нас на глазах умирают ни в чем не повинные люди.

Немного о Сталине и сталинщине вообще

1

Помнится, это было в пятьдесят девятом году, в Краснодаре. Я приехал тогда в этот город для сбора материала к первой своей прозаической книге. По такому случаю местные журналисты и литераторы, мои бывшие газетные сослуживцы, устроили вскладчину небольшой сабантуй в городской чебуречной, что на улице Красной. В самый разгар застолья перед нами неожиданно выявился небольшого роста лысоватый человек в летней, китайского производства паре и в той же марки сандалиях на босу ногу. Цепкими глазами обегая присутствующих, человек заискивающе, даже с подобострастием улыбался:

— Здравствуйте, товарищи, — его заметный акцент был явно западного происхождения, — разрешите?

Пишущая братия раздвинулась, освобождая новому гостю место, нестройно загудела:

— Просим, просим...

Подвыпившие журналисты, каждый по-своему, спешили обрадовать нового собутыльника:

— Ваша корреспонденция с камвольно-суконного комбината сегодня пошла в эфир...

— У нас тоже завтра в номере ваш материал о ленинских субботниках...

— Шеф уже дал «добро» на три ваших информации...

Ко мне доверительно наклонился тогда еще только начинавший, а теперь уже довольно известный в России прозаик:

— Ты знаешь, кто это?

Я пожал плечами.

— Матиас Ракоши...

Меня бросило в дрожь. Пожалуй, именно в тот день, за случайным столом провинциальной забега-ловки, я впервые всерьез задумался о подлинной природе и сущности диктаторской психологии. Глядя на этого лысоватого заискивающего человечка с цепкими, холодной пустоты глазами, я впервые тогда задался вопросом: как, какая сила превращает таких вот, безобидных на первый взгляд обывателей, типичных «пикейных жилетов» из полугородских «образованцев» в палачей целых народов, безнаказанно попирающих все Божеские и человеческие законы?

Мне уже тогда доподлинно было известно, что сидящий сбоку от меня и доживающий дни в заштатном городе «страны победившего социализма» пенсионер, пробавляющийся на досуге рабкоровской деятельностью, не только отправил на тот свет десятки тысяч ни в чем не повинных людей, но и зачастую не брезговал лично участвовать в не поддающихся описанию «допросах с пристрастием». (Поговаривали даже, что этот монстр в китайской паре не постеснялся присутствовать при кастрации одного из ближайших своих соратников.)

Отчего, по какой причине, в силу каких обстоятельств все эти «дети разных народов», являясь продуктом разных культур и даже рас, прошедшие различную, порою даже взаимоисключающую школу воспитания, так похожи в своей поистине звериной ненависти к ближнему, в своем патологическом стремлении к власти как таковой, в своей безумной жажде разрушения и распада? Что роднило и до сих пор роднит их — этих, ставших вырожденками рода человеческого людей: разночинца Ленина и потомственного шляхтича Дзержинского, выходца из земельных буржуа Троцкого и люмпена Ежова, аптекарского ученика Ягоду и безродного мингрела Берию, рафинированного интеллигента Менжинского и профессионального бандита с большой дороги Багирова, и взятых их всех вместе с несостоявшимся грузинским священником, обер-палачом государств и народов Сталиным, а также их сегодняшними последователями от Мао Цзэ-дуна и Пол Пота до Амин Дады и Масиаса включительно?

Представьте себе мальчика из полунищей грузинской семьи, сочиняющего восторженные, но, к сожалению, дрянные стишки о родине и ее природе, к тому же готовящегося стать священником, и того же, постаревшего на десятки лет мальчика, санкционирующего гибель миллионов людей, не только у себя дома, но и во всех частях света, и при этом кокетливо резонерствующего: «Смерть одного человека — трагедия, смерть миллиона людей — статистика».

Вот уже много лет историки, политологи, писатели, психологи и психиатры всего мира пытаются доискаться до корней этого необычайного феномена. Приводятся десятки, сотни самых, на первый взгляд, неопровержимых доводов и объяснений, но проходит время, и живая действительность в терминах конкретных событий вновь и вновь опровергает все эти, сугубо позитивистские построения.

Мне кажется, да простят меня заядлые атеисты, что достаточно убедительное объяснение явлениям подобного рода можно найти только рассматривая проблему с метафизических позиций. В самом деле, давайте задумаемся, почему подавляющее большинство этих, судя по результатам их деятельности и объему их власти, победителей — в плане сугубо индивидуальном и личностном оказываются в конечном счете побежденными собственной судьбой?

Первый из них, пожавший, как говорится, плоды трудов своих уже при жизни, умирает беспомощный и почти неподвижный, практически под домашним арестом, и перед смертью, согласно свидетельствам очевидцев, ночами по-волчьи воет на луну от губельной тоски и невысказанной безысходности. Второй, обложенный со всех сторон собственным страхом, его верный последователь Сталин, обделавшись с ног до головы в заставшем его параличе, кончается за бронированными дверями своего кунцевского кабинета, не в силах дотянуться до сигнального звонка, а прижитые им дети оказываются один несчастнее другого: Яков гибнет на проволоке гитлеровского концлагеря, Василий — под забором в Казани, а Светлана вынуждена бежать в Америку. Нынешний же их двойник, выведенный временем по законам убывающего плодородия рабфаковец, никогда не читавший бессмертных трудов собственных учителей, обречен стать послушной куклой в руках своих «верных соратников», а точнее, всей пришедшей сейчас к власти партийно-государственной олигархии. Наблюдая сегодня, как этот абсолютно недееспособный старик вынужден участвовать в бессмысленных для него сборищах и церемониях, явно не понимая, где он находится и с кем разговаривает, его становится по-человечески жаль. Ведь даже с точки зрения самой системы он давно заслужил спокойную старость и отдых. Но в том-то и дело, что никто из них никогда не являлся и не является действи-

тельным хозяином положения, вождем, диктатором в традиционном понимании этого слова. Каждый из них — лишь номинальное, так сказать, персонифицированное обозначение системы, — системы глубоко мистического происхождения, где нет победителей, где все — только жертвы и побежденные, несмотря на свое социальное или правовое положение в общей структуре.

Единственным из них, кому Провидение или Судьба, — назовите, как хотите, — явила милость, оказался Никита Хрущев, которому были дарованы несколько лет, чтобы в стороне от властительной суеты подумать, что называется, о времени и о себе. Многие, говорят, пересмотрел на вынужденном досуге бывший диктатор, и не без пользы для долго грешившей, но и не чуждой добрым порывам души: за многое осудил себя, помирился с бывшими врагами (и те простили его!), стал задумываться о Боге. Но, может быть, и дано это было ему свыше именно за то, что нашел он в себе мужество вернуть свободу тысячам и тысячам оставшимся в живых от долголетнего террора узникам.

Некоторые, в особенности из недавних коммунистов, долгие годы молчаливо разделявшие со своей «родной партией» все ее гнусности и преступления, спешат свалить теперь все на голову одного человека, торопливо забывая свое личное соучастие в его кощунствах, а оказавшись на Западе, задним числом сочиняют для розовых газетенок легенды о своем героическом сопротивлении сталинскому режиму и при этом поучают окружающих «терпимости» и «плюрализму».

Иные же, наиболее бойкие и сообразительные из «борцов», доходят до того, что громогласно оповещают человечество о наступлении эпохи либерализации, зре «голубей», периоде демократизации в Советском Союзе. По неизжитой партийной глупости это делается или по трезвому расчету, покажет будущее,

но нельзя не согласиться с выдающимся скульптором современности Эрнстом Неизвестным, написавшим по этому поводу в двадцать первом номере «Континента»:

«... олигархия функционеров — конечно, не движение к демократии, как многим хотелось бы. Ведь сталинизм — это не просто прихоть или ошибка Сталина. Это исторически сложившаяся ситуация, при которой функция управления такова, что кардинальные изменения изнутри аппарата невозможны. Конечно, сейчас один функционер не может схватить и бросить в застенки другого, но все вместе они могут это сделать с кем угодно; и если не всегда посадить, то заставить эмигрировать или умереть. Терроризм продолжается, просто личный терроризм Сталина заменен терроризмом машины, где, по существу, нет личностей и даже нет мозгового центра в том смысле, как принято об этом думать. Таким способом согласуются единство и безопасность, мечта современного аппарата власти. Поэтому так стабильна, так неизменяема эта система. Амеба, у которой жизненные центры — везде и нигде».

Сталин, сталинщина, сталинизм — не есть результат деятельности одного, даже такого предельно павшего человека, как Иосиф Джугашвили. Это, как я уже говорил выше, лишь персонификация всей системы в целом, в преступлениях которой каждый из нас прямо или косвенно, но соучаствовал.

И это относится не только к нам, людям, выросшим в условиях тоталитаризма. В никак не меньшей степени долю ответственности за прошлое, а порою и настоящее несут и многие западные представители. Разве Джон Рид, рассказывая американскому обывателю «объективные» байки о большевистском перевороте, не соучаствовал в преступлении? Разве Анри Барбюс или Ромен Роллан, умиляясь «железной воле» советского генсека, не виновны в крови тысяч и тысяч

погибавших тогда, как говорится, «ни за что ни про что» в подвалах ГПУ и на лагерных лесосеках? И разве только один Налбандян писал портреты «великого вождя всех времен и народов»? А Пикассо? Или только лишь «Правда» пишет сегодня о «выдающихся успехах» социалистической системы? Полистайте-ка вполне респектабельную «Монд», «Цайт», «Штерн», а еще лучше «Корьера делла серра».

Нет. Без искреннего осмысления этой горькой очевидности, без осознания собственной вины за все происходившее и происходящее как в нашей стране, так во всем тоталитарном мире, мы никогда не поймем и не изживем из нашего бытия той смертельной для человечества болезни, имя которой — Сталин, и связанного с ним — этим понятием — векового Зла.

2

На большом собрании в Лондоне выступает член парламента — лейборист, только что вернувшийся из Польши. По его словам, в этой стране царит мир и благоденствие.

— Признаться, — набожно умиляется он, — я поражен той дисциплиной и порядком, которые наблюдаются в Варшаве, нам надо многому у них учиться.

Реплика из зала:

— А вы сами хотели бы там жить?

— Я — нет, — не моргнув глазом, парирует этот поклонник общественной гармонии, — но для поляков это хорошо.

Вот так, дорогие братья-славяне!

По ком звонит колокол?

1

Мне рассказывает моя парижская знакомая, кинематографистка польского происхождения:

— Задумала предложить одной американской телекомпании фильм о диссидентах. Добилась приема у ее вице-президента. Захожу, а у него на столе вместо фотографии любимой женщины или детей бюст Ленина красуется. Ну, точь-в-точь, как у секретаря Львовского обкома партии, перед которым когда-то, еще будучи западноукраинской комсомолкой, я отчитывалась за свои антипартийные ошибки. Какие уж тут, думаю, диссиденты, повернулась и ушла.

Вот что значит — мирное сосуществование!

2

Она же:

— За два дня до выборов во Франции встречаю одну бывшую коммунистку, недавно переменившую свой красный колер на розовый. «Рада видеть, — все в ней ликует от переполняющего ее злорадства, — но должна вас огорчить: через три дня мы вас начнем, — она согнула указательный палец, как бы нажимая спусковой крючок, — та, та, та, та!»

Попробовал бы сказать это кому-нибудь какой-нибудь так называемый правый!

3

Итальянский кинопродюсер — коллеге из Советского Союза:

— Солженицын? Упаси Боже. Даром не нужен. Я не самоубийца и не собираюсь терять советский рынок. В свое время я совместно с ними сделал ленту

«Семечки». Панорамные съемки, огромные массовки, и все это мне ничего не стоило, а прокат с лихвой покрыл мои издержки и принес фантастическую прибыль. А что мне даст постановка этого Солженицына? Одни неприятности и саботаж в прокате. Нет уж, увольте!

Долго ли ему еще придется подсчитывать барыши от делового флирта с Москвой, над этим он, видно, старается не задумываться.

4

Как сообщает мой американский друг, мне оказана большая честь, меня приглашают на редакционное совещание весьма влиятельного в США еженедельника.

В просторном зале за обеденным столом собрался цвет американской публицистики по проблемам России и Восточной Европы. Стараясь быть сдержаннее и точнее, рассказываю им о преследованиях, арестах, цензуре в Советском Союзе. Слушают внимательно, кивают головами, сочувственно перешептываются. Но вот начинаются вопросы:

— Как вы относитесь к подслушиванию телефонных разговоров в Америке со стороны ЦРУ?

— Что вы можете сказать о вмешательстве американской разведки во внутренние дела Чили?

— Каково ваше отношение к проблеме цветного населения в нашей стране?

— Знаете ли вы о зверствах американской военной во Вьетнаме?..

За тысячи миль от советских застенков, гебистских надсмотрщиков и цензуры, в самом открытом обществе мира, я снова слышу все тот же птичий язык лозунгов и пропагандистских клише, будто это происходит на партсобрании в Московском отделении Союза писателей СССР!

Французский издатель — молодому русскому автору:

— У нас, конечно, свобода, месье, но все-таки вы того... Без излишних резкостей или обобщений... Представьте себе, что они завтра будут здесь.

Этот уже готов.

Вернувшаяся из Москвы французская журналистка рассказывает в русской компании о том, как ее обыскивали на таможне аэродрома Шереметьево:

— Вы представляете, они раздели меня до белья и перещупали всю одежду до нитки!

Старая советская зечка, оттянувшая на сибирских лесоповалах чуть не пятнадцать лет, спрашивает ее со спокойным вызовом:

— А на гинекологическое кресло вас при этом сажали?

Та пренебрежительно пожимает плечами:

— Ну, это не для белых людей, это — для вас.

Мадам слывет во Франции большой демократкой. Борется в газетах с расизмом и дискриминацией.

В один из Мордовских лагерей по недосмотру администрации проник номер журнала ЮНЕСКО «Курьер» с опубликованной в нем Декларацией Прав Человека. Когда на очередном политзанятии какой-то дотошный заключенный попытался сослаться на этот документ, офицер-воспитатель, не задумываясь, ответил:

— Это не для вас написано, а для негров.

Как видите, у французской интеллектуалки и советского вертухая одинаковая психология, что на-

зывается, родство душ. Прямо плакать хочется от умиления.

8

В истории человечества не было и не существует поныне такой тирании, такого диктаторского режима, такого самодержавия, каковые могли бы похвастаться тем, что сумели уничтожить физически, сгноить в тюрьмах, довести до нищеты и сумасшествия, изгнать во внешний мир такое количество народа. Этим может похвастаться только страна с самым «прогрессивным» и «передовым» в истории социальным строем.

Даже сотая, а то и тысячная доля подобных преступлений, если бы они имели место в любой другой стране, кроме так называемых «социалистических», вызвали бы бурю негодования со стороны «прогрессивных» кругов западной интеллигенции. Но те же самые «передовые интеллектуалы» стыдливо молчат, притворяясь глухими, когда речь заходит о незакониях в России, Китае или странах Восточной Европы.

С пеной у рта отстаивая права (с чем мы абсолютно солидарны!) палестинских беженцев во имя «справедливости и гуманизма», эти новые радетели человечества равнодушно пропускают мимо ушей призывы их единоверцев — крымских татар, — считая, видимо, этот полумиллионный народ неизбежной издержкой «прогресса».

Меча (и справедливо!) моральные громы и молнии по адресу военных диктатур в Аргентине или Чили, они теряют дар речи, едва лишь дело касается никем не избранных бюрократических олигархий в странах Восточного блока. А если, вынужденные тактическими соображениями, все же и обронят сквозь зубы в их адрес два-три осуждающих слова, то подлой подобо-страстностью тона обязательно компенсируют жиденький прилив своей принудительной смелости.

Бесстрашно бросаясь в безопасный для себя бой за освобождение Анджелы Дэвис, против расовой дискриминации в Южной Родезии или за свободу Африки и Латинской Америки, они мгновенно становятся «сторонниками разрядки напряженности», стоит только попросить их подписать письмо в защиту советского политзаключенного.

К сожалению, это началось не сегодня и даже не вчера. С первых дней бесконтрольной тоталитарной тирании в нашей стране «прогрессивная» интеллигенция Запада по праву делит с ней — этой тиранией — все лавры ее клевет и преступлений.

Под аплодисменты «революционеров» вроде Бертольда Брехта уничтожались в России всяческие проявления демократической мысли.

При восхищенном одобрении «гуманистов» вроде Бернарда Шоу в годы коллективизации было погублено семь миллионов крестьян в нашей стране.

С помощью международных лжесвидетельств «либералов» вроде Лиона Фейхтвангера проводились чистки тридцатых годов.

И никто другой, как «Леттр Франсез» в начале пятидесятых называла Архипелаг ГУЛаг «великолепным предприятием», за которое, по его словам, человечество должно вечно благодарить первую в мире страну социализма. А всемирно известный экзистенциалист в полном согласии с остатками своей экзистенциальной совести величественно поддакивал этому «свободолубивому» журнальчику: правильно!

Хватит, господа! Пора, как говорится, поставить точки над «и». Ни к прогрессу, ни к демократии, ни к социализму вы не имеете никакого отношения. Прикрываясь революционной и социалистической демагогией, вы шли и продолжаете идти сегодня в авангарде современного фашизма, только переукрашившегося в соответствии с требованиями эпохи в розовый цвет, но не утратившего своей звериной тоталитарной сущности.

Поэтому сегодня я обращаюсь не к вам, духовно вы уже мертвы, а физически с вами в свое время рассчитаются те, кому вы сегодня вольно или невольно служите. Я обращаюсь к тем, в ком еще не умерла совесть и чье сердце еще открыто для свободы и правды:

— Если ты думаешь, что колокол теперь звонит по кому-то другому, то глубоко ошибаешься. Колокол звонит по каждому из нас. И по тебе тоже. И с каждым его ударом времени остается все меньше и меньше. Очнись же, наконец!

Мартиролог изгнания

Сначала я позволю процитировать самого себя и приведу выдержку из своего романа «Прощание из ниоткуда» о памятной для меня встрече весной пятьдесят первого года. Тогда, освободившись из лагеря, я бродил по Москве в поисках работы и хлеба.

«Вот тогда-то, на углу улицы Горького и Моховой, у парадного подъезда гостиницы «Националь», среди пестрого, но жалкого в своих претензиях многолюдья Влад и отметит памятью идущего мимо него человека с щегольской тростью под мышкой. Высокий, в роскошных усах красавец, в светлом пальто, с ухоженным нимбом вьющихся волос, он двигался сквозь толпу, словно гость из мечты, посланник Шехерезады, видение иного, нездешнего мира, и благоухание его холеной чистоты тянулось за ним наподобие тончайшего шлейфа. О, как он был красив!

Вы еще встретитесь, Саша, вы еще встретитесь, Саша Галич, но только почти через двадцать лет, в другой обстановке и при других обстоятельствах, и, надо надеяться, оба пожалеете, что этого не случилось раньше!»

Встретившись и подружившись почти через четверть века, мы действительно пожалели об этом. Во всяком случае, я. В Галиче поистине сочетался чеховский идеал человеческой красоты: «и душа, и лицо, и одежда». Его глубоко укорененный и поразительно естественный артистизм сказывался во всем: в быту, в творчестве, в отношении к людям. Всякая дисгармония, касалось ли это этики или эстетики, вызывала в нем мучительное страдание. Мне кажется, что именно это качество его души и характера в конце концов привело этого чистого артиста, поэта, певца в ряды нашего демократического движения. Чуткое к несчастьям «униженных и оскорбленных» сердце Александра Галича не могло спокойно выносить того надругательства над Совестью Человека, которое безраздельно властвует в его стране. Долгим и непростым был путь этого художника от невинных комедий и остроумных скетчей до песен и поэм протеста, исполненных пафоса гнева и боли, от respectable положения в официальном Союзе писателей до жизненно опасного членства в Комитете Прав Человека, возглавленного в те поры Андреем Сахаровым, с которым Галича до конца жизни связывала самая сердечная дружба. Но тем значительнее и выше прозревается нам сейчас его высокая судьба.

Затравленный на родине, он верил, что здесь, в мире свободы и творческого поиска, его оценят, поймут, примут. Но после одного из первых же его выступлений на Западе некая розовая бельгийская газетенка поспешила написать:

«Противно смотреть, как этот страдающий одышкой от ожирения буржуа взбирается на сцену, чтобы проговорить хриплым голосом под гитару свои пропагандистские побасенки».

В конце концов у него нашлись благодарные слушатели, и много: в Италии, во Франции, в Америке. Но было уже поздно, нелепая гибель стояла у него на пороге.

Мне трудно еще представить, что я уже никогда не увижу его, не перемолвлюсь с ним обязательным ежедневным словом, не найду ненароком к нему в гости: так нелепа, так внезапна, так непостижима для меня его смерть.

К счастью, поэт не умирает вместе со своей плотью, эхо его души продолжает жить в нас, и чем отзывчивее, чем раннее была его душа, тем продолжительнее и объемней звучит в нас это эхо.

Наутро после смерти Галича моя дочь, крестница поэта, которой не было еще и трех лет, улавливая с присущим детям вещим чутьем что-то недоброе, грустно лепетала строку из его цикла о Януше Корчаке: «Тумбалалайка, тублалалайка...» И я вдруг подумал, что моя встреча с ним продолжается, и я снова не говорю ему «прощай», я говорю ему «до свидания».

— До свидания, Саша!

Прощание из ниоткуда

Большая часть изгнанных или вынужденно покинувших родину современных русских писателей живет на Западе не более пяти-шести лет, но и за это короткое время многие из нас убедились в тщетности наших, в недавнем прошлом радужных, надежд на своих здешних собратьев и коллег по призванию и профессии. Правды ради надо сказать, что мы встретили здесь мастеров культуры, солидарных с нами в нашем повседневном сопротивлении тоталитаризму, людей, силой своего интеллекта и таланта прозревающих всю беспрецедентную в истории человечества опасность, нависшую над миром, и с огромным мужеством отстаивающих свои убеждения.

Но будем смотреть горькой правде в глаза, их — этих людей — среди западной интеллигенции, к сожа-

лению, меньшинство. Большинство же, ослепленное социальной нетерпимостью, с мышлением, заклишированным сомнительными постулатами рутинной доктрины девятнадцатого века, а то и просто демагогически спекулирующее на модных политических веляниях, встречает в штыки каждое наше слово или начинание.

Вот уже почти шестьдесят лет продолжается зверское избиение русской интеллигенции. Почти шестьдесят лет нас расстреливают, гноят в лагерях и тюрьмах, заживо хоронят в психиатрических застенках, или, в лучшем случае, изгоняют из страны. У меня не хватило бы никакого места, чтобы перечислить здесь весь мартиролог великих жертв этой кровавой вакханалии, от Бабеля и Ахматовой до Пастернака и Галанскова.

Но определенная и, прямо скажем, с большим общественным весом часть западной культурной элиты постоянно бубнит, что колбасы на Востоке становятся всё больше и расцветка ситца всё разнообразнее. И за примерами недалеко ходить, стоит только познакомиться с многоименным набором высказываний о Советском Союзе — от Бернарда Шоу до Жан-Поля Сартра.

Нас часто упрекают в том, что мы-де не стараемся понять злободневных проблем Запада: несправедливости распределения материальных благ, инфляции, безработицы, неокOLONиализма. Смею вас заверить, что все мы очень близко принимаем к сердцу каждую из этих проблем. Но я позволю себе здесь одно житейское сравнение. Ваши проблемы — это проблемы человека, страдающего от морской качки.

Есть такие проблемы? Несомненно есть, причем очень тяжелые, и они требуют своего разрешения. Но наши проблемы — это проблемы утопающих в открытом море, безо всякой надежды на спасение. Судите сами, какие из этих проблем тяжелее и неотложнее,

тем более, что если события будут развиваться в том же, как и сейчас, направлении, то наши сегодняшние проблемы станут вашими завтрашними проблемами. И тогда уже действительно никто и никому не сможет помочь.

Но если худшее все же случится, и демократии суждено погибнуть, мне хотелось бы уже сейчас обратиться к тем своим коллегам по профессии, которые сегодня, разжигая национальную и расовую ненависть и подменяя серьезный общественный разговор крикливой социальной демагогией, подрывают самые основы свободного мира: когда придет ваш черед, не кричите перед расстрелом или отправкой на этап, что вас обманули. Нет, вы жаждали быть обманутыми, хотя мы вас предупреждали. И наша совесть перед вами чиста!

Парад алле

1

Он улыбается, он всегда улыбается, улыбка кажется приклеенной к его безмятежному лицу. У этого немецкого профессора-радикала убийственная для собеседника манера вести разговор.

Вы сообщаете ему о трагедии целого народа, ссылаетесь на ГУЛаг, приводите самые последние факты. В ответ он растягивает свою улыбку до ушей и пожимает пухлыми плечами:

— Ну и что?

Вы пробуете назвать конкретные фамилии людей, уже погибших или погибающих в лагерях, молитесь ему о сочувствии и поддержке. Здесь он становится похож просто на «солнечного клоуна» и буквально завораживает вас своим благодушием:

— Подумаешь!

Наконец вы взрываетесь и, попирая все элементарные законы гостеприимства, в бешенстве вскакиваете с места:

— Но их танки скоро придут и к вам!

Он принимается тихонько похохатывать, причем чуть ли не с поросычьим привзвизгом, а отхотавшись, блаженно откидывается на спинку кресла:

— И пусть придут...

А еще говорят, у западных радикалов мало информации!

2

Пресс-конференция политика, ведающего вопросами спорта. Речь идет об Олимпиаде в Москве.

— Господин X., советские танки ворвались в Афганистан, их десантные части выжигают напалмом целые деревни. Неужели в таких условиях возможны Олимпийские игры в их столице?

— Спорт, — не моргнув глазом отвечает тот, — не имеет ничего общего с политикой.

— Но ведь совсем недавно именно по политическим причинам правительство не позволило южноафриканским спортсменам въехать в нашу страну?

— Это совершенно другое дело, в Южно-Африканской республике царит террор.

Напалмовые струи этот политический переросток, видимо, считает профилактическим душем.

3

Полковник старой армии, эмигрант с двадцать второго года, при всяком удобном случае победно хвастается перед новоприбывшими, что отступал на Запад не с помощью ОВИРа, а с оружием в руках. Хотелось бы, правда, ему заметить, что с оружием в руках не отступать надо было, а наступать. Но этот

довод явно его не проймет: полковник клинически самонадеян.

— Сегодня у меня праздник, — трясется он от удовольствия после вторжения советских войск в Афганистан, — сила русского оружия вновь дала себя знать!

Много я дал бы, чтобы взглянуть, во сколько обойдется ему самому эта «сила русского оружия», когда она проявит себя на парижских улицах!

4

Кем он только не был: послом, министром, промышленником. Но прежде всего считает себя великим дипломатом. Дожил уже до глубокой старости, но, как говорят, не оставляет надежд: все еще молодится. Выступая перед аудиторией одного из крупнейших американских университетов, доверительно сообщает слушателям:

— Советы не хотят войны, в этом меня в абсолютно приватном разговоре заверил сам Брежнев!

Ему бы в скобяной лавке своего отца жизнь скоротать, а он с молодых ногтей до старости занимался политикой! Хотя почему бы и нет: в наше носорожье время это самая безответственная профессия.

5

Бывший коминтерновец. Ловлен за руку на горячем шпионаже. Недоплатили. Оскорбившись, ушел в социал-демократию, хотя на всякий случай к бывшим хозяевам более чем лоялен. Упершись низко срезанным лбом в трибуну бундестага, изрекает только хорошо оплаченные истины. Вот, для образчика, одна из них:

— Советская армия построена на чисто оборонительных принципах, для агрессии она непригодна.

И все это под грохот советских бронетранспортеров во всех частях света!

Эпилог

Итак, я заканчиваю. Мне остается только последовать ценному указанию моей корреспондентки, письмо которой приводилось мною выше. То есть: 1) Публично извиниться. 2) Остановить эту публикацию. 3) Не пытаться печатать рукопись в «Континенте».

Отвечаю по пунктам: 1) С извинениями подожду. 2) Обязательно опубликую. 3) В том числе и в «Континенте».

В конце концов, я — оптимист.

А засим: адью!

НОВЫЕ СТИХИ

Бахыт Кенжеев

* * *

собираясь в гости к жизни
надо светлые глаза
свитер молодости грешной
и гитару на плечо

собираясь в гости к смерти
надо черные штаны
снежно-белую рубаху
узкий галстук тишины

при последнем поцелуе
надо вспомнить хорошо
все повадки музыканта
и тугой его смычок

кто затянет эту встречу
тот вернется слишком пьян
и забудет как играли
скрипка ива и туман

осторожно сквозь сугробы
тихо тихо дверь открыть
возвращеньем поздним чтобы
никого не разбудить

* * *

Затрубили охотники в снежный рог
и уже до конца времен
на квадратные плечи города лег
торжествующий небосклон

и летела до самых его границ
стая птичьих продрогших тел
и подумал я: Господи, сколько птиц —
и позвать тебя не посмел.

Лепетал, мерещился невпопад,
бился грудью в глухой гранит,
и толкал меня в спину холодный взгляд
равнодушных кариатид

а когда обернулся, ветер мне вслед
кинул горстью замерзших слез
залепил морозною пылью глаза,
подхватил, завертел, понес...

Навсегда я простился с самим собой
в глубине январских небес
где остаток юности голубой
в сумасшедшем снегу исчез

и жил легко, и умирал легко
в золотистой снежной пыли
когда летит метель далеко
до самых краев земли...

* * *

Я все тебе отдам, я камнем брошусь в воду,
Но кто меня тогда отпустит на свободу,

Умоет ноги мне, назначит смерти срок,
Над рюмкою моей развинтит перстенок?

Мелькает стрекоза в полете бестолковым,
Колелблется луна меж синим и лиловым,

Сырую гладь реки и ветреный залив
В фасеточных глазах стократно повторив.

О чем ты говоришь? Ей ничего не надо,
Ни тяжести земной, ни облачной отрады,

Пока над вереском рыжеющих болот
Господь не оборвет слабеющий полет.

* * *

Июнь просыпается рано.
В росе, умывающей сад,
на празднике сна и обмана
цветущие вишни горят.

И этого праздника ради,
сжимая стаканы в руках,
какие-то лысые люди
летают в больших пиджаках.

Над рощами русской равнины
вороний свершается труд:
широкие вьются штанины,
тугие портфели плывут.

Какие-то лысые лица,
какие-то липкие рты...
Ах, жизнь, голубая больница,
боюсь я твоей красоты.

Я тоже родился до срока,
под утро вишневой любви,
и в небе стояли высоко
горючие сестры мои.

А стал я лентяй и калека —
брожу и дышу без затей
осколочным воздухом века
и бедной отчизны моей.

* * *

Повторяется старый взлет
повторяется жар и лед
перехлестнуто горло туго

Переулочки, купола
я подумал, что жизнь ушла,
а она — по второму кругу

А она — в другие зрачки
на тепло любимой руки
на скамейку под мокрым кленом

И пускай себе плачет сад
и бульвары душой кривят
хорошо под дождем влюбленным

Даже в сердце та же игла
только музыка умерла

* * *

широко и одиноко
разгорается луна
вспышкой магниевой в око
затворенного окна
злая снежная родня
влажный сумрак разгоняя
по сугробам босиком
бьет рассерженным зрачком

льется судорожное пламя
будто ненависть растет
молча спорит с фонарями
казни выбрать не дает
я в гостинице случайной
вижу сон необычайный
ты одна стоишь в огне
и не помнишь обо мне

так и я от года к году
дул в подзорную трубу
привязав свою свободу
к придорожному столбу
незаметно стал я старым
и уже беглец другой
ночью бьет по тротуарам
деревянную ногой

а за ним погоня светит
легкой злобы торжество
и метелью ловит в сети
бедных спутников его
я в гостинице безумной
вижу признак неразумный
где ты маешься ничья
жизнь недавняя моя

...а жизнь лежит на доньшке шкатулки,
простая, тихая — что августовский свет.
Уходит музыка в пустые переулки,
в густую ночь, которой больше нет.
Раскаянья с ней больше не случится,
затерянной в громадах городов.
Чернеют ноты. Вспархивают птицы
с подземных телеграфных проводов.
Когда б я был умнее и упорней —
я закричал, я умер бы во сне —
но тополя, распластывая корни,
еще не разуверились во мне.

Там церковь есть. Чугунная ограда
бросает наземь грозовую тень,
и прямо в детство тянется из сада
давнишняя продрогшая сирень.
Я всматриваюсь: в маленьком приделе
три женщины сквозь будущую тьму
склонились над младенцем в колыбели
и говорят о гибели ему.
Они поют, волнуясь и пророча,
проходит жизнь в разлуке и труде,
и добрый воздух предосенней ночи
настоян на рябине и дожде.

Из книги «ЕВРОПА — ОСТРОВ»

БАЛЛАДА

Несложно дверь сорвать с петель,
Труднее — подобрать отмычку,
Сменить привычку на привычку,
Поверить, не впадая в хмель,
Что тянется еще апрель,
Что август не поводит бровью...
Что ж, продолжай, зови любовью,
Качай пустую колыбель.

А ты? Давно уж сел на мель,
И чиркаешь сырые спички,
На службу ходишь по привычке
И тянешь ту же канитель,
И все надеешься досель:
А может, что-то не истлело?
Тащи свое пустое тело,
Качай пустую колыбель.

Там, где летел на клевер шмель,
Шиповник трактором изранен,
И в алюминиевом тумане
Давно не трель слышна, а дрель.
Ольшаник забивает ель,
Шакалам уступают волки...
Мости никчемные проселки,
Качай пустую колыбель.

Кого за тридевять земель
Ласкаешь ты, слепая Лия?
Мы — где-то здесь... Не спи, Россия,
Качай пустую колыбель...

БУКИНИСТ

Пахнет пылью «belle еpoque»,
Позолотой, кожей старой...
Посреди земного шара —
Ни ларек, ни сундучок.
На щербинах парапета
Ящик с книгами повис.
Сел на стульчик букинист
Над безумием планеты.
На мосту — шарманка. Там —
Шляпы с перьями и шлейфы.
А четвероногий Эйфель
Догоняет Нотр-Дам.
Ах, четвероногий Эйфель!
Врет, что он — земная ось!
Мир — хоть оторви да брось:
Ни колумбов нет, ни лейффов —
Все под переплет ушли —
Закрывается планета:
Там, где букинистов нету —
Там окраина земли.
Небоскребы да могилы...
Где-то взрывы, грабежи,
Где-то — вовсе ни души,
Где-то очередь за мылом,
Хриплых двигателей свист,
Дипломаты да пожары...

Посреди земного шара
Умер старый букинист.

Захлопнуть дверь и оказаться
В ненастоящем городке,
Где пятки мокнущих акаций
И стены крутятся в реке.
Из четырех надвратных башен
Которая ведет куда?
Во все ворота путь нестрашен,
Под всеми стенами вода.
И никого не спросит осень
Зачем забрел, когда — назад...

Все оттого, что каждый носит
В себе свой соловьиный сад.
Я рвусь через его ограду,
Последним журавлем трубя,
Мне — только дальше бы от сада
И от себя... А ты — в себя,
А ты — в себя, за семь порогов!
Ну как столкнуться нам с тобой,
Когда в себя — одной дорогой,
А из себя — совсем другой?

И что за чёртовы качели?
Один туда, другой — сюда...
В себя уходят еле-еле,
А от себя — так никогда!
Зачем булыжные дороги,
И четверо ворот — к чему?
В себя сбежать дано немногим,
А от себя — так никому...
Но в желтой замяти акаций,
Спустившись к бешеной реке,
Мы вместе можем оказаться
В том нереальном городке...

КИМПЕР

На пегих скалах пена ржет и стынет,
Хаос камней и чаек — пей до дна!
Тяжелыми обломками латыни
Завалена старинная страна.
Тут край скалы. В бесцветный час отлива
Смолкают даже чайки до поры.
Тут — край Земли. И с этого обрыва
Одна дорога ей — в тартарары!
Нет, это вам не Франция! Поныне
Крылатых кельтских шлемов снится скань.
Никчемными обломками латыни
Завалена неримская Бретань.

* * *

Туманен бег варяжских парусов.
Листву веков срывал порыв норд-оста,
Года сжимались в горсточке часов,
Европа — в остров.
У скал бретонских, на краю земли,
Гранит закатом пенистым исхлестан,
И в облака уходят корабли.
Европа — остров.
Где пламя над чугуною водой,
Где молятся Васильевские ростры,
Еще свистит балтийский ветер: «Стой!
Европа, остров!»
А там, где медь подмешана в закат,
Где часа ждет Батый, над степью плоской
Уже кривые гривы туч летят,
Летят на остров!
Бог света! Озари и помоги
Не множить на земле погостов,
От караван-сараев сбереги

Твой Остров!
Бог сечи! Если нет судьбы другой —
Не дай жиреть беспечности бескостой...
Уже в российский берег бьет прибой.
Европа — остров!

День за днем новые испытания ложатся на Русскую Православную Церковь, на священников, на верующий народ.

Аресты следуют за арестами, непрерывной цепью слез и страданий. Но в горниле огненном выковывается терпение, духовная крепость и сама вера загорается в новых сердцах, за эти последние годы много молодых открывается к вере, тянется ко Христу, включается в воинство Христово. Перед угрозой духовного возрождения страны безбожное правительство стягивает свои силы, налагает руки на верующих — как и во время Первохристианства. «В те дни произошло великое гонение на Церковь в Иерусалиме...» (Деяния VIII, 1).

Эти последние месяцы и недели схвачены выдающиеся и мужественные свидетели веры — священник Глеб Якунин и священник Дмитрий Дудко, а также и мирянин Лев Регельсон.

С самого начала этих тяжелых событий вверенная нашему священноначалию Архиепископия молилась о России и о страждущих чадах ее.

Я с радостью вступил в Экуменический Комитет во Франции для устройства моления 30 января об освобождении христиан в СССР и даю свою полную поддержку всей духовной работе помощи и солидарности, которую этот Комитет предпринимает. С радостью приветствую и благословляю молитвенное собрание за гонимых братьев, которое состоится на Сергиевском Подворье в Неделю Православия — 24 февраля в 17 ч. 30 мин. Всецело поддерживаю служение любви Комитета Помощи Верующим в России при Русском Студенческом Христианском Движении и благословляю их сборы книг и средств для духовного окормления и материальной поддержки верующих в СССР.

Памятуя слова о. Дмитрия Дудко о том, что Русская Церковь вступила на очистительный путь Голгофы и что крестный этот путь ведет Саму Церковь к Воскресению и к духовному обновлению, я назначаю по всем церквам вверенной мне Архиепископии молебствия за гонимых священников и братьев наших в Неделю Крестопоклонную — 9 марта, после Божественной Литургии.

Молитесь неустанно, слезно, горячо о всех за Христа страждущих, о мучениках и исповедниках веры, о заключенных и о их семьях.

27.1.1980 — Нед. «Мытаря и Фарисея»

Архиепископ Георгий

* * *

Да — «тем не менее, однако, все-таки»:
Невзрачный луч в серо-мохнатом облаке

И пальма колоссальным одуванчиком
Круглится над седым и серым странником.

В небурной речке отблески и проблески
(Не первый образец земной символики)

И пеликан рыбёшку серебристую
Схватил (она мелькнула быстрой искрою).

А палевые лепестки шиповника
Опали все — от утреннего дождика?

И крылышко оторванное бабочки
Синеет в ручке синеглазой девочки.

В неяркой роще апельсинно-пальмовой
Неисцеленный греется расслабленный.

Да — «все-таки, однако, тем не менее»?
С балкона низвергаются глицинии

И полуотвечает на сомнение
Полуулыбка мировой гармонии.

* * *

Займите где-нибудь
шестьдесят пять миллионов световых лет,
пускайтесь в путь
и долетите (это не трудно совсем,
нетрудно, нет)
до галактики М 87
(М как mamma mia, восемь и семь).

Там в середине
плотная темная масса
в пять миллиардов раз больше солнца,
вроде пустыни
(и — контраст после первого класса!);
Там, мой друг, вам навеки остаться придется.

Ведь плотная темная масса
держит вокруг себя скопище звезд и планет,
будет держать и вас — а
вы скажите, что вы астероид,
и висите в звездной пыли.
Кроме того, на обратный путь до Земли
шестьдесят пять миллиардов световых лет
тратить не стоит.

* * *

Стук-стук-стук, стучатся ветки.
Скучный ветер, поздний час.
Эти белые таблетки
Успокаивают нас.

Вот, растаяли в стакане.
А добавь еще штук семь —
И почти без досвиданий
Успокоишься совсем.

Если друг меня отравит,
То в раю или в аду,
Там, куда меня отправят,
Там, куда я попаду,

Что-то будет. А не будет —
Как-нибудь переживем.
Мертвый ножки не остудит —
Босиком плясать пойдем!

Здравствуй, сонушко-заснушко!
Ну, смелее, дуралей!
Выпьем, душенька-подружка?
Сердцу будет веселей?

КРОЛИКИ И УДАВЫ

В тот же день весть о предательстве Находчивого распространилась в джунглях, чему, с одной стороны, способствовала Мартышка, оповестившая об этом, можно сказать, все верхние этажи джунглей, а с другой стороны, конечно, Возжаждавший.

Кролики пришли в неистовое возбуждение. Некоторые говорили, что этого не может быть, хотя в жизни всякое случается. Они от всего сердца жалели Задумавшегося. В то же время они испытывали чувство стыда и тайного облегчения одновременно. Они чувствовали, что с них, наконец, свалилось бремя сомнений, которые им внушал Задумавшийся.

Неизвестная жизнь в условиях желанной безопасности и нежеланной честности казалась им тяжелей, чем сегодняшняя, полная мрачных опасностей, но и захватывающей дух сладости проникновения на огороды туземцев. И чем сильнее они чувствовали тайное облегчение, тем горячее они жалели Задумавшегося и возмущались неслыханным предательством.

И хотя они, честно говоря, никогда не хотели следовать его мудрым советам, теперь, когда его не стало, они искренне почувствовали себя осиротевшими. Оказывается, для чего-то нужно, чтобы среди кроликов был такой кролик, который наставлял бы их на путь истины, даже если они и не собирались идти по этому пути.

К вечеру почти все взрослое население кроликов собралось на Королевской Лужайке перед дворцом. Кролики требовали чрезвычайного собрания. Дело пахивало бунтом, и Король, прежде чем открыть

собрание, велел страже прочистить запасные выходы из королевского дворца. Всегда во время таких тревожных соборниц он приводил в порядок запасные выходы.

— Чем лучше запасной выход, — говаривал Король среди Допущенных, — тем меньше шансов, что он потребуется...

На этот раз положение было очень тревожно. Как всегда, перед началом собрания над королевским сидением был вывешен флаг с изображением Цветной Капусты. Несмотря на то, что цвета в изображении Цветной Капусты на этот раз были смещены самым таинственным и многообещающим образом, кролики почти не обращали внимания на знамя. Иногда кое-кто взглянет на новый узор Цветной Капусты с выражением бесплодного любопытства и, махнув лапой, окунается в ближайший водоворот бурлящей толпы.

Наконец, кое-как удалось установить тишину. Король встал. Чуть ниже него стоял Находчивый, испуганно зыряка во все стороны своими глазищами.

— Волнение мешает мне говорить, — начал Король скорбным голосом, — в толпе прозвучали страшные слова... Меня, отца всех кроликов, обвинили чуть ли не в предательстве.

— Не чуть ли, а именно в предательстве! — выкрикнул из толпы Возжаждавший.

— Пусть будет так, — неожиданно уступил Король, — я выше личных оскорблений, но давайте выясним, в чем дело...

— Давайте! — кричали из толпы.

— Долой! — кричали другие, — чего там выяснять!

— Итак, — продолжал Король, — почему Глашатай попал на Нейтральную Тропу? Да, да, я лично его послал. Но почему? К сожалению, друзья мои, в последнее время по сведениям, поступающим в нашу канцелярию, резко увеличилось количество кроликов, без

вести пропадающих в пасти удавов. Из этого неми-
нуемо следует, что удавы в последнее время обнагле-
ли. Возможно, до них дошли слухи о новых теориях
Задумавшегося, и они решили продемонстрировать
силу своего смертоносного гипноза.

Что же нам оставалось делать? Показать врагу,
что мы притихли, впали в уныние? Нет и нет! Как
всегда, на гибель наших братьев мы решили отвечать
сокрушительной бодростью духа! Нас глотают, а мы
поем! Мы поем, следовательно, мы живем! Мы жи-
вем, следовательно, нас не проглотитшь!!!

(В этом месте раздалась бешеные аплодисменты
Допущенных к Столу и стремящихся быть Допущен-
ными. По какой-то странной ошибке, позднее во всех
отчетах об этом собрании эти аплодисменты были
названы «переходящими во всеобщую овацию». Воз-
можно, так оно и было рассчитано, потому что Ко-
роль в этом месте остановился, может быть, ожидая,
что аплодисменты перейдут в овацию. Но аплоди-
сменты, не переходя в овацию, замолкли, и Король
продолжал говорить.)

— ...И вот наш Глашатай с песней был послан на
Нейтральную Тропу, где он должен был, как это,
кстати, записано в нашем королевском журнале, про-
петь в ритме марша текст на мелодию «Вариации на
тему Буревестника»!

— Текст! Текст! — бешено закричали кролики из
толпы. Некоторые из них свистели в пустотелые дуд-
ки из свежего побега бамбука. Это считалось наруше-
нием порядка ведения собрания и каралось штрафом,
если королевская стража находила свистевшего. Но в
том-то и дело, что стража обычно не находила сви-
стевшего, потому что свистевший тут же съедал свой
свисток, если к нему приближалась стража.

— Текст, собственно говоря, сочинил наш при-
дворный Поэт, — сказал Король, озираясь, и как бы
случайно найдя его в числе Допущенных к Столу,

кивнул ему, — пусть он зачитает свой божественный ритм...

Поэт уже давно рыдал о судьбе Задумавшегося, проклиная в душе коварство Короля, который навязал ему написание этого стихотворения. Но сейчас ему надо было думать о своей судьбе и он, продолжая всхлипывать по поводу гибели Задумавшегося, быстро сообразил, кстати, не без намека Короля, как выпутаться из этой истории.

Он вышел вперед и, продолжая всхлипывать, заявил:

— Текст, собственно говоря, условный... Он должен был прозвучать...

— Мы не знаем этих тонкостей, — перебил его Король, — ты зачитай кроликам то, что ты написал.

— Пожалуйста, — сказал Поэт и, с каким-то презрительным смущением задергав плечом, продолжал: — Собственно говоря, я хотел предварить текст некоторыми пояснениями. Мне удалось найти своеобразный фонетический строй, который своей угнетающей бодростью давит на победную психику удавов, то есть я хотел сказать...

— Текст! Текст! Текст! — закричали кролики и засвистели в свои бамбуковые свистульки, — не надо ничего объяснять...

— Я, собственно говоря, хотел предварить, — сказал Поэт и, еще раз дернув плечом, прочел:

Пам-пам, пим-пим, пам-пим-пам!

Ля-ля, ли-ли, ля-ля!

Пим-пам, пам-пам, пим-пим-пам!

Ли-ля, ли-ля, ли-ля!

Но буря все равно грядет!

Вот собственно, что он должен был пропеть, разумеется, на мелодию «Вариации на темы Буревестника».

Поэт сел на свое место, поглядывая на небо в поисках случайного буревестника.

— Вариации вариациям рознь, — грозно подхватил Король его последние слова и, обратившись к Находчивому, спросил: — А ты что пел?

— Это же самое, — пропищал Находчивый, потрясенный предательством Короля и Поэта. Как и всякий преданный предатель, он был потрясен грубостью того, как его предали. Он не мог понять, что грубость всякого предательства ощущает только сам преданный, а предатель его не может ощутить, во всяком случае, с такой силой. Поэтому всякий преданный предатель, вспоминая свои ощущения, когда он предавал, и сравнивая их со своими ощущениями, когда он предан, с полной искренностью думает: все-таки у меня это было не так низко.

Не успел потрясенный Находчивый пропищать свое оправдание, как сверху раздался голос Мартышки.

— Неправда! — закричала она, свешиваясь с коcosовой пальмы, — я всё слышала, и моя дочка тоже!

— Мартышка всё слышала! — закричали кролики, — пусть Мартышка всё расскажет!

— Братцы-кролики, — кричала Мартышка, глядя на вздетые морды кроликов, — друзья по огородам туземцев! Мы с дочкой сидели на грушевом дереве возле Нейтральной Тропы. Я ее обучала вертикальному прыжку... Я ей говорю, чтобы при вертикальном падении прочно захлестывался хвост...

— Не надо! На чёрта нам сдался твой вертикальный прыжок! — стали перебивать ее кролики, — ты нам про дело говори!

— Хорошо, — несколько обидевшись, кивнула Мартышка, — раз вы такие эгоисты, я это место пропущу... Так вот, обучаю я дочку... и вдруг слышу по тропе идет Глашатай и поет такую песню:

Задумавшийся некто
На холмике сидит
Пам-пам, пам-пам, пам-пам-па!
И Ля-ля-ля-чий Брод.
Но буря все равно грядет!

В толпе кроликов раздался страшный шум возмущения, свист, топанье.

— Предатель! Предатель! — доносились отдельные выкрики, — некто, это наш Задумавшийся!

— Я сразу же поняла, что он предает Задумавшегося! — закричала Мартышка, — и тогда же плюнула ему в лицо!

— Молодец, Мартышка! — закричали кролики, — смерть предателю!

— Так исказить мой текст! — воскликнул Поэт, в самом деле искренне возмущенный искажением своего текста. Он дважды предатель, подумал Поэт: исказив мой текст, он предал меня, а потом уже предал Задумавшегося. Почувствовав себя преданным, он окончательно забыл о доле своей вины в предательстве Задумавшегося: какой он предатель, если он сам предан!

Король гневно смотрел на Находчивого. Кролики постепенно притихли, ожидая, что он скажет ему.

— Значит, — мрачно обратился к нему Король, — ты так пел:

Пам-пам, пам-пам, пам-пам-па
И Ля-ля-ля-чий Брод?

— Да, — еле слышно признался Находчивый.

— А разве я тебя учил так петь?

— Нет, — начал было Находчивый испуганно, — вы просили...

— Молчи! — крикнул Король, — отвечай перед народом, ты внес отсебятину в текст или не внес?!

— Внес, — сокрушенно кивнув головой, подтвердил Находчивый. Ведь он и в самом деле пропустил в третьей строчке слово, на котором настаивал Король.

— Внес отсебятину, — с горестным сарказмом повторил Король, — куда внес? В королевский текст? Когда внес? Именно сейчас, когда с одной стороны напирают удавы, а с другой стороны, никогда раньше опыты по выведению Цветной Капусты не были так близки к завершению.

— Король не виноват, — закричали кролики с удвоенной энергией, радуясь, что им теперь не надо бунтовать, — да здравствует Король! Негодяй внес отсебятину!

— Почему внес? — закричал Король, вытянув лапу обвиняющим жестом, — не мне отвечай, отвечай всему племени!

— Братцы, помилосердствуйте, — закричал Находчивый, — каюсь! каюсь! Но почему так случилось? Я все время думал над тем, что нам рассказал Задумавшийся. Мне очень, очень понравилось все, что он нам рассказал про гипноз. Я ему поверил всем сердцем. И я решил: чем быстрее он докажет нашему Королю и всем нам, что он прав, тем лучше будет для всех. Я же, братцы-кролики, не знал, что так получится...

— Кто тебя просил! — кричала возмущенная толпа, — предатель, негодяй!

— Пустите меня, — раздался истошный голос вдовы Задумавшегося, — я выцарапаю глаза этому Иуде!

— Простите, братцы! — вопил Находчивый.

— Нет прощенья предателю, — отвечали кролики, — удав тебе братец!

Тут, наконец, поднялся Возжаждавший и произнес лучшую в своей жизни речь. Он рассказал о последних минутах Учителя. Он рассказал все, что видел, и все,

что слышал. Многие кролики, слушая его рассказ, тяжело вздыхали, а крольчихи всхлипывали. Плакала даже Королева. Она поминутно подносила к глазам капустные листики и, промокнув ими глаза, отбрасывала их в толпу кроликов, что, несмотря на горе, каждый раз вызывало в толпе кроликов смущенный ажиотаж.

Возжаждавший страстно призывал кроликов развивать в себе сомнения во всесии гипноза и тем самым продолжать великое дело Задумавшегося.

В конце своей прекрасной речи он обрушился на Короля. Он сказал, что даже если Глашатай и внес отсебятину, то Король, выбирающий в Глашатай предателя, недостоин быть Королем. Поэтому, сказал он, надо, наконец, воспользоваться кроличьим законом, которым кролики почему-то никогда не пользуются, и при помощи голосования узнать, не собираются ли кролики переизбрать своего Короля. В самом конце речи Возжаждавший обещал на глазах у всего народа в ближайший праздничный день пробежать туда и обратно по любому удаву. Эту пробежку он посвящает памяти Учителя.

Когда он кончил говорить, огромное большинство кроликов неистово аплодировало ему. По их мордам было видно, что они не только готовы переизбрать Короля, но и довольно ясно предвидят будущего.

Однако и те, что рукоплескали, и те, что воздерживались, с огромным любопытством ждали, что же будет делать Король. В глубине души и те и другие хотели, чтобы Король как-нибудь перехитрил их всех, хотя сами не могли дать себе ясного отчета, почему им так хотелось. Ну вот хотелось, и всё!

Король, покинув свое королевское место, даже как бы махнув на него рукой, хотя и не махнув, но все-таки как бы махнув, что означало, мол, я его вам и без голосования отдам, с молчаливой скорбью стоял, дожидаясь конца рукоплесканий.

— Кролики, — наконец спокойно сказал он голосом, отрешенным от собственных интересов, — предлагаю, пока я — Король, минутой всеобщего молчания почтить память великого ученого, нашего возлюбленного брата Задумавшегося, героически погибшего в пасти удава во время проведения своих опытов, которые мы, хотя и не одобряли теоретически, материально поддерживали... Вдова не даст соврать...

— Истинная правда, кормилец! — завопила было вдова из толпы, но Король движением руки остановил ее причитанья, чтобы она не нарушала торжественности скорби.

Кролики были потрясены тем, что Король сейчас, когда речь идет о его переизбрании, хлопочет о Задумавшемся, а не о себе.

Все стояли в скорбном молчании. А между тем, прошла минута, прошла вторая, третья, четвертая... Король стоял, как бы забывшись, и никто не смел нарушить молчания. Как-то некрасиво, неблагородно говорить, что минута молчания давно истекла. Это был один из великих приемов короля вызывать у народа тайное раздражение к его же кумирам.

Король, как бы очнувшись, сделал движение, призывающее кроликов расковаться, вздохнуть всей грудью и приступить к неумолимым житейским обязанностям, даже если эти обязанности означают конец его королевской власти.

— А теперь, — сказал Король с благородной сдержанностью, — можете переизбрать своего Короля. Но по нашим законам перед голосованием я имею право выразить последнюю волю. Правильно я говорю, кролики?

— Имеешь, имеешь! — закричали кролики, расстроганные его необидчивостью.

— Кого бы вы ни избрали вместо меня, — продолжал Король, — в королевстве необходимо здорье и дисциплина. Сейчас под моим руководством

вы исполните производственную гимнастику, и мы сразу же приступим к голосованию.

— Давай, — закричали кролики, — а то что-то кровь стынет.

Король взмахом руки приказал играть придворному оркестру и, голосом перекрывая оркестр, стал дирижировать государственной гимнастикой.

— Кролики, встать! — приказал Король, и кролики вскочили.

— Кролики, сесть! — приказал Король и энергичной отмашкой как бы вlepил кроликов в землю.

— Кролики, встать! Кролики, сесть! Кролики, встать! Кролики, сесть! — десять раз подряд говорил Король, постепенно вместе с музыкой наращивая напряжение и быстроту команды.

— Кролики, голосуем! — закричал Король уже при смолкшей музыке, но в том же ритме, и кролики вскочили, хотя для голосования и не обязательно было вскакивать.

— Кролики, кто за меня! — закричал Король, и кролики не успели очнуться, как очнулись с поднятыми лапами. Все, кроме Возжаждавшего, вытянули вверх лапы. А кролик, случайно оказавшийся возле Возжаждавшего и вдруг испугавшись, что его в чем-то заподозрят, вытянул обе лапы.

Королевский счетовод начал было считать вытянутые лапы, но Король, переглянувшись со своим народом и исключительно демократическим жестом показывая свое общенародное пренебрежение всякими там крохоборскими подсчетами, махнул рукой, дескать, не надо унижать алгеброй гармонию.

— Кролики, кто против? — уже более ласковым голосом спросил Король.

И тут только Возжаждавший поднял руку. Король доброжелательно кивнул ему, как бы одобряя сам факт его выполнения гражданской обязанности.

— Кролики, кто воздержался? — спросил Король, голосом показывая, что, конечно же, ему известно, что таких нет, но закон есть закон, и его надо выполнять.

Дав щедрую возможность несуществующим воздержавшимся свободно выявить себя и не выявив таковых, Король сказал:

— Итак, что мы видим? Все — за. Только двое — против.

— А кто второй? — удивились кролики, оглядывая друг друга и становясь на цыпочки, чтобы лучше оглядеть толпу.

— Я второй, — сказал Король громко и поднял руку, чтобы все поняли, о ком идет речь. После этого, взглянув на Возжаждавшего, он добавил: — К сожалению, народ, поддерживая меня, нас с тобой не поддерживает...

— Во дает! — смеялись кролики, чувствуя нежность к Королю, оттого что он, Король, зависит от их, кроликов, голосования, и они, простые кролики, его, Великого Короля кроликов, не подвели.

Сам Король снова пришел в веселое расположение духа. Он считал, что когда-то придуманная им производственная гимнастика при внешней простоте на самом деле — великий прием, призванный освежать слабеющий время от времени рефлекс подчинения.

— Продолжаю свои нелегкие обязанности, — сказал Король, благодушествуя и подмигивая народу, — что скажут кролики по поводу предложения Возжаждавшего?

— Зрелища! Зрелища! — закричали кролики радостно.

— Значит, туда и обратно? — спросил Король у Возжаждавшего, подмигивая народу.

— Туда и обратно! — серьезно отвечал Возжаждавший.

— Значит туда внутрь и обратно наружу? — спросил Король под хохот кроликов.

— Нет, — спокойно отвечал Возжаждавший, — туда и обратно снаружи.

— Удава по своему выбору или по любому?

— По любому.

— Кролики, — обратился Король к народу, — для наглядности зрелища выбираем удава подлинней?

— Подлинней! — закричали кролики, — так будет интересней!

— Хорошо, — сказал Король, — придется договориться с Великим Питоном... Но учти, Возжаждавший, удав согласится на такое унижение только с правом на отглот.

— Разумеется, — спокойно сказал Возжаждавший, — я посвящу этот пробег памяти незабвенного Учителя.

— Конечно, — отвечал Король, — как только договоримся с Великим Питоном, мы устроим зрелище для всего нашего племени.

— Да здравствует Король! Да здравствует Учитель! Да здравствуют зрелища! — кричали кролики, окончательно всем довольные.

— Кстати, как быть с предателем Задумавшегося? — сказал Король и поманил к себе Находчивого, который, пользуясь тем, что Король и кролики отвлеклись, тихонько уполз вниз в толпу, хотя и не осмелился скрыться в ней. Находчивый вышел из толпы и стоял перед кроликами, опустив голову.

— Смерть предателю! — закричали кролики, увидев Находчивого и снова все вспомнив.

— Не можем, — сказал Король задумчиво, — мы вегетарианцы.

— А что если его скормить тому удаву, по которому будет бежать Возжаждавший? — спросил один из кроликов.

— Остроумно, — согласился Король, — но не можем, потому что мы вегетарианцы. Да и научный опыт не получится. Какой же риск быть загипнотизированным, если удав будет заранее знать, что ему выделили другого кролика.

— Я, как Учитель, — гордо сказал Возжаждавший, — могу рисковать только собой.

— Предлагаю, — сказал Король, — предателя навечно изгнать в пустыню... Пусть всю жизнь грызет саксаулы...

— Пусть грызет саксаулы! — повторили ликующие кролики.

— Убрать и сопроводить, — приказал Король, и двое стражников поволокли Находчивого, который смотрел на Короля и Королеву и на всех Допущенных прекрасными глазами тонущего котенка.

— Будешь знать, как отсебятину нести, — пробормотал Король, оправдываясь перед этими прекрасными глазами.

— Обманщик, — сказала Королева, сожалея, что не успела насладиться этими теперь даром пропадающими глазами, — сам сказал: — Никогда, — а сам съел мой подарок.

— Он молодой, ему хорошо саксаулы грызть, — сказал Старый Мудрый Кролик, — а представляете, если б меня выслали тогда?

Старый эгоист, глядя на пострадавшего и вспоминая, что и он мог пострадать, требовал к себе сочувствия, словно пострадал именно он.

Когда Находчивого волокли сквозь толпу, снова раздался истошный голос вдовы.

— Убивец! — закричала она и рванулась к Находчивому, — кто будет кормить моих сироток! Убивец!

Ее едва удалось удержать, и в толпе кроликов поднялся переполох. Король, поднятой лапой добившись тишины, снова обратился к ней.

— Твой муж, — сказал он, обращаясь к вдове, — наш брат, несмотря на наши разногласия... Мы тебя не оставим. Твои дети — мои дети.

— В каком смысле? — встревожилась Королева.

— В самом высоком, — сказал Король и показал на небо. После этого он показал на вдову и, обращаясь к придворному казначею, приказал: — Выкатить ей два кочана капусты единовременно и выдавать по кочану ежедневно с правом замены его на кочан цветной, как только закончатся опыты, за которыми мы следим и способствуем... А сейчас, кролики, по норам, спокойной ночи!

По приказу казначея из дворцового склада выкатили два кочана капусты.

— Благодетель, — зарыдала вдова, упав головой на оба кочана капусты и одновременно обнимая их с боков, чтобы никто ничего не мог отколупать.

— Молодчина наш Король, — говорили кролики, разбредаясь по норам. Некоторые крольчихи с нехорошей завистью глядели на вдову Задумавшегося.

— У других мужья и после смерти в дом тащат, — сказала одна крольчиха, ткнув лапой вбок своего непутевого кролика, — а ты и живой без толку по джунглям скачешь.

— Милая, и мой при жизни не лучше был, — неожиданно бодро успокоила ее вдова и, подталкивая лапами, покатила к норе оба кочана.

* * *

На следующий день новый Глашатай был отправлен на Нейтральную Тропу. Здесь он встретился с одним из помощников Великого Питона, и тот его провел в подземный дворец царя.

Глашатай рассказал об условиях пробежки Возжаждавшего по удаву. Как всегда, в принятой у кро-

ликов дипломатии ничего прямо не говорилось. Король передавал любезному собрату, что если какой-нибудь расторопный удав примет это предложение и даст обоюдодолезный урок, то оба племени от этого выиграют как в физиологическом, так и в психологическом смысле.

Глашатай также рассказал о возмутительном поведении удава, проглотившего Задумавшегося.

Он сказал, что данный удав, нарушая международный договор о гуманном отглате, вел с обрабатываемым кроликом издевательские разговоры, применял пытки в виде колебаний и капризов и в конце концов смертельно измученного кролика отказался глотать, так что несчастная жертва вынуждена была сама броситься в пасть удава. Все это происходило, добавил глашатай в конце, на глазах у живого кролика, который не собирался давать обет молчания.

Великий Питон выслушал все это, подумал и сказал:

— Передай от моего имени Королю: мы не туземцы, чтобы устраивать зрелища. А за сообщение о недостойном поведении удава — спасибо — будет наказан.

Когда Глашатай покинул помещение, Великий Питон спросил у своего главного Визиря:

— Что такое обет молчания?

— Послеобеденный сон, — ответил тот, не задумываясь. Он на все вопросы умел отвечать не задумываясь, за что и был назначен главным визирем Царя.

— Собрать удавов, — приказал Великий Питон, — буду говорить с народом. Присутствие вышедшего на отглот Задумавшегося обеспечить целиком! Созвать все взрослое население удавов. Удавих, высиживающих яйца, снять с яиц и пригнать!

В назначенный час Великий Питон возлежал перед своими извивающимися соплеменниками. Он ждал, когда они, наконец, удобно разлягутся перед ним. Не-

которые влезали на инжировое дерево, росшее перед дворцом, чтобы оттуда им лучше было видно Царя, а Царю, если он захочет, — их.

Великий Питон, как всегда, речь свою начал с гимна. Но на этот раз не бодрость и радость при виде своего племени излучал его голос, а наоборот, горечь и гнев.

— Потомки дракона, — начал он, брезгливо оглядывая ряды удавов.

— Наследники славы, — продолжил он с горечью, показывая, что наследники проматывают великое наследство.

— Питомцы Питона! — пронзительным голосом, одолевая природное шипенье, продолжал он, показывая, что нет большего позора, чем иметь таких питомцев.

— Младые удавы, — выдохнул он с безнадежным сарказмом...

— Позор на мою старую голову, позор! — забился Великий Питон в хорошо отработанной истерике.

Раздался ропот, шевеленье, шипенье сочувствующих удавов.

— Что случилось? Мы ничего не знаем, — спрашивали периферийные удавы, которые свое незнание вообще рассматривали, как особого рода периферийное достоинство, то есть отсутствие дурных знаний.

— Что случилось?! — повторил Великий Питон с неслыханной горечью, — это я уж вас должен спросить, что случилось?! Старые удавы, товарищи по кроликоваренью, во имя чего вы гипнотизировали легионы кроликов, во имя чего вы их глотали, во имя чего на ваших желудках бессмертные рубцы и раны?!

— О царь, — зашипели старые удавы, — во имя нашего великого дракона.

— Сестры мои, — обратился Царь к женской половине, — девицы и роженицы, с кем вы спите и кого вы высиживаете, я у вас спрашиваю?!

— О, царь, — отвечали как роженицы, так и девицы, — мы спим с удавами и высиживаем яйца, из которых вылупляются молодые удавы.

— Нет! — с величайшей горечью воскликнул Царь, — вы спите с кроликами и высиживаете аналогичные яйца!

— О Великий Дракон, что же это? — шипели испуганные удавихи.

— Предательство, я так и знал, — сказал удав, привыкший все видеть в мрачном свете, — нашим удавихам подменили яйца.

— Коротышка! — вдруг крикнул Царь, — где Коротышка?!

— Я здесь, — сказал Коротышка, раздвинув ветви и высовываясь из фиговых листьев. В последнее время на царских собраниях он предпочитал присутствовать верхом на спасительном дереве.

— У-у-у! — завыл Царь, ища Коротышку глазами на инжировом дереве и не находя слов от возмущения, — фиговые листочки, бананы... Разложение... А где Косой?

— Я здесь! — откликнулся Косой из задних рядов и, с трудом приподнявшись, посмотрел на Царя действующим профилем, — я не смог пробраться...

— У, Косой, — пригрозил Царь, — с тебя тоже началось разложение... Где твой второй профиль, я спрашиваю?

— О, Царь, — жалобно прошипел Косой, — мне его растоптали слоны...

Таким образом подготовив психику удавов, Царь рассказал всем собравшимся о позорном поведении младого удава во время отглата Задумавшегося. Пока он говорил, два стражника выволокли из толпы младого удава, столь неудачно проглотившего Задумавшегося.

В свое оправдание он стал рассказывать известную историю о том, что был переутомлен, что сначала крот его обманул, а потом он сам растерялся, увидев вместо обещанного кролика двух, потому что никогда не слыхал, что кролики так быстро размножаются.

Удавы были возмущены поведением своего бывшего соплеменника.

— Зачем ты с ним разговаривал, — спрашивали они у него, — разве ты не знал, что кролика надо обрабатывать молча?

— Я знал, — отвечал им бывший юный удав, — но это был какой-то странный кролик. Я его гипнотизирую, а он разговаривает, ерзает ушами, чихает в лицо!

— Ну и что, — отвечали удавы, — он чихает, а ты его глотай.

Тут выступил один периферийный удав и от своего имени выразил возмущение всех периферийных удавов. Он сказал, что у него лично был совершенно аналогичный случай, когда он застал двух кроликов во время любовного экстаза. Оказывается, он лично, в отличие от своего бывшего собрата, не растерялся, а загипнотизировал обоих сразу и тут же обработал.

Удавы с уважительным удовольствием выслушали рассказ периферийного удава. Даже Царь заметно успокоился, слушая его. Ему ни разу не приходилось глотать кроликов, занятых любовью, и он решил после собрания поговорить с периферийным удавом с глазу на глаз, чтобы поподробней узнать, какие вкусовые ощущения тот испытал во время этого пикантного заглота.

— Присматривайтесь к опыту удава из глубинки, — сказал Царь, — он очень интересно здесь выступил...

Младой удав попытался оправдаться, говоря, что его кролики в отличие от тех периферийных не зани-

мались любовью, а, наоборот, думали вместе, что далеко не одно и то же.

— Одно и то же, — шипели возмущенные удавы.

Он сделал еще одну последнюю попытку оправдаться, ссылаясь на то, что, лишив кроликов самого мудрого кролика, обезглавил их и в то же время приобрел для удавов его мудрость.

— Сколько можно учить таких дураков, как ты, — отвечал Царь, — всякая мудрость имеет внутривидовой смысл. Поэтому мудрость кролика для нас не мудрость, а глупость... Скажи спасибо периферийному удаву, он улучшил нам настроение своим рассказом... Мы решили тебя не лишать жизни, но изгнать в пустыню. Будешь глотать саксаулы, если ты такой вегетарянец, и пусть Коротышке это послужит уроком...

По знаку Великого Питона удавы стали расползаться. Младой удав под конвоем двух стражников был выволочен в сторону пустыни.

— ...Удавами должен править удав, — услышал он за собой бормот Царя, — а я, по-твоему, кусок вонючего... бревна, что ли?

* * *

Прошло с тех пор несколько месяцев, а то и год. Точно никто не знает. Проклиная свою судьбу, особенно Глашатая, удав, изгнанный из своего племени, ползал в раскаленных песках в поисках пищи.

Глядя на его дряблое, сморщенное тело, трудно было сказать, что еще какой-то год тому назад это был полный сил, юный, подающий надежды удав. Нет, сейчас про него можно было сказать, что это немолодой, много и плохо живший змей.

На самом деле нравственные терзания, вызванные хроническим недоеданием, сделали свое дело.

От саксаулов в первые же дни пришлось отказаться ввиду настойчивых требований желудком более высокоорганизованной материи.

Несколько раз ему удалось способом Косого приманить орлов, паривших над пустыней. Но способ этот в условиях пустыни оказался чересчур дорогим. Долгое время лежать на песке под палящим солнцем, да еще не двигаться, было ужасной мукой.

Однажды, получив солнечный удар, он едва пришел в себя и уполз в тень саксаула. Он решил больше не притворяться мертвым. Вообще он здесь в пустыне заметил, что притворяться мертвым как-то неприятно. Притворяться мертвым интересно, когда ты здоров и полон сил, а когда ты больной, заброшенный в пустыню удав, притворяться мертвым противно, потому что слишком похоже на правду.

В конце концов, он приспособился ловить мышей и ящериц у маленького оазиса. Зарывшись в песок, он поджидал, когда мыши или ящерицы захотят напиться. И тут он, если они близко от него проходили, высунув голову из песка, заставлял их цепенеть от ужаса и глотал.

Если они слишком долго не приходили на водопой, он стряхивал с себя песок, напивался воды и, охладив в воде свою раскаленную шкуру, снова зарывался в ненавистный песок.

Однажды на этот водопой прискакал Находчивый. С тех далеких времен он тоже страшно изменился. Шерсть на нем свалялась, правое ухо он разрезал о какой-то кактус, и оно у него раздвоилось, как ласточкин хвост. Тело его так опало, что можно было пересчитать каждое его ребрышко, что, кстати говоря, удав машинально и сделал.

— Привет предателю, — сказал он, выпрастывая голову из песка и отряхивая ее, — не думал, что еще на этом свете встречусь с тобой.

Находчивый перестал лакать воду и обернулся.

— Что это еще за удав-пустынный? — спросил кролик без всякой боязни, глядя на удава. К сожалению, смелость слишком часто бывает следствием чувства обесцененности жизни, тогда как трусость всегда следствие ложного преувеличения ее ценности.

Кстати, Находчивый, изгнанный из джунглей раньше Младого удава, ничего не знал о его судьбе, а в лицо его вообще никогда не видел.

— Не узнаешь? — уныло спросил Удав-Пустынный, понимая, что он должен был сильно измениться за это время и отнюдь не в лучшую сторону.

— Не имел чести быть знакомым, — равнодушно отвечал Находчивый и уже собирался было ускакать, но остановился, заинтересованный словами Удава-Пустынного.

— Я из-за тебя потерял родину, то есть место, где я имел прекрасную пищу, — прошипел удав, — из-за твоей подлой песни я вышел на отглот Задумавшегося и кончил изгнанием в пустыню.

— Ах, это ты, рохля, — сказал Находчивый презрительно, — так тебе и надо.

— Больше всех на свете я ненавижу тебя, предатель проклятый, — сказал Удав-Пустынный, с горькой ненавистью глядя на Находчивого.

— А я, представь, тебя, — ответил Находчивый, — да, я сделал грех, предав своего же брата-кролика. Но ты, болван, не смог как следует воспользоваться моим предательством и тем самым как бы лишил его смысла. Что может быть унижительнее для предавшего сознания того, что его предательством не смогли как следует воспользоваться.

— Ненавижу, — повторил Удав-Пустынный, — ты, ты, натолкнул меня на этот несчастный соблазн...

— Мне наплевать на твою ненависть, — сказал Находчивый, — здесь в пустыне негде пастись, и поневоле остается много времени на раздумья...

— И до чего же ты, подлец, додумался? — спросил удав, слегка придвигаясь к нему.

— До многого, — отвечал Находчивый, не обращая внимания на движение удава, — я понял тайну предательства. Ведь недаром меня считали Находчивым. Сначала я думал, что все дело в том несчастном капустном листике, который я обещал Королеве засушить на память, а потом не удержался по дороге и съел его наполовину. Потом я понял, что очень уж мне не хотелось покинуть Королевский Стол. А потом уже я додумался до самого главного. Ловушка всякого предательства, когда оно задумано, но еще не совершено, в двойственности твоего положения.

— Что это еще за двойственность? — спросил удав и еще ближе придвинулся к Находчивому, мысленно сладко прогибая мышцами живота его слабые ребрышки.

— А вот в чем двойственность, — продолжал Находчивый, даже как бы вдохновляясь, — решив предать, ты мысленно уже владеешь всеми теми богатствами, которые тебе дает предательство. Я чувствовал себя владельцем самой свежей капусты, самой зеленой фасоли, самого сладкого гороха, не говоря о таких пустяках, как морковь. И все это, еще не совершив предательства, заметь, вот же в чем подлый обман!

В мечтах я как бы перебежал линию предательства, украл все эти блага у судьбы и, не совершив самого предательства, возвратился в положение честного кролика. И пока я не совершил самого предательства, радость по поводу того, что я обманул судьбу, то есть мысленно украл все блага предательства, ничего за это не заплатив, так велика, что она перехлестывает представление о будущем раскаянье. Вот же как мы устроены! Мы можем радоваться радостями, которые нам предстоит испытать, но мы не можем убиваться угрызениями совести по поводу заду-

манного предательства. Если и можем, то в тысячу раз слабей. Это точно.

Как все это получается? Кажется, вот ведь я мысленно совершил предательство, а ничего, жить можно. Стало быть и в самом предательстве ничего особенного нет. И это ощущение, что в предательстве ничего особенного нет, я никак не связываю с тем, что оно результат того, что само предательство еще не совершилось! Ты понимаешь, какое коварство судьбы!

Дьявол, для того, чтобы нас подтолкнуть ко злу, облегчает ужас перед ним возможностью не совершать зла, возможностью поиграть с ним. Да я тебя и не заставляю совершать зло, говорит дьявол, я просто думаю, что ты о нем неправильного мнения. Это не зло, говорит он, это трезвый расчет, это возможность отбросить глупые предрассудки. Во всяком случае, познакомьтесь, поговорите, прорепетируйте ваши будущие отношения, и, если тебе все это не понравится, ты можешь потом этого не делать. На этом мы все и ловимся. Пока мы играем со злом, это еще не совершенное зло, подсказывает нам наше глупое сознание, но на самом деле это уже совершенное зло, потому что, играя со злом, мы уже потеряли святую брезгливость, которой одарила нас природа.

Вот почему предателям всегда платят вперед и всегда платят так позорно мало! Так ведь можно было бы платить еще меньше! Ведь как мало ни плати, а предающий до совершения предательства воспринимает эту плату как чистый выигрыш: предательства еще нет, а плата уже есть, и радость тоже. И опять же, раз есть радость, значит, и в самом будущем предательстве ничего особенного нет, иначе бы откуда взяться радости...

— Это уж слишком как-то мудрено, — перебил его Удав-Пустынник, — я, например, проглотил самого мудрого кролика и то не совсем тебя понимаю...

— Но слушай дальше, — продолжал Находчивый, выворачивая душу, — тут-то ты и понимаешь, что перебежать назад невозможно. Душа испоганена, и при этом, оказывается, недоплатили. Ты чувствуешь страшную несправедливость по отношению к себе. Да, именно к себе, а не к преданному! К нему ты испытываешь ненависть. Позволив тебе предать себя, он сам тебя этим предал, он как бы сделался соучастником обмана.

Ведь что получается, Пустынник?! Ведь ты до самого конца надеялся, что как-нибудь обойдется там, как-нибудь перебежишь назад. В крайнем случае, вырежешь, отдашь предательству кусочек испоганенной души, а остальное оставишь себе. Ведь ты не договаривался всю душу отдавать предательству, да ты и не пошел бы на такой договор!

Удачу это трудно понять, но мы, кролики, от природы теплокровны и чистоплотны. Я бы сравнил душу с чистой белой скатертью. Именно на этой чистой белой скатерти я мечтал в будущем есть чистую королевскую капусту, фасоль и горох. А что же предательство? Да, я знал, что оно не украсит моей белоснежной скатерти, но я думал: что ж, оторву кусок, испоганенный предательством, а остальное расстелю, чтобы насладиться благами жизни. А тут что же получается? Хап! И вся скатерть в дерьме! Это как же понимать? А на чем, отвечайте мне, есть заработанную капусту, горошек, фасоль?! Я-то как мечтал? Буду есть с чистой скатерти, и бедным кроликам от моего стола буду кое-что подбрасывать, ворча на бездельников. О, какое это счастье — ворчать на бездельников и чистоплюев и подбрасывать им со своего щедрого стола!

А теперь что получается? Самому есть с дерьмовой скатерти? Оказывается, предательство измазывает своим дерьмом всю скатерть, а не часть ее, как я думал. Так ведь я ж этого не знал?! Выходит, мне

ничего не заплатили, выходит, мне ничего не остается, кроме этой дерьмовой скатерти, с которой я должен есть одерьемевшие от нее продукты?

Кто поймет сиротство кролика с испоганенной душой? Ведь мы, кролики, все-таки существа теплокровные и потому чистоплотные. О, там, в джунглях, я это почувствовал почти сразу, хотя и не так ясно, как теперь. Даже эти вонючие мартышки стали меня презирать. Злоба — вот что тогда осталось во мне. И самая злобная злоба на чистеньких! Что ж вы меня не остановили, если вы такие хорошие, а?!

— Ну, это уж ты завираешься, — перебил его Удав-Пустынник, — даже до того, как я проглотил самого мудрого кролика, я мог понять, что ты сказал глупость. Кто же тебя мог остановить, когда ты никому не говорил о своем предательстве? Какой же ты все-таки подлец! Напетлял тут всяких словес, чтобы скрыть суть. А суть — вот она, ты, теплокровный кролик, предал брата, значит, пролил кровь такого же теплокровного кролика. Нет, я чувствую, что я тебя должен проглотить. Пусть уже и силы не те и жара мешает гипнозу, но ненависть, я чувствую, мне поможет...

— Не очень-то пугай, — отвечал Находчивый, — все-таки, по-моему, Задумавшийся был прав насчет гипноза.

— Не говори про него, гад! — воскликнул Пустынник в сильнейшей ярости и чувствуя, что эта ярость сжимает и разжимает мышцы его тела, — ты же его предал и ты же хочешь воспользоваться его открытием?

— И не собираюсь, — вяло отвечал Находчивый, — дело в том, что я сейчас ни во что на свете не верю и, значит, не могу верить в твой гипноз... Можешь сколько хочешь зыркать своими буркалами!

— У-у-у, как я тебя ненавижу! — прошипел Пустынник, чувствуя, что мышцы его тела сладостно

сжимаются и разжимаются, — я чувствую, что моя ненависть рождает какую-то плодотворную мысль...

— Удав, рождающий мысль? — усмехнулся Находчивый, глядя на Пустынника скучающими глазами, — это у тебя от жары...

— Нет, нет, — повторил Пустынник, нетерпеливо извиваясь, — я всем телом чувствую рождение новой мысли. Мне кажется... Я не уверен... Мне кажется, я тебя смогу обработать каким-то новым способом...

— Ты имеешь в виду зловонное дыхание? — спросил Находчивый, — так имей в виду, что ты опоздал... Кролик, который носит в себе зловоние собственной души, не боится никакого зловонного дыхания...

— Нет, нет! — извиваясь в сильнейшем волнении, воскликнул удав, — моя ненависть рождает какую-то странную любовь... Суровую любовь без нежностей... Я чувствую неостановимое желание сжать тебя в объятьях...

С этими словами Удав-Пустынник одним прыжком обвился вокруг кролика и стал его неумело и грубо душисть.

— Отстань от меня, — отбивался от него Находчивый, еще не очень понимая, что делает этот обезумевший удав, — убери свои мокрые объятья... Во-первых, я не удавиха... Мне больно... Я даже не крольчиха... Что за извращения...

— Подожди, — бормотал удав, закручиваясь вокруг Находчивого, — еще одно колечко... Просунем головку... Еще один узелок... Туже... Туже...

— Ненавижу всех! — успел крикнуть Находчивый, теряя сознание в объятьях удава.

— Уф, — вздохнул удав, — так устал, как будто не я душил, а меня душили... Не удивительно — первая в мире обработка кролика без гипноза... С таким гениальным открытием меня Великий Питон примет с распростертыми объятиями... Хотя теперь это может звучать и двусмысленно... Сейчас подкреплюсь и

к своим... Еще видно будет, кто достойнее быть Царем Удавов...

С этими словами он приступил к заглыванию кролика. Так окончилась жизнь Находчивого, который обладал немалыми способностями, но, к сожалению, больше, чем свои способности, любил Королевский Стол, к которому и был Допущен, но, увы, слишком дорогой ценой.

* * *

А между тем за время изгнания Пустынника и Находчивого в царстве удавов, как, впрочем, и в королевстве кроликов, произошли важные события. Открытие Задумавшегося относительно гипноза да еще обещания Возжаждавшего пробежать по удаву туда и обратно во многом расшатали сложившиеся веками отношения между кроликами и удавами.

Появилось огромное количество анархически настроенных кроликов, слабо или совсем не поддающихся гипнозу. Большое количество удавов сидело на голодном пайке. Некоторые из них стали до того нервными, что вздрагивали и в ужасе оборачивались на малейшее прикосновение, думая, что это кролик хочет пробежать по ним. Один удав даже пустился наутек, когда неожиданно на него упал всего-навсего грецкий орех.

От периферийных удавов поступали еще более зловещие сообщения. Там авторитет удавов пал так низко, что наблюдались случаи, когда на удавов, отдыхающих под деревьями, обезьяны мочились сверху. Правда, делали это они с достаточно большой высоты и потом, извинившись, объясняли, что они это сделали по рассеянности. Трудно было понять, почему раньше за ними не наблюдалось столь целенаправленной рассеянности.

— Этот вопрос мы не можем решить отдельно, — отвечал Великий Питон на жалобы периферийных удавов, — мы его решим, как только укрепим позиции гипноза... А пока берите пример с вашего земляка, сразу обработавшего влюбленную пару.

Так отвечал им Великий Питон, но это было слабым утешением. А что он мог сделать, если даже рядом с его подземным дворцом иногда раздавались возмутительные выкрики кроликов.

Действие гипноза катастрофически слабело. Чтобы вызвать в удавах угасающий боевой дух, Великий Питон приказал удавам, живущим достаточно близко от его дворца, каждый день перед охотой знакомиться с его боевыми трофеями, а периферийным удавам раз в месяц приползать большими группами. Но это не только не помогало, а наоборот, вызывало в удавах еще большую вялость.

— То когда было, — говорили они и уныло уползали в джунгли.

А там кролики выделяли чёрт-те что! То они вдруг давали стрекача в самый разгар гипноза, то они вступали в какие-то издевательские переговоры во время гипноза, мол, что я буду с этого иметь, если дам себя проглотить, и так далее и тому подобное.

Один кролик во время гипноза, уже притихнув, уже погруженный в гипнотическую нирвану, вдруг подмигнул удаву глазом, покрытым смертельной поволокой. Удав, потрясенный этой медицинской новостью, приостановил ритуал и посмотрел на кролика. Тогда удав решил, что это ему примерещилось, и снова, выполняя ритуал гипноза, опустил голову и уставился на него своими незакрывающимися глазами. Кролик совсем притих, глаза его покрылись сладостной поволокой, но только удав хотел распахнуть свою пасть, как тот снова подмигнул ему, словно что-то важное хотел ему сказать. Удав снова приостановил

гипноз, но кролик снова сидел перед ним, притихший и вялый.

Видно, мерещится, подумал он и снова приступил к гипнозу. И снова повторилось то же самое. Умирающий глаз кролика в последнее мгновение лихо подмигнул удаву. Наконец, в шестой или седьмой раз удав не выдержал, и, как только кролик подмигнул ему, он попытался схватить его пастью, но кролик, неожиданно взмыв свечой, сделал сальто и ускакал.

— Что он этим хотел сказать? — думал удав, — не может же быть, чтобы тут не было какой-то причины.

Несколько дней он разыскивал этого кролика, чтобы узнать, почему тот ему подмигивал. Он решил, что кролик хотел сообщить ему какую-то важную тайну, а он, старый удав, верный традициям, не решился с ним заговорить во время обработки. Теперь он решил во что бы то ни стало найти этого кролика и узнать у него, в чем было дело.

Наконец, он увидел своего кролика возле куста ежевики, который тот небрежно обгладывал. Даже не пытаясь его загипнотизировать, он напомнил ему о себе и спросил, почему тот подмигивал ему во время гипноза.

— Просто так, — сказал кролик, вбирая в рот шершавый лист ежевики, — пошухарить была охота...

— Шухарить?! Во время гипноза?! — воскликнул старый удав и умер, потрясенный всеобщим падением нравов.

Один удав дошел до позорного унижения. Его с ума свела одна очаровательная жирная крольчиха, которая во время гипноза хоть и не подмигивала, но каждый раз, как бы придя в себя, в последний миг отскакивала в сторону.

Так она промучила его с утра до полудня и, наконец, кокетничая перед ним своими жирными боками, сказала:

— Укради у туземцев кочан капусты, тогда я наемся и отдамся тебе...

Они договорились, что удав с кочаном приползет на это же место. Волнуясь и спеша, удав пополз в ближайшую деревню, залез в огород, вырвал там кочан капусты, но, когда попытался просунуть этот кочан сквозь дыру плетня, был обнаружен туземцами и избит.

Дело в том, что этот глупец пытался кочан капусты всунуть в дыру, размер которой был намного меньше окружности кочана. Думая, что все тела обладают свойством змей переливать себя в любой проход, он, видя, что кочан капусты никак не проходит в дыру, пришел в бешенство и так расхрустелся прутьями плетня, что был услышан туземцами.

За этим занятием они его застали и избили палками до полусмерти. Туземцы, ненамного отличаясь от него умом, решили, что он убит, и для устрашения других удавов повесили его на плетень. После этого, смеясь над его несообразительностью, они заделали дыру в плетне, подняли кочан и, слегка обтерев его, тут же съели. Ночью избитый удав пришел в себя и уполз в джунгли.

Между удавами и туземцами всегда были довольно приличные отношения. Учитывая, что кролики разоряли огороды, а удавы уничтожали кроликов, туземцы уважительно относились к ним, хотя из приличия перед остальными обитателями джунглей никак этого не подчеркивали.

Более того, иногда они присоединялись к тем или иным протестам обитателей джунглей по поводу особенно зверских случаев обработки удавами своей добычи, ну, например, обработки крольчихи на глазах у крольчонка или наоборот.

В отдельных, правда, очень редких случаях, если удаву удавалось обработать слабосильного старика или заблудившегося в джунглях ребенка, вождь тузем-

цев посылал своего человека к Великому Питону с жалобой, неизменно указывая, что преступление совершилось на глазах у обезьян.

Великий Питон неизменно обещал разобраться в деле и наказать виновного, каждый раз возвращая пришельцу непереваренные предметы, найденные в испражнениях провинившегося удава: кожаный талисман, бусы, браслеты, бронзовый топорик или обломок копья с костяным наконечником.

Все это Великий Питон возвращал посланцу вождя с тем, чтобы тот передал эти предметы родственникам погибшего с выражением самого искреннего соболезнования и обещанием наказать виновного. При этом, если дело касалось мужчины, Великий Питон, кивая на обломки его оружия, прошедшие сквозь удава, говорил:

— Виновного накажем, хотя он сам себя достаточно наказал...

Интересно отметить, что случаи гибели туземцев, оставшиеся не замеченными обезьянами, вообще предпочитались не рассматриваться вождем туземцев из соображений высшего престижа. Считалось, что туземцев удавы вообще не смеют трогать, а случаи нападения объяснялись тем, что тот или иной удав спутал туземца с обезьяной.

Правда, на этот раз посланец вождя выразил по поводу странной попытки удава стащить кочан капусты самый решительный протест.

Великий Питон самым искренним образом разделил возмущение вождя туземцев. Он решил, что это Коротышка, продолжая деградировать, окончательно уподобился кроликам и обезьянам.

— Удавы сейчас переживают временные трудности, — сказал Великий Питон посланцу вождя, — но удав, ворующий капусту, — этого никогда не было и не будет. Есть у нас один вырожденец по имени Коротышка, который всегда позорил и продолжает позо-

ритель наше племя. Травите его собаками, забивайте его палками, мы только спасибо вам за это скажем!

— Передам, — отвечал посланец и удалился, а придя в деревню, рассказал вождю все, что слышал, и добавил от себя, что удавы стали не те.

Да, в это время удавы в самом деле стали не те. Дело дошло до того, что лучшие удавы из царских охотников стали давать осечки. Обычно они во время придворных выползов двигались впереди и, загипнотизировав кролика, давали знать, что дичь готова к обработке.

Великий Питон подползал со свитой и, если кролик ему казался достаточно аппетитным, обрабатывал его сам, а если находил, что он так себе, оставлял его свите.

Но теперь было не до свиты. Свите пришлось пользоваться скудным пайком из царского холодильника, а охотиться сами они уже не могли, потому что давно отучились работать с неоцепенелым кроликом.

В день возвращения Удава-Пустынника в джунгли Великий Питон впервые за все время своего царствования остался без завтрака. Правда, одному из царских охотников удалось загипнотизировать довольно приличного кролика. Он отполз в сторону, а когда Царь приблизился к своей добыче, кролик вдруг встряхнулся и убежал.

— Спасибо за завтрак, — только и сказал Великий Питон, оглянувшись на охотника.

— А ты бы еще чухался, — дерзко ответил ему охотник, и Царь, молча проглотив обиду (вместо кролика), уполз в свой подземный дворец.

Там его ждал удав, посланный рано утром к Королю кроликов на тайные переговоры. Великий Питон извещал Короля, что такое резкое нарушение равновесия природы обязательно приведет к дурным последствиям не только для удавов, но и для самих кроликов, не говоря об остальных обитателях джунглей. В

этой связи он просил Короля держать кроликов в рамках хороших старых традиций.

— Так что он тебе сказал? — спросил Великий Питон у своего посланца, голодной зевотой подавляя сосущие позывы своего бездонного желудка.

— Он говорит — сам еле держится, — отвечал посланец, — только за счет Цветной Капусты...

— А что, — спросил Великий Питон, — они его тоже не слушают?

— Да, — отвечал посланец, — он говорит, каждое утро, когда передают сводку расстояния действия гипноза, кролики откровенно хохочут...

— Понятно, — мрачно кивнул Великий Питон, — ну, ладно, пока иди...

Стоит сказать, что в этот период, даже по сильно завышенным официальным сводкам королевской канцелярии, видно, что кривая гибели кроликов в пасти удавов резко упала.

Как королевская пропаганда ни преувеличивала количество гибнущих кроликов (теперь она утверждала, что удавы сейчас охотятся, в основном, в самых глухих и отдаленных джунглях королевства, где даже наблюдался случай зверского двойного заглота влюбленных кроликов), все-таки рядовые кролики не могли не понимать, что удавы стали не те.

Они сами и многие их родственники и знакомые неоднократно усилием воли прерывали гипноз, а некоторые из них проделывали все то, что мы уже наблюдали, или нечто подобное.

Случай с заглотом влюбленных кроликов, как мы знаем, действительно имевший место и в самом деле возмутительный, пропаганда довела до того, что многие кролики вообще перестали верить в то, что он был на самом деле.

Сначала кроликам рассказали то, что было известно об этом злодеянии. Видя, что кролики возмущены и отчасти подавлены этим зверством, утренняя сводка

каждую неделю стала передавать «Новые подробности о зверстве удавов на периферии».

В конце концов, в одном из последних репортажей «С места трагедии» скороход принес весть о том, что влюбленные, оказывается, умоляли удава отвернуться и не гипнотизировать их хотя бы до окончания их первой и, увы, последней близости. Но, оказывается, безжалостный удав не захотел их слушать, и тогда влюбленные пришли к героическому решению любить до конца и, физически погибнув в пасти удава, идейно его победили.

— Откуда он узнал эти подробности? — начали сомневаться кролики.

— Как откуда? — отвечал скороход сомневающимся, — обезьяны рассказывают... Они все видели и слышали...

— И то, что это была первая близость влюбленных?

— И то, что это была их первая близость, — отвечал скороход.

— Что-то не верится, — говорили кролики, зная чистоплотность своих собратьев и невозможность того, чтобы они своему палачу, то есть удаву, стали бы рассказывать такие вещи.

— Вам не удастся осквернить светлый образ наших влюбленных, — говорил Король, глядя в толпу кроликов и стараясь заметить сомневающих. Те не слишком прятались, хотя и не слишком высовывались.

Сложность того исторического момента заключалась в том, что кролики, с одной стороны, под влиянием учения Задумавшегося, которое неустанно внедрял в их сознание Возжаждавший, и в самом деле достаточно часто выдерживали взгляд удавов, что, в свою очередь, отражалось в виде возрастающей непочтительности к личности Короля и его власти.

Но, с другой стороны, полной победы Возжаждавшего кролики тоже не хотели, потому что тогда им

пришлось бы оставить в покое огороды туземцев. Им нравилось жить так, как они живут сейчас: немножко слушаться Короля, немножко выполнять заветы Задумавшегося, как можно реже поддаваться гипнозу и как можно чаще посещать огороды туземцев.

На неоднократные намеки Возжаждавшего выступить против Короля кролики блудливо отводили глаза и говорили, что они еще недостаточно сознательны для этого.

— Куда спешить, работай над нами, — говорили они. И Возжаждавший продолжал работать, потому что ему ничего другого не оставалось делать, да и по всем признакам время расшатывало королевскую власть.

Главное средство — страх перед удавами — с каждым днем слабел. Гипноз то и дело давал осечки. В джунглях валялась масса трупов удавов, умерших с голоду. Случаи, когда удавы хватали слишком осмелевших кроликов без всякого гипноза, были слишком редки и ненадежны.

Однажды во время очередной сходки кроликов прямо над Королевской Лужайкой пролетела шестерка каких-то хищных птиц, пронося в когтях труп крупного удава.

Картина, с точки зрения Допущенных к Столу, была довольно жуткая: эти молчаливые, большие птицы, этот удав, беспомощно провисший в их когтях. Казалось, последнего удава уносят эти символические птицы.

— Разразись над миром буря! — неожиданно крикнул Поэт, по-видимому, приняв этих птиц за буревестников.

— Наш Поэт совсем ополоумел, — сказал Король, брезгливо косясь на Поэта, который, лучезарно улыбаясь, глядел на птиц и приветствовал их протянутой лапой.

При виде птиц, несущих удава, рядовые кролики подняли такой радостный визг, что пять птиц из шести, испугавшись, бросили удава, но одна продолжала тащить его качающееся и вертикально повисшее тело. Упорная птица, продолжавшая держать удава, под его тяжестью летела, все снижаясь и снижаясь, но потом к ней подлетели остальные птицы и, снова подхватив удава, стали набирать высоту.

Правда, Старый Мудрый Кролик, которому поручили разгадать смысл этого зрелища, сказал, что оно, несмотря на его зловещую видимость, обещает хорошее будущее.

— Почему? — недоверчиво спросил Король.

— Падающий удав будет снова поднят на должную высоту, — уверенно отвечал Старый Мудрый Кролик, потому что действовал теперь наверняка: если удавы оправятся, то благодарный Король возвысит его за прекрасное предсказание, а если удавы дойдут до полного слабосилия, тогда и Короля незачем будет бояться...

А между тем, в королевстве кроликов обнаружались все новые и новые странности, одна другой удивительней. Во-первых, появились пьяные кролики, которые горланили свои вздорные песенки не только в джунглях, но и в ближайших окрестностях королевского дворца. Они научились запихивать дикие фрукты в дупла деревьев, доводить их там до состояния брожения, законопатив дупло, и потом, сделав дырочку, отпивать оттуда алкогольный сок и снова залеплять дырочку кусочком смолы. Иногда они путали свое дупло с чужим, и на этом основании возникала масса глупых недоразумений, не говоря о том, что появились ходоки по чужим дуплам, которых время от времени подстерегали истинные алкоголики и, поймав, давали полную волю своей благородной ярости.

Особенно много пьяных стало появляться после того, как кролики сделали изумительное открытие —

оказывается, перебродивший сок бузины, до этого известный в королевстве только в качестве чернил, может быть прекрасным, веселящим напитком.

В сущности, открытие это было сделано давно, но так как общество кроликов не испытывало большой потребности в нем, оно не распространялось среди них. Открытие это сделал придворный Поэт. Во время сочинения очередных стихов он однажды отгрыз верхний конец пера фламинго, которым он писал, и случайно втянул в рот по трубчатому перу несколько капель сока бузины. После этого он заметил, что утоляющая горечь сока бузины как-то помогает его творческой мысли.

В конце концов, он убедился, что творческая мысль его перед тем, как закрепиться на бумаге в виде стихов, требует чернил внутрь. Возможно, там идет какая-то таинственная запись, решил он, и, уже упрямо окунув свое трубчатое перо в чернильницу, высасывал чернила, одновременно прислушиваясь к своему внутреннему состоянию.

Так вот он и жил, не слишком скрывая и не слишком афишируя свой творческий метод. Жена его каждое утро ходила на королевский склад, где вместе с остальными продуктами получала бамбуковую банку чернил. Так как запасы чернил в королевских складах были неисчерпаемы, казначей обычно не спрашивал у жены Поэта, отчего тот так быстро поглощает чернила. Возможно, даже спрашивал, и возможно даже, она ему правильно отвечала, но, согласно науке, в обществе кроликов в то время не было потребности в ее ответе, и никто на ее ответ внимания не обращал.

Но именно в этот период кролики просто изнывали от жажды услышать ее ответ, и они его, естественно, слышали. — Да что он у тебя пьет чернила, что ли, — как-то сказал Казначей без всякой злости, а только с удивлением и, вынув затычку из бочкообраз-

ного выдолба, налил ей полную банку и, заткнув сосуд, протянул ей.

— Так, не пьет, но посасывает, — отвечала жена.

— То есть как посасывает? — удивился Казначей.

— Прямо так и посасывает — через перо, — отвечала жена.

— И ничего? — удивился Казначей.

— Ничего, — отвечала жена, — работает... Только к вечеру немного запинается.

— На язык или на походку? — спросил Казначей.

— Когда как, — отвечала жена, — раз к разу не приходится...

Несколько крольчих, жен Допущенных к Столу, самолюбиво прислушивались к беседе Казначая с женой Поэта. Как только она ушла, первая же из этих женщин потребовала банку чернил, сказав, что муж ее засел на много лет писать «Славную историю королевства кроликов». Так и пошло.

Потом включились вдовы во главе с Главной Вдовой Королевства писать воспоминания о своих покойных мужьях, и они в самом деле собирались вечерами посидеть, почернитьничать, как говорили они, вспоминая прошлые дни.

Рядовые кролики, прослышав о свойствах сока бузины, вытащили откуда-то давно забытый, но не отмененный закон, гласивший: «На образование кроликов чернил не жалеть». Закон этот был введен самим Королем, когда еще только он начинал править. Потом он как-то отвлекся, махнул на просвещение рукой, а запасы чернил продолжали пополняться. И вот теперь кролики неожиданно возжаждали Просвещения.

Решив извлечь из этих запасов хотя бы политическую пользу, Король не стал возражать. Через два месяца, когда запасы чернил были почти исчерпаны, Главный Ученый, разделив количество истраченных чернил на общую численность кроликов, пришел к ра-

достному выводу о всеобщей грамотности населения королевства.

После этого закон «Чернил не жалеть» был отменен по случаю триумфальной победы образования, а новые небольшие запасы чернил для придворных надобностей стали тщательно фильтровать, пропуская сок бузины через толстый слой папоротниковой прокладки.

Рядовых кроликов отмена закона не очень смутила, и они продолжали свое теперь уже самообразование, заквашивая чернила из гроздей спелой бузины.

Непослушание кроликов усиливалось с каждым днем. Утренний прогноз воздействия гипноза, объявляемый Глашатаем на Королевской Лужайке, встречался откровенным улюлюканьем.

Однажды был схвачен пьяный кролик, чей путь от Королевской Лужайки до норы был выслежен, а бессвязный, но подозрительный бормот выслушан и записан.

— ...А он мне, — говорил этот пьянчуга, — я вам Цветную Капусту, Цветную Капусту... А я ему: — А что мне твоя Цветная Капуста? В гробу я ее видел, твою Цветную Капусту! Я, например, выпил свою бузиновку, закусил морковкой, которую сам же откопал у туземцев... А кто видел твою Цветную Капусту? А он мне опять свое: — Я вам Цветную Капусту, я вам все, а вы неблагодарные... А я ему — ты нам все? Нет, ты нам ничего, и мы тебе — ничего. А он опять: — Я вам Цветную Капусту, я вам всё...

Кролик этот был схвачен и отправлен к Начальнику Охраны.

Начальник Королевской Охраны сидел у себя в кабинете и, готовясь к допросу, чинил перья, поглядывая на пьяницу, бормотавшего вчера подозрительные слова.

Вернее, он поглядывал не столько на него, сколько на его уши*. За долгие годы работы он привык оценивать подследственных кроликов по форме ушей. Некоторые уши, узкие у основания, довольно резко (для опытного глаза, конечно) расширились, что начальнику охраны доставляло настоящее эстетическое наслаждение. Такие уши во время подвешивания, хоть бантиком завязывай, никогда не выскальзывали из петли.

Именно такие уши были у этого заговорщика. В том, что он заговорщик, Начальник Охраны был уже уверен. Сами его уши служили, правда, косвенным, но обстоятельным доказательством его вины.

Преступный пьяница, явно ничего не подозревая о соблазнительной форме своих ушей, сам не сводил глаз с не менее соблазнительной чернильницы, только что на его глазах наполненной секретарем свежими чернилами из сока черной бузины.

— Значит, будем играть в молчанку? — наконец, сказал Начальник и слегка придвинул к себе чернильницу. Преступный кролик, стоявший возле стола, невольно сделал движение вслед за чернильницей.

— Дяденька Начальник, Цветной Капусты хочца...

Начальник Охраны вздрогнул и, подняв голову, увидел крольчонка, который сидел на подоконнике с грустным видом, словно прислушиваясь к чему-то, так

* Цитата из опущенного нами фрагмента: единственный метод пыток в королевстве кроликов «состоял в том, что уши кролика связывали крепкой веревкой. Второй конец этой веревки перекидывали через балку под потолком, кролика слегка подтягивали и, вручив ему второй конец веревки, отпускали. Большой узел на том месте веревки, где она перекидывалась через балку (все предусмотрели, хитрецы!), не давал ей выскользнуть в сторону завязанных ушей кролика. В конце концов, висящему кролику, чтобы освободиться от мучительной боли вытягивающихся ушей, приходилось изо всех сил подтягивать себя, чтобы, в конце концов, взобраться на балку». — Прим. ред.

и не прозвучавшему, словно вглядываясь во что-то, так и не появившееся.

Начальник Охраны перевел взгляд на пьяницу, чтобы уловить связь между появлением крольчонка и им. Но пьяница явно был поглощен зрелищем чернильницы, заполненной свежими чернилами, и, кажется, вообще ничего не слышал.

— Глянь на окно, — сказал Начальник негромко и кивнул пьянчуге. Он решил, что неожиданность появления преступного крольчонка смутит его, если они связаны.

— Сын? — спросил пьянчуга, косясь на окно и, видимо, совершенно не в силах оторваться от чернильницы. Нет, он явно его не знает, подумал Начальник Охраны.

— Я бы такого сына... — пробормотал он и, замолкнув, уставился на грустного крольчонка. Главное, окно, затянутое прозрачной слюдой, было закрыто, и откуда он взялся, никак нельзя было понять.

— А ты знаешь, с кем говоришь? — спросил Начальник Охраны, лихорадочно соображая, как отразится появление крольчонка на внутренней жизни дворца и каким образом можно связать его появление с заговором Допущенных к Столу.

— Знаю, — неожиданно подтвердил крольчонок, и на этот раз его грустный голос как бы намекал на то, что он ничего хорошего не ждет от своих знаний.

— Значит, пришел раскалываться, — радостно высказал вслух свою догадку Начальник Охраны. До этого кролик никогда ничего не говорил, кроме своей издевательской фразы.

А теперь вдруг, очутившись у него в кабинете, заговорил. Начальник Охраны почувствовал, что завривается грандиозное дело. Он замурлыкал и потерял лапы от удовольствия. Мысль его заработала с необыкновенной силой.

— Как ты очутился во дворце, я знаю, — сказал Начальник, — во время штурма морковного дуба ты впрыгнул в спальню Королевы... Потому-то тебя не нашли тогда... Но как ты очутился в охранном отделе-нии — вот что меня интересует! Учти, добровольное признание облегчит твою участь.

— У меня пропуск, — сказал крольчонок грустно и добавил, как бы намекая на свое вечное сиротство, — на одно лицо.

— Ну да, пропуск, — согласился Начальник Охраны, тихо ликуя про себя, — но кто его выдал... Я, конечно, знаю, но лучше, если ты сам...

— Вы, — сказал крольчонок грустно и что-то протянул ему в лапе.

— Я?! — переспросил Начальник Охраны, задохнувшись от бешенства и одновременно догадываясь, что заговорщики таким коварным путем интригуют против него.

— Да, вы, — грустно повторил крольчонок и с неслыханной наглостью протянул ему какой-то затрепан-ный лоскуток, даже внешне не похожий на пропуск.

И эта наглость взорвала Начальника Королевской Охраны раньше времени. Он схватил со стола тяжелый кокосовый орех, давний сувенир делегации мартышек, и швырнул его в крольчонка.

Тяжелый орех пробил слюдяное окно и через несколько секунд шлепнулся во внутреннем дворе королевского дворца. По звуку было видно, что он лопнул и из него брызнула жидкость.

— Раскололся, — сказал крольчонок, как показалось Начальнику Охраны, с издевательским двусмыс-слием.

Крольчонок, больше ничего не говоря, повернулся к окну и, осторожно нагнувшись, чтобы не порезаться, пригнул одной лапой свои уши, вылез на ту сторону и исчез за карнизом окна. Еще несколько мгновений его уши торчали за окном, и было понятно, что он

висит на карнизе, обдумывая, куда бы спрыгнуть.

Как только уши исчезли, Начальник Охраны вскочил из-за стола, влез на подоконник и, осторожно высунув голову в дыру, крикнул вниз:

— Никто не проходил?

Охранники ходили внизу и, находя брызги кокосового ореха, тщательно вылизывали их. Казалось, там, внизу, лопнул горшок с деньгами, упавший сверху, и они ищут разлетевшиеся монеты. Один из них, которому достался солидный обломок ореха, и он, держа его над запрокинутой мордочкой (потому-то первым и заметил Начальника), тщательно скапывал в рот последние капли, ответил:

— Никто, Начальник!

Остальные охранники тоже подняли головы и неожиданно стали кричать:

— Спасибо, Начальник! Кинь еще!

Начальник ничего не ответил и убрал голову из пролома в окне. Тут он заметил валявшийся на подоконнике сильно увядший лист капусты с печатью королевского склада.

— Чёрт его знает, что делается, — сказал Начальник и, отшвырнув капустный лист, сел к столу.

— Убёг? — спросил пьянчуга, оживляясь и глядя туда, куда упал капустный лист.

Начальник посмотрел на него. Они встретились глазами.

— Убёг, — сам себе ответил пьянчуга, и глаза его засветились невинным блеском шантажа, — нехорошо... Тем более ежели пришел сдаваться, а вы его турнули путем швыряния казенного кокоса.

— Ладно, убирайся домой, — строго сказал Начальник. — И учти: ничего не слышал, ничего не видел.

— Я-то пойду, пойду, — сказал пьяница, не двигаясь с места и теперь уже опять уставившись на чернильницу, — но ежели кто пришел сдаваться, тем бо-

лее королевский преступник... Не дозволено пужать путем швыряния казенного кокоса...

— Ладно, пей и иди, — сказал Начальник Охраны и кивнул на чернильницу.

— Ваше здоровье, Начальник, — сказал кролик и залпом опорожнил довольно вместительную чернильницу. В то же время, наклонившись, он достал с полу капустный листик, брошенный Начальником, тряхнул его, мазанул пару раз о грудь, понюхал и, сунув в рот, стал жевать, одновременно знаками показывая, что он поднял его с полу и сунул в рот как ненужную вещь, иначе, мол, он ее положил бы обязательно на стол.

Пусть глотает, к лучшему, рассеянно думал Начальник, мимоходом удивляясь, как быстро рядовые кролики наглеют.

— Королевская, очищенная, — наконец выдохнул пьянчуга, — это вещь...

Быстро охмелев, он стал учить Начальника Охраны, как лучше поймать преступного крольчонка, при этом с выражением вымогательского намека продолжая держать в руке чернильницу.

Но тут Начальник Охраны взглянул на него своим знаменитым взглядом, который быстро привел в чувство пьянчугу.

— Все ясно, Начальник, — сказал пьянчуга и, поставив чернильницу на стол, пятясь, вышел из помещения.

То-то же, подумал Начальник, довольный эффектом своего взгляда. Он подумал, не связан ли крольчонок с каким-нибудь придворным заговором и, если не связан еще, не правильно ли будет связать его появление с еще не открытым заговором Допущенных к Столу.

Он вызвал своего секретаря и узнал у него, не спрашивал ли его кто-нибудь с утра.

— Тут один крольчонок приходил, — ответил секретарь, — сказал, что ты его ищешь.

— Ну, а ты? — спросил Начальник.

— Ну, я ему сказал, — отвечал секретарь, — раз ты нужен Начальнику, заходи и жди. А что случилось?

— Значит, кто меня ни спросит, — отвечал Начальник Охраны, — заходи и жди!

— Так ведь он был с королевским капустным листом, — отвечал секретарь, — а ведь это устаревшая, но неотмененная форма пропуска. Но что это? Разбито окно да и ухо у вас в крови?! Покушение!!!

— К счастью для королевства, неудачное, — сказал Начальник Охраны, — но какая ехидина! Он сказал, что я ему дал пропуск, имея в виду капустный лист, который я ему дал по приказу Королевы. Хорошо, что были свидетели. Опасный преступник во дворце! Перекрыть все ходы и особенно выходы! Налей мне свежих чернил, да не в чернильницу, а в бокал, чёрт подери! Думаю, что он прячется среди королевских балерин, придется их тщательно проверить!

Несмотря на перекрытые входы и особенно выходы из королевского дворца, на следующий день Король получил пренеприятнейшее известие о новой вылазке крольчонка уже на окраине королевства.

Об этом рассказывал в своем секретном донесении Главный Казначей. Дело в том, что в связи с тревожными временами Король распорядился в самом глухом уголке своего королевства устроить тайный склад с капустой. В случае, если королевство и в самом деле развалится, он думал вместе с женой и ближайшими сподвижниками, перекусившись соком черной бузины, пожить там под видом богатого семейства негритянских кроликов, прибывших из далекой страны.

И вот, оказывается, еще вчера, когда Главный Казначей в сопровождении пяти рабочих кроликов вносили в склад пополнение, они заметили крольчонка, сидевшего на пирамидальной вершине горы капусты подобно маленькому грустному Кощею, восседав-

кашему на черепах туземцев, кстати, в отличие от капусты, абсолютно несъедобных.

Увидев кроликов, он, как обычно, попросил Цветной Капусты, что прозвучало особенно издевательски, учитывая, что он сидел на целой горе кочанов обыкновенной капусты. Это прозвучало так, как будто он убедился в полной пищевой непригодности всех запасов, на которых он сидел.

— Про меня ничего не говорил? — спросил Король, мрачно выслушав рассказ.

— Нет, — отвечал Казначей, — но интересно, что, когда наверх полез один из рабочих кроликов, оказалось, что на вершине вместо крольчонка лежит кочан капусты с двумя надорванными листьями, напоминающими снизу уши кролика.

— Одно ясно, — мрачно отвечал Король, — тайный склад рассекречен... А этот мудака, Начальник Охраны, ищет его во дворце да еще и щупает моих балеринок. Должен сказать, друзья, еще два-три месяца — и королевство кроликов развалится в результате падения производительной силы удавов.

* * *

Но нет, не развалилось королевство кроликов, ибо именно в этот исторический день Удав-Пустынник приполз (потому-то он и исторический) к подземному дворцу Великого Питона и рассказал о своем открытии.

Великий Питон приказал собрать довольно поредевшее племя удавов. Некоторых пришлось тащить волоком, до того они ослабли от недоедания.

Один удав, залезший на инжировое дерево, росшее у входа во Дворец Великого Питона, во время исполнения гимна шлепнулся с ветки и упал рядом с Царем.

Царь, вынужденный прервать гимн, ждал, что тот будет делать дальше.

Смущенный позорным падением и нескромной близостью несчастного случая с местом возлежания Великого Питона, он пытался уползти, беспомощно дергаясь своим непослушным телом, что производило на Царя и близлежащих удавов особенно гнетущее впечатление.

— Да лежи ты, ради Великого Дракона, — наконец, сказал Царь и, уже решив не продолжать прерванного гимна, в сжатом виде рассказал всем о Пустыннике, который, если кто по молодости не знает, был в свое время наказан, а теперь вернулся с интересным предложением.

Прощенный Пустынник со скромным достоинством рассказал о своем теоретическом открытии и его экспериментальной проверке, оказавшейся вполне удачной. Удавы, мрачно слушавшие рассказ Пустынника, стали задавать вопросы.

— А может, это был полудохлый кролик, — спросил удав, привыкший все видеть в мрачном свете, — может, его и давить ничего не стоило?

— Конечно, — отвечал Пустынник, — кролик был не в лучшем состоянии, но учтите, что и я в проклятой пустыне, питаюсь ящерицами и мышами, еле двигался.

— Да что ты все о себе говоришь, — шипели в ответ удавы, — посмотри, на что мы стали похожи.

— Знаю, — отвечал Пустынник с еще более заметным скромным достоинством, — для этого я и вернулся... Теперь, уняв кролика совершенно новым способом без гипноза, я чувствую себя уверенно и спокойно.

— А когда ты его обработал? — неожиданно спросил Великий Питон.

— Сегодня, — отвечал Пустынник, — разве я не сказал?

— Тебе хорошо, — вздохнул Великий Питон, — ты позавтракал, а я до сих пор не емши...

Удавы почувствовали что-то, хотя и сами не знали что. Пожалуй, напрасно Великий Питон пожаловался, точнее, позавидовал Пустыннику. Позавидовал — значит признал в чем-то его превосходство. В это мгновение над удавами пронесся дух сомнения в Великом Питоне. Правда, как и у кроликов, отношения в племени были страшно расшатаны, опять же еще сегодня утром удав-охотник позволил себе дерзкую вспышку.

— Слушай, а сколько лет Великому Питону? — спросил один удав у другого в задних рядах.

— А кто его знает, — прошипел тот, — лучше послушаем Пустынника, он дело говорит...

Вопросы продолжали сыпаться. Пустынник отвечал на них со все возрастающей четкостью и скромностью.

— А каков верхний и нижний предел удушения? — спросил один из удавов.

— Братья-удава, — отвечал Пустынник, — насчет верхнего и нижнего предела я пока ничего не могу сказать, но с золотой серединой, с кроликом, уверенно говорю, справимся.

— Это главное, — с удовольствием прошипели удавы.

— О, прелестная и коварная золотая середина, — вздохнул удав, некогда избитый туземцами за попытку преподнести крольчихе кочан капусты.

— Не знаю, как насчет нижнего предела, — сказал Великий Питон и странным взглядом оглядел удавов, — но верхний предел мы сейчас проверим... Дави Коротышку!

Удавы вздрогнули от неожиданности. Пустынник бросился на Коротышку, но тот, хотя на этот раз был и на земле, но все-таки лежал возле дерева. Он успел увернуться и вспрыгнуть на кокосовую пальму.

— Души его на дереве! — кричал Великий Питон, горячась.

— Но я на деревьях душить не умею, — отвечал Пустынник.

— Будем ждать, пока он слезет? — тоскливо спросил один из удавов.

— А я никогда не слезу, — отвечал Коротышка, — здесь хватает еды.

Удавы стали стыдить Коротышку, но он, не обращая внимания на их шипенье, дотянулся до грозди бананов на соседнем дереве и стал их есть, шлепая на спины удавов шкурками, отчего те нервно вздрагивали.

— Ты обезьяна, а не удав, — сказал Великий Питон и снова оглядел свое племя, — тогда попробуем Косого... Где Косой?

— Как прикажете, — все так же скромно и четко сказал Пустынник.

— Что ж, — сказал Косой, — я слишком стар, чтобы перестраиваться... Можешь меня душить...

Пустынник свился кольцами и набросился на Косого. Они сплелись, но Косой безвольно провисал на Пустыннике, подобно тому, как в наше время усталый боксер висит на противнике.

— Ты сопротивляйся, сопротивляйся! — крикнул Царь, — нам нужен опыт в условиях джунглей.

— Какое уж тут сопротивление, — выдохнул Косой и испустил дух.

— Хоть умер с пользой для дела, — сказал Великий Питон, — я всегда говорил, что удав, из которого говорит кролик, это не тот удав, который нам нужен.

— Что характерно, — заметил Пустынник, отплетая от себя мертвое тело Косого, — опыт проходит более успешно, когда подопытное существо трепещет, оказывает сопротивление. Этот трепет возбуждает и приводит в действие всю мускульную систему.

— Оттащите его подальше, — сказал Великий Питон, — мы входим в новую эру, где никогда не будет таких инвалидов, как Косой, и таких вырожденков, как Коротышка, которого мы еще стряхнем с дерева! Пустынник мною назначается первым заместителем и пожизненным преемником Великого Питона, то есть меня. Разбредайтесь по джунглям! Тренируйтесь, развивайте свою природу!

С этими словами он удалился в свой подземный дворец, взяв с собой для личной беседы своего преемника.

С этого дня удавы начали усиленно тренироваться под руководством Пустынника, который разработал ряд классических упражнений для развития душителных мышц.

Так, например, две группы удавов, держась за вытянутого удава, старались друг друга перетянуть. На песчаном речном берегу было поставлено чучело кролика, где разрабатывались прыжки.

Особенным успехом пользовалось такое упражнение. Удав подбирал два молодых дерева, растущих рядом, вползал на вершину одного из них и обвязывался там хвостовой своей частью. Потом перебрасывался на вершину другого дерева и, укрепившись там головной частью, стягивался и расслаблялся, стягивался и расслаблялся. Так он мог тренироваться часами, следя, чтобы вершины этих деревьев схлестывались под одинаковым углом наклона, что служило равномерному развитию всей мускульной системы.

В один прекрасный день Пустынник собрал удавов и объявил им, что Великий Питон умер, но тело его будет вечно находиться рядом с его охотничьими трофеями, поскольку удав-скульптор сделает из него мумию.

— Согласно воле Великого Питона, — сказал он в конце, не теряя скромности и в то же время усиливая четкость, — удавами будет править удав, то есть

я. Отныне никаких дворцов... Дворец Великого Питона переименовать в Келью Пустынника.

— Можно вопрос? — прошипел один из удавов.

— Да, — кивнул Пустынник.

— Можно вас в честь ваших подвигов называть Великий Пустынник?

— Лично мне это не надо, но если вам так нравится — можете, — отвечал Великий Пустынник все так же скромно и четко.

А между тем, удавы продолжали тренировку, сочетая ее с опытами на живых кроликах. В первое время многие удавы работали очень неточно, но постепенно способы удушения делались все более и более совершенными. А в первое время удав, прыгая на кролика, часто промахивался, шлепался рядом, после чего кролик давал стрекача, а удав с отбитым брюхом уползал в кусты.

Некоторые удавы в процессе удушения так запутывались в собственных узлах, что потом приходилось тратить много времени на их распутывание. А один удав так запутался в собственных узлах (правда, он душил довольно крупную обезьяну), что его так и не удалось распутать.

В тяжелом состоянии его доставили ко дворцу, то есть к Келье Пустынника, где его осмотрели врачи и предложили отсечь запутавшуюся часть тела, чтобы сохранить ему жизнь.

— Нерентабельно, — отверг Великий Пустынник это предложение, — утопить в реке... У нас уже был один инвалид...

Стража отволокла неудачника к реке и утопила. Через несколько дней Великий Пустынник прочел удавам проповедь на тему «Удушение — не самоцель». После этого был разработан ряд классических петель-удавок, и случаи запутывания удавов в собственных узлах значительно сократились.

Однако пора возвратиться к нашим кроликам.

Первые сведенья о новом поведении удавов сначала никого не беспокоили. Те кролики, которых удавам удавалось задушить, естественно, ничего не могли рассказать своим собратьям, а те, возле которых тяжело и неловко шлепались удавы, ничего не могли понять...

Одним словом, после воцарения Пустынника жизнь удавов и кроликов вошла в новую, но уже более глубокую и ровную колею: кролики воровали для своего удовольствия, удавы душили для своего.

— Размножаться с опережением и ждать Цветной Капусты, — говаривал Король, — вот источник нашего исторического оптимизма.

И кролики продолжали успешно размножаться, терпеливо дожидаясь Цветной Капусты.

— Ты жив, я жива, — говаривала по вечерам крольчиха своему кролику, — детки наши живы, значит, все-таки Король прав...

Кролики не понимали, что в переключке принимают участие только живые.

— Если бы был жив Учитель... — вздыхал Возжаждавший, — а что я могу один и, тем более, в новых условиях.

Впрочем, согласно изречению Задумавшегося, он старался развивать в кроликах стрекачество, чтобы удлинять путь Злу.

Вдова Задумавшегося создала добровольное общество юных любителей Цветной Капусты. По воскресеньям, когда на Зеленом холмике возжигался над символической могилой Задумавшегося вечный огонь, она собирала там членов своего общества и вспоминала бесконечные и многообразные высказывания своего незабвенного мужа об этом замечательном продукте будущего. Свежесть ее воспоминаний о Цветной Капусте поддерживалась твердым кочаном обыкновенной капусты из королевских запасов.

Однажды уже сильно постаревшие Король и Королева грелись на закатном солнце, стоя у окна, в которое когда-то заглядывал с ветки морковного дуба тот самый крольчонок, что просил Цветную Капусту.

— Находчивый — это тот, который был с красивыми глазами, или тот, который предал Учителя? — вдруг спросила Королева у Короля. Кстати, придворные косметички смело придавали лицу Королевы черты былой красоты, поскольку мало кто помнил, какой она была в молодости.

— Не помню... Кажется, родственники, — отвечал Король, ковыряясь в зубах орлиным пером, — но кто мне надоед, так это вдова Задумавшегося.

Последнее замечание Короля, хотя никак не было связано с вопросом Королевы, было понятно: очень уж она зажилась. Ее собственные дети и даже некоторые внуки к этому времени уже погибли, а она все рассказывала случаи из жизни Задумавшегося, все вспоминала новые подробности его задумшевных бесед о Цветной Капусте.

Но и ее тоже можно было понять, ей так было жаль расставаться с дармовой королевской капустой, что это придавало ей силы для долгожития. Одним словом, всех можно понять, если есть время и охота.

Интересно, что некоторые престарелые кролики, рассказывая молодым о прежней жизни в гипнотический период, сильно идеализировали его.

— Раньше, бывало, — говорили они, — гуляешь в джунглях — встретил Косого — проходи, не останавливаясь, безопасной стороной его профиля. Или встретил Коротышку, а он на тебя и смотреть не хочет... Почему? Потому что бананами налопался, как обезьяна.

— А где они теперь? — спрашивали молодые кролики, завидуя такой вольнице.

— Косого удавы задушили, — отвечал кто-нибудь из старых кроликов, — а Коротышка вооб-

ще переродился в другое животное и взял другое имя.

— Вам повезло, — вздыхали молодые кролики.

— Раньше никто бы не поверил, — распались старые кролики, — чтобы туземцы использовали удавов против кроликов...

— А выпивка? Чистый сок бузины даром раздавали, — вспоминали престарелые алкоголики, — хочешь — учишь писать, хочешь пей — твое дело.

— Но вы забываете главное, — напоминал кто-нибудь, — при гипнозе, если уж тебе было суждено умереть, тебя усыпляли, ты ничего не чувствовал.

— А сейчас рядовые кролики отраву пьют, — не давал закрыть тему престарелый алкоголик, — сок бузины идет только для Допущенных...

— Одним словом, что говорить, — вздыхал один из старейших кроликов, — порядок был.

Удивительно, что и старые удавы, делясь воспоминаниями с молодыми, говорили, что раньше было лучше. При этом они тоже, как водится, многое преувеличивали.

— При гипнозе, как было, — рассказывал какой-нибудь древний удав, — бывало, ползешь по джунглям, встретил кролика: глянул — приморозил! Снова встретил — снова приморозил! А сзади удавиха ползет и подбирает. А кролики какие были? Сегодняшние против тех — крысы. Ты его проглотил, и дальше никаких тебе желудочных соков не надо — на своем жиру переваривается. А сейчас ты его душишь, а он пищит, вырывается, что-то доказывает... А что тут доказывать?

— Жили же, — мечтательно вздыхали молодые удавы.

— Порядок был, — заключал старый удав и после некоторых раздумий, как бы боясь кривотолков, добавлял, — при гипнозе...

— Они думают, душить легко, — часто говаривал один из старых удавов, укладываясь спать и с трудом свивая свои подагрические кольца. Хотя на вид это был далеко не тот удав, которого мы знали как удава, привыкшего все видеть в мрачном свете, на самом деле это был именно он.

* * *

Вот и все, что я слышал об этой довольно-таки грустной истории взаимоотношений кроликов и удавов. Если кто-нибудь знает какие-то интересные подробности, которые я упустил, я был бы рад получить их. Лучше всего письмом, можно и по телефону, а еще лучше держать их при себе — надоело.

Когда я записывал все это, у меня возникли некоторые научные сомнения. Я, например, не знал, в самом деле удавы гипнотизируют кроликов или это так кажется со стороны.

У Брема в «Жизни животных» почему-то ничего об этом не говорится. Все мои знакомые склонялись к тому, что удавы и в самом деле гипнотизируют кроликов, хотя полностью утверждать это никто не брался.

Среди моих друзей не оказалось ни одного настоящего змееведа. Я вспомнил, что один мой полузабытый знакомый любил говорить, беря командировку в пустыню Кара-Кум: — Поеду к змеям...

Хотя я знал, что он по профессии геолог, но я думал, что он как-то попутно и змеями занимается. Я с трудом нашел его телефон и очень долго и безуспешно напоминал ему об этом его выражении, а он почему-то все отрицал, упирая на то, что тем или иным сотрудником филиала их среднеазиатского института он мог быть недоволен, но чтобы целый коллектив — он лично такого не помнит.

Наконец, он у меня спросил, кто я собственно такой и почему я этим интересуюсь, хотя я начал с этого. Но он сначала, видимо, слушал меня рассеянно и благодаря моему восточному имени принял меня за кого-то своих далеких сотрудников.

— Ах, это ты, старичок, — сказал он, наконец, все поняв и обрадовавшись, — а я думал, кто-то из моих анонимщиков... Нет, нет, какие там змеи — вздоха-продыха нет... Хотя, если говорить по существу, то настоящие змеи...

Так как змеи в переносном смысле меня не интересовали, я пропустил мимо ушей его стенания и при первой же возможности положил трубку.

— Так это же по телевизору показывали, — сказала одна женщина, когда я затеял разговор об удавах в одной компании.

— И вы видели сами? — спросил я, обнадеженный.

— Конечно, — сказала она, отвернувшись от зеркала, в которое она глядела на себя с той педагогизированной строгостью, с которой все женщины смотрят на себя в зеркало, как бы укоряя свой облик в том, что хотя он и хорош, но потенциально мог быть гораздо лучше.

— Ну и что? — спросил я, трепеща от любопытства.

— Ну этого самого... — сказала она и очень выразительно посмотрела на меня, — зайчика положили в клетку с удавом...

— Ну, а дальше? — спросил я.

— Я отвернулась, — сказала она и еще более выразительно посмотрела на меня, — не могла же я смотреть, как этот питон глотает зайчика...

Так или иначе, она ничего не могла мне сказать по интересующему меня вопросу, и я, в конце концов, через другого моего знакомого, у которого оказался

знакомый змеевед, узнал, как смотрит наука на эту проблему.

Этот змеевед с презрительной уверенностью сообщил, что никакого гипноза нет, что все это легенды, дошедшие до нас от первобытных дикарей (не наших ли туземцев он имел в виду?). Одним словом, слова его вполне совпали с наблюдениями Задумавшегося.

В глубине души я всегда был в этом уверен, но приятно было услышать вполне компетентное научное подтверждение взглядов Задумавшегося кролика. Это тем более, что открытия этого действительно замечательного мыслителя были сделаны в те далекие времена, когда не было ни крупных научных центров, ни путеводной науки, господствующей в наши времена и ясно определяющей, какие змеи полезны, а какие вредны и почему. Задумавшемуся приходилось на собственной шкуре доказывать свою правоту.

Между прочим, я заметил, что некоторые люди, услышав эту историю кроликов и удавов, мрачнют. А некоторые начинают горячиться и доказывать, что положение кроликов не так уж плохо, что у них есть немало интересных возможностей улучшить свою жизнь.

При всем своем прирожденном оптимизме, положив руку на источник этого оптимизма, я должен сказать, что, в данном случае, мрачнющий слушатель мне нравится больше, чем тот, что горячится, может быть, стараясь через рассказчика воздействовать и на кроликов.

Вот поясняющий пример. Бывает, зайдешь к знакомому, чтобы стрелкнуть у него немного денег. Как водится, начинаешь разговор издали о трудностях заработка и вообще в таком духе. И смотрите, что получается.

Если ваш собеседник, подхватывая тему, начинает горячиться, указывая на множество путей сравнитель-

но легких заработков, то так и знайте, что он ничего не даст.

Если же во время ваших не слишком утонченных намеков собеседник мрачнеет и при этом не указывает никаких путей сравнительно легких заработков, то знайте, что тут дела обстоят гораздо лучше. Этот может одолжить, хотя может и не одолжить. Ведь он помрачнел, потому что мысленно расстался со своими деньгами или, решив не давать их, готовится к суровому отпору. Все-таки шанс есть.

Так и в этой истории с кроликами я предпочитаю слушателя несколько помрачневшего. Мне кажется, для кроликов от него можно ожидать гораздо больше пользы, если им вообще может что-нибудь помочь.

Единственная ежедневная русская газета
за рубежом

«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

выходит в Нью-Йорке, США
Главный редактор **Андрей Седых**
69-й год издания

«Новое русское слово» регулярно печатает документы самиздата, протесты из СССР, произведения лучших эмигрантских писателей, публицистику и прочее.

Подписная цена 70 долларов в год,
35 дол. — 6 месяцев
Воскресное издание — только 35 дол. в год
Годовая подписка воздушной почтой
(пачками по 6 номеров) — 150 долларов в год

Подписку с платой направлять по адресу:

243 West 56 St., New York, N. Y., 10019 USA.
NOVOE RUSSKOYE SLOVO

Мастерская

Василь Барка

СОБОР

Тихо тает венчик солнца
В темных прорезях крестов,
Голубиный голос помнится,
Или пенье соловьев?
Память скопленных веков...

Грань хрустальной колокольни.
Взгляд прикован.
В звонах слышатся слова.
В небо — струны. Зачарован
Гул органной...
И святых страниц свеченье —
Словно раны...

Старый книжник у стены.
Сердце — как под ветром колос.
Стебель слуха. Ясный голос
Хора с вышины.
Память каменных громад...
И голубка прилетела,
Крылья белые...
Мать Божья взор склоняет
С золотой иконы,
Венчик солнца расцветает
Розой опаленной.

Тихо в мире. Скорбно. Немо.
И пылает стремя злое,
В воротах — полки медвежьи,
А в очах-то — злые пчелы...

Древний клич тревогу будит —
Клич спасенья!
Это с башни
Колокольным дальним эхом
Слышен зов: Эммануил!!!

ПСАЛОМ ГОЛУБИНОГО ПОЛЯ

Все светлое, все рассветное
Насквозь свирелью пропетое...

Голубь слетает с теплого неба,
Из васильковой сини...

А гроза — белей белизны,
Словно церковь...
И белые остовы — мелкие, словно пчелки
над полем...

Стонет туча:
О, хан Иосиф,
Голод-хан, вырвал зеницу ока,
И кровь, как живые колосья,
Что волнуются в поле...

Голубь слетает с васильковой небесной крыши...

Лилии, лилии в поле —
А хозяина нет...

И цветы вырастают из сердца,
И белеют, как мертвые кости.
И повсюду — одна белизна.
Но повсюду — Христос воскресает,
И в парус, крестом помеченный —
благовест васильков,
Над полем, рассветно-светлым...

Перевел с украинского Василий Бетак

БАРКА Василий Константинович — родился 16 июня 1908 года в селе Солоницы Полтавской губернии. Окончил педучилище, затем — филологический факультет и защитил диссертацию (о стиле «Божественной комедии» Данте под руководством проф. Дживелегова) в Московском университете. На Западе — с 1943 года. В настоящее время живет в США.

В Америке издал несколько книг стихов, эссе и роман «Рай».

Владимир Филандров
«Джульетта из Генуи»
(Повести и рассказы)

Большой формат — 160 стр. с илл.

Герои произведений тридцатидвухлетнего писателя — самые разные люди: простые сибирские рабочие, русские деревенские жители, арестованный художник, новый эмигрант в Италии.

Книга продается во всех русских книжных магазинах.

ОДНО СТИХОТВОРЕНИЕ

ни осень, ни дожди не отделили окон
от завтрашней поры — где огненный предел,
где золото и свет в пропорции далёкой
очнутся на крестах в подвластной высоте.

от непрошедших дней повеяло раздольем,
от неуставших звёзд — прохладой ночной,
весь будущий октябрь, всё лиственно-святое
уже отражено сверкающей водой.

— он — это я, зеркальный поединок
закончился вничью: не знает смерть свинца,
и чёрной тишины прозрачные седины
не видят ни себя, ни чейного лица.

так говорил вещун с повязанной рукою,
сверкала тишина сквозь хмурый монолог,
а дальний часовой над дальнею рекою
под утренним штыком трёхгранно изнемог.

он — это я. его златую тайну
тебе не одолеть, осенняя толпа:
все эти сентябри сегодня неслучайно
закончатся во тьме, которая слепа.

но миг, что в этот день отсутствовал столь веско,
что даже на простор взглянули игроки, —
не холод ли то был с его оконным блеском,
с его прямым числом — иссиня-никаким?

вещун или игрок? — когда она спросила,
ответ еще не стал безмолвно-кратким «да».
сквозь толщу тишины и карточного гула
услышать его «нет», чтоб вздрогнуть навсегда.

пока её краса вблизи безумно снится,
пока вдали река коверкается так,
зеркальное стекло его дуэльным лицам
готово вновь подать кроваво-краткий знак.

как стаи диких птиц, ты перелётно, время, —
как дальние края с их траурной каймой:
вот почему теперь отрывисто и немо
не можешь отсчитать шаги перед собой.

о, девичий огонь в ресницах охлаждённых,
о, северная сталь томящихся штыков!
густеет тишина в своих зеркальных стонах,
не в силах разгадать: он нет или таков?

в ответном октябре оконно-неугасшем
все звуки и вся даль слились в один металл:
и тёмный циферблат, и каменная башня,
и позапрошлый миг, который отзвучал.

толпа уже слепа, цвет неба одинокий
сливается с её последней полосой,
из утренних бойниц и из вечерних окон
один и тот же вид — безлиственно-босой.

21 окт. 79

КАЗАКОВ Владимир — псевдоним московского писателя, печатающегося на Западе с середины 70-х годов. Наиболее известен его роман «Ошибка живых».

ОСКОЛКИ

* * *

простудный день завернутый в простыни
как пилигрим в песках пустыни —
огромный город шевеля власами
из мрака выйдя в мрак бредет

часы стрекочут обстригая вечность
как из пробоин в небе бьет беспечность
но астроном твердит что это млечность
и двое на траве согласны с ним

от тихих ласк до укрупненной дрожи
бессильные забраться дальше кожи
из кожи вон — не потому ли души
над нами плачут увлажняя сны?

пульсирует смеется кровотоцит
покуда Судный Ангел меч свой точит
весь город содрогаясь в мелких спазмах
от вечности до вечности бредет

за полночь встретившись в ладони великана
любовь моя неужто из капкана
из этих рук твоих моих сплетенных
и нам с тобой не выбраться вовек

не проще ль знать что нас Всевышний ловит
в ловушки эти оттого что любит
и каждый сам себя спасет когда погубит
а нам с тобою суждено вдвоем

простудный ветер обрывает листья
как лотерейные что куплены на счастье
с таблицей сверены но не совпали масти
и вот теперь летят вперегонки

* * *

облака говорил облака бормотал
облатку положив под язык
седой головой облака мотал
и не лицо уже а лик
облака шептал шатал головой
в кресле не сидел а лежал
облака над ним шли чередой
над травую над домом
над лесною грядой
облака и губы кусал

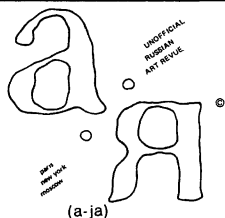
* * *

вот этот с бородой с ужимкой
идуший боком кое-как
как чёртик с лопнувшей пружинкой
или непойманный маньяк
любитель мрачных приключений
листатель полуночных книг
вот этот с длинной ломкой тенью
неужто я а не двойник

неужто он не пересмешник
решивший подколоть меня
не черной магии приспешник
неужто он и вправду я?

САВИЦКИЙ Дмитрий — родился в Москве в 1944 году. До армии работал грузчиком, рабочим в театре «Современник», ночным экспедитором, киномехаником. Служил три года в Сибири. После армии несколько лет редактировал четвертую полосу одной из московских многотиражек. Работал корреспондентом на радио, писал для детей, а также тексты для документального кино.

До отказа от советского гражданства, живя в Париже, печатался под псевдонимами: Александр Димов — во французской прессе и Олег Дмитриев — в «Синтаксисе». Первый роман его выходит во французском переводе в Париже в 1980 году.



**ПЕРВЫЙ ЖУРНАЛ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ
НЕОФИЦИАЛЬНОМУ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ
ИСКУССТВУ.**

Журнал выходит два раза в год и издаётся на трёх языках: русском, английском (параллельный текст) и французском (специальный вкладыш), имеет множество цветных и чёрно-белых иллюстраций.

Подписка:

во Франции —

I. Chelkovski,
Chapelle de la Villedieu,
F 78310 Elancourt

Стоимость подписки — 70 фр. фр.,

цена одного номера — 40 фр. фр.

в других странах —

E. Mühlebach,
P. O. Box 67,
1822 Chernex, Switzerland

Стоимость подписки — 35 шв. фр.,

цена одного номера — 20 шв. фр.

ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

Напрасно равную гортань
Кормить поутру коркой хлеба.
Ворона билась в створки неба,
Как кромка радужная в грань.
.....

На вдвое сложенной странице —
Прямая тень от мотылька.
(Из-за цыганского виска
Чей глаз испуганно косится?)
.....

И в лет — прямое попаданье.
И смерть пернатого письма,
Где рваный ракурс заклинанья
«О, дай нам Бог сойти с ума!»
.....

Мир заключен в стеклянной сфере,
Вмерзает, как бы в лед — графин.
Но у щеки обитой двери
Рассечен шрамом дерматин.

1979 г.

* * *

В ушную ракушку песок
Завит коснеющим советом.
Скребет час от часу сверчок,
И ворон кажется поэтом.

На небо взят живым сполох,
Качнувшись в зеркале измены,
И в белой краске потолок
Рассыпал вкось пустые стены.

Мечи полушкою икру
В мишень намеченной растраты,
Наруша звонкую игру
Легчайшей двушки автомата!

Уловом площади чекан
В мишень расколотой копилки
Всади навывлет сквозь туман
Из горла выпитой бутылки!

На лбу трефовое тавро.
Следы гвоздей — крапленой картой.
И за изъятое ребро
Разрыв — сердечная аорта.

1977

ПАРКИ

Над загадкою гласных у дна глубины,
Словно яростный дух,
От стены до стены
Бьется рыбой об лед
Все одно да одно —
И корабль — головнею о медное дно —
До настила заполненный сонной водой —
Уплывает до белых ночей —
или «от»?
Отплывает от белых ночей —
или «до»?
И чугунным стремленьем подземных ключей
Мечут плоские отмели нечет и чет.

Зачураться, спасти, вопиать —
и опять
Завивается кипень в крученную прядь.
И опять нипочем не успеть,
не взлететь.
Оседлал молодой полумесяц мечеть,
И забились голавли в придонную сеть.

Все, что кажется всем — и ему,
и ему,
Все свилось воедино — одно к одному.
Для того-то полуденный белый металл
Ты по пальцам делил, вычитал и слагал;
Оттого-то по долам и логам людей
Просыпается топот гнедых лошадей;
А из мшистых прогалин молчащих лесов
Разлетаются стаи подлунных песцов,
Чтоб в расселины глаз,
Где рассеяна мгла,
Протянулась сверкающая Шамбалла.

Но уже не взлетать одному к одному.
Но уже не всплывать никому
ни к кому.
Над спокойным затоном висит пелена,
И на сердце тяжелая дочь и жена
Засыпает в тоске,
Что голавль на песке.

1977

* * *

Скворцы цыганской нации
Испытывать должны
Соблазн аллитерации —
Свистульки Сатаны.

Пусть тайна и мутация
Прожилки на листе —
Пустая имитация
Наколки на локте —

В дыму смолы и ладана
Закручивал февраль
Над ледяною надолбой
Алмазную спираль.

Кочующему племени
В стремлении сквозном —
Сличать приметы времени,
Как в зеркале кривом —

Танцующие, синие
Лекалы скольжины,
Где силовые линии
Слегка искажены.

1978

ПАРИЖСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Вдребезги! — пустой стакан!
На осколки — вдрызг! — бутылки!
В клочья смятую постель!
Мы плясали среди звезд,
Среди пыли и стекла,
В этой комнате закрытой,
Где метла —
Нечастый гость.
Где сияли
Среди пыли
Звезды битого стекла.
И ты был мертвецки пьян,
А я — вдребезги живая.

И ты был смертельно счастлив
Среди пыли, среди звезд,
Теплую, меня сжимая.

1978

САПГИР Кира Александровна — родилась в 1939 г. в Москве. Переводчик, поэт, детский писатель. В СССР печатала детские стихи и сказки. Эмигрировала в 1978 г. Живет в Париже, занимается литературной критикой.

ЗАЯВЛЕНИЕ Валерия ЧАЛИДЗЕ

Почти каждый день приходят известия о новых шагах советских властей против Сахарова. По всему видно, что власти не остановятся ни перед чем, пока не заставят замолчать этого человека.

Я связан с Сахаровым 10-ю годами личного, а потом заочного сотрудничества. Я знаю его и чувствую его очень хорошо. Он не замолчит ни под какими угрозами. Он до конца принесет себя в жертву своим идеям. И сытый западный мир будет восхищаться им, но, боюсь, не сможет спасти его. Правительства будут выражать озабоченность, но торговаться о других делах. Знаменитые коллеги-ученые будут выражать сожаление, что репрессии против Сахарова помешают контактам с советскими учеными. Полноте, господа. Не помешают! Будете им вновь улыбаться, останетесь членами Советской Академии, будете пожимать те руки, которые подписывали постановление Президиума советской академии против Сахарова.

За последние семь лет Сахарову нанесен не один удар. И каждый раз я слышал от здешних ученых: «Ну, если власти посмеют пойти дальше, наша реакция будет очень сильной». Успокойтесь! Чтобы проявить сильную реакцию, надо быть сильным самому. Таковы ли вы — люди науки, издавна призванные быть моральным авторитетом общества?

Я всегда выступал против идеи бойкота научных связей, но с одной оговоркой: бойкот оправдан, когда этическое чувство ученого императивно этого требует. И вот теперь — тот момент, когда этическое чувство ученого, если оно развито у него, должно потребовать прекращения всех контактов с представителями государства, которое нагло и незаконно пытается уничтожить одного из самых прекрасных членов мировой ученой общины.

Сахаров должен получить свободу передвижения и быть в безопасности!

Ценности нашей цивилизации мало что будут стоить, если они не помешают ученым смириться с насилием над Сахаровым.

Валерий ЧАЛИДЗЕ

Россия и действительность

Валерий Чалидзе

О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ В ЭМИГРАНТСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ

Из истории... известно, что «идеологи» всегда были мягче идущих за ними политиков.

*А. Сахаров**

... Мы вступаем в эпоху великих подмен, соблазнов, замутнения совести и сознания.

*Прот. А. Шмеман***

Я считаю полезным обсудить некоторые удручающие меня тенденции в деятельности русской политической эмиграции. Тенденции эти, вообще говоря, не новы, но в последнее время некоторые из них обновились, причем во многом благодаря поддержке их А. Солженицыным, отчего и мое обсуждение будет связано с критикой некоторых его политических высказываний.

Я знаю, что критика политических взглядов Солженицына может раздражить многих его почитателей. В утешение им скажу, что литературные и гражданские заслуги его слишком велики, чтобы пострадать от критики. Сказавши это, уже не буду прерывать свое изложение поклонами и напоминанием о его заслугах.

Все годы моей общественной активности я занимался узко правозащитной тематикой, не вмешиваясь в политические споры ни в России, ни в эмиграции. Не вмешался бы и теперь, если бы не

* А. Сахаров. О письме Александра Солженицына «Вождям Советского Союза». Изд. «Хроника», 1974.

** Прот. А. Шмеман. Письмо членам Русского Студенческого Христианского Движения.

чувствовал, что ситуация может стать опасной. Я думаю, в конечном счете это мое выступление связано с идеей защиты прав, ибо разумно думать о правах человека и в будущем.

Легенда номер один

В первые годы после революции политически было естественно, что беженцы со дня на день ждали конца большевистского режима. Впоследствии, когда советская власть уже вполне контролировала страну, это эмигрантское ожидание не исчезло, но оно было естественно психологически.

Гибель советской власти предрекали и во время войны, хотя не все мечтали о поражении России от Гитлера: многие честные патриоты в эмиграции молились за победу русского оружия. На что-то надеялись, впрочем, и они: что-де русские солдаты, победив Гитлера, повернут свое оружие против Кремля. При всей политической необоснованности этих надежд, они не смешны. Хоть нынче и модно говорить, что эмиграция — это бегство от страданий своего народа, но ведь известно, что в эмиграции страданий тоже хватало, и даже для благополучных отсутствие Родины было страданием; в среднем эмигрантское житье не сравнимо с тем, что испытал народ в России, но это все равно были страдания, и не странно, что люди хватались за надежду на скорые перемены, пусть и необоснованную надежду.

Но одно дело соображения психотерапии, и другое — политическая публицистика: здесь лучше быть реалистичным, если не хочешь быть пустозвоном. А ведь легенда эта не умерла даже после победоносной войны и послевоенного укрепления СССР.

Уже в 1957 г. после явного морального укрепления власти в СССР после критики «культы личности» Сталина эмигрант И. Курганов заявил: «Брожение в России, как подземный гул революционного вулкана, слышится уже более явственно»*. Не знаю, может быть, издали слышнее. Мы в России никакого гула не слышали.

Нет его и теперь, даже через десять лет после начала правозащитного движения. Да, это движение росло, расширялось географически и социально, но это не революционный гул.

Между тем, предсказания о скором крахе коммунистов повторяются все время. Впрочем, благодаря очень важным разъяснениям

* Конгресс «За права и свободу в России». Изд. «Посев», 1958 г.

А. Солженицына, теперь уже не ждут кровавой революции — он напомнил, что кровь не спасает. Но зато теперь ждут быстрых постепенных перемен. Да и Солженицын отдал дань этой легенде, но признал вскоре, что нравственная революция — процесс медленный. Предсказания о скором крахе коммунизма слышны из России, но не становятся от этого более убедительными, тем более, что из России же слышны были пророчества о скором конце мира.

Не следует думать, что в России такие предсказания о конце коммунизма основаны на серьезном анализе слабостей режима и политической ситуации в стране — предсказывают, как правило, не эксперты, а люди, которые вдруг открыли сами для себя новый мир идей, освободились от груза коммунистических предрассудков. Перемена эта подобна просветлению духа и столь возбуждающа, что человек не может себе представить, чтоб за его просветлением не последовало просветления вокруг. Он не придумывает, в этом состоянии он действительно верит в скорые великие перемены в мире — я наблюдал это у людей.

Это не академический вопрос. Очень важно понять, что власть в СССР достаточно прочна и, возможно, переживет всех нас. Она не только прочна, она гибка, и это значит, что под давлением обстоятельств она меняется и может становиться человечнее, хотя и сопротивляется этому. Но по своей природе власть эта порочна в основе, и очень важно не забывать, что она может стать вполне бесчеловечной, как это уже было. Поэтому для тех, кто хочет помочь народам России, важно понимать, какого рода давление извне и изнутри может заставить эту власть изменяться в сторону большей человечности — медленно, увы, очень медленно, но все же изменяться. И важно понимать, какое давление делает ее хуже. Кормить же друг друга и западных друзей России легендой о скорых переменах значит не просто обманывать себя и других, а попросту «выйти из игры», утратить ту небольшую возможность влиять на события, которая все-таки есть у эмиграции.

Интересно, что многие авторы несбывшихся пророчеств о скором крахе коммунизма вряд ли согласятся признать свою ошибку, ссылаясь на то, что Запад-де неправильно действовал, а то бы пророчество сбылось. Ну, тут не о чем спорить. Пожалуй, хорошо, что Запад, как правило, не основывается на рекомендациях столь мало информированных пророков.

Есть ли ненависть народа к коммунистам?

Еще одна легенда. Нет этой ненависти.

Есть недовольство почти во всех слоях народа. И это недовольство высказывается людьми с большей или меньшей смелостью. И именно это — признак прочности власти. Недовольство, которое люди не смеют показать, — это потенциальная опасность для власти, опасность взрыва.

То, что люди недовольны правящей элитой, — нормально и не есть гул революционного вулкана. Глупа и слаба та власть, которая это боится допустить. Мы хотим большего — чтобы люди это бытовое и более серьезное недовольство могли выражать публично, в прессе, и добиваться удовлетворения их претензий. Власти не хотят этого допустить, боятся ослабить себя, но та степень бытовой гласности недовольства, которую они терпят теперь, не ослабляет их и не свидетельствует о готовности народа скинуть их.

Во-первых, это обычно недовольство властью в ее конкретных проявлениях, а не принципиальное недовольство этой властью вообще. Иногда это недовольство примитивное, на уровне зависти к тому, что у начальства большая зарплата. Такое недовольство есть и в западных странах, и мы не говорим в этом случае о ненависти народа к власти.

Во-вторых, у подавляющего большинства народа нет представления о том, возможна ли другая власть, кроме той, которую они видят. Нам здесь говорят, что народ ненавидит именно коммунистов, — между тем, знакомство с тем, что слышишь в народе, показывает обратное: начальниками часто недовольны оттого, что они не настоящие коммунисты — зажрались, забыли идеалы, да и коммунизм строят как-то не так. Конечно, многие уже понимают, что обещание коммунизма — это блеф, но у них нет альтернативной идеи для принципиального, политически значимого недовольства.

Люди верят в то, что приятно: послушать эмигрантов, так достаточно дуновения, чтоб народ навсегда отвернулся от власти. Не последнюю роль в укреплении этой легенды играют показания некоторых вновь прибывших: то ли люди хотят придать большую значимость своему свидетельству, то ли сами принимают желаемое за действительное, но часто в таких показаниях рисуется бумажный тигр вместо могущественной державы.

Нельзя так. Нельзя, скажем, поговорив со сбежавшим солдатом, объявлять, что советская армия гудит брожением. Это обман не только самого себя, это обман опасный для многих, и это тоже

старый обычай в эмиграции. (Если верить источникам*, генерал Власов в беседе с Гиммлером заявил, что дойдя со своей армией до Москвы, он *по телефону закончит войну*, поговорив со своими товарищами в советском командовании!)

Пора, наконец, отряхнуться от иллюзий и стать реалистичнее. Эмиграция кормит мир сказками о скором конце коммунистов уже 60 лет. Не хватит ли?

Психологически не есть ли эти иллюзии признак духовной слабости, неспособности смело понять, что духовная поддержка, которую мы отсюда можем оказать народам России, должна быть рассчитана на многие годы и мы не должны ждать или обманывать других, что будем вознаграждены успехом. Уж не заразились ли наши эмигранты прагматизмом у западной публики: здесь ведь принято браться за дело, лишь если виден впереди успешный результат. Но это в их жизни. От нас требуется другое.

Мы в правозащитном движении прошли эту школу безнадежности. Мы действовали, не видя впереди успеха, зная, что если и можно чего-то ждать, то лишь очень медленных сдвигов.

«Еще не рухнувший Запад»

Это слова А. Солженицына**. Активизацией антизападной пропаганды в эмигрантской прессе мы обязаны, пожалуй, именно ему. Его критика западной жизни и политики иногда воспринимается как способ выразить что-то неизвестное ранее из его политических верований, а иногда — кажется, что это ворчание неосведомленного человека.

Вот, казалось бы, пустяковая придирка, показывающая, как легко он готов основываться на непроверенной информации. В интервью с Би-Би-Си*** Солженицын возмущается: «Осенью 77-го года, во время американской книжной выставки в Москве, американские издатели решили почтить званым обедом главных представителей русской литературы. А звали примерно по такому признаку: кто числится в диссидентах. И вот ирония: на этот обед, собственно, русская литература, стержневая — не была позвана». Это его обида

* Прот. А. Киселев. Облик генерала А. А. Власова. Изд. «Путь».

** А. Солженицын. Обращение к конференции народов, поработанных коммунизмом. «Вестник РХД», № 116, 1975.

*** «Вестник РХД», № 127.

за «деревенских писателей». Ну, обида вроде бы понятная: «наших» на обед не позвали — в деревнях на свадьбах из-за этого драки бывают... Но ведь легко было по телефону уточнить, что никаких «главных» представителей на этот обед и не собирались звать, а звали только тех, кого публиковали в США! Каждый издатель приглашал своих авторов.

Другой пример поважнее. Сколько раз ругали мы тех незадачливых туристов, кои, приезжая в СССР, пишут потом небылицы, как-де прекрасно. Тут и Б. Шоу и Л. Фейхтвангер оставили о себе дурную память. Но вот А. Солженицын приезжает в страну, пережившую десятилетия фашистской диктатуры, и заявляет: «Я удивляюсь, знаете ли вы, что такое диктатура, что называют этим словом? Понимаете ли вы, что называют этим словом?»* — И это, пробыв 10 дней в стране и увидев что-то отличное от диктатуры, к которой он привык.

Это в стране, в которой закрытые военные суды рассматривали обвинения против гражданских лиц, в которой была цензура и запрет всех политических партий, кроме партии ген. Франко. Десятилетия люди жили с этой диктатурой.

Вот и гадай, читатель, — легкомыслие это или способ сказать, что франкистский режим — это то, что и должно быть для надежной охраны страны от коммунистов. Кто поверит в легкомыслие Солженицына?

Казалось бы, на апокалипсичности Гарвардской или Стенфордской речей конкретную политику строить нельзя. Но по рассмотрению оказывается, что есть в этом политические тенденции. Описание западной демократии и свободы подменяется карикатурой, с детства знакомой по советским газетам. Что же скажут те, в России, кто не верил этому газетному бреду? Скажут: «Наверное, правда, вот и Солженицын говорит...».

Не к Западу обращены эти страстные речи. Солженицын — не наивный политик, чтоб думать, что без логики, без точного изучения фактов, одними страстями, он сможет изменить западный образ жизни и политики. Вся страсть его речей о Западе обращена к людям в России, и призыв в них один: не следуйте Западу, его демократии, его свободе, его разврату, не следуйте всему, что отвращает ваши души от чего-то расплывчатого, но истинного, высокого, русского.

* «Континент», № 8.

Другая тенденция, также чтоб отвратить русских слушателей от Запада, — обвинение западных держав. Хорошо, что я уже оговорил, что поклонов в этой статье не будет: не поклон это, а признание моральной правоты Солженицына во многих его упреках Западу. Конечно, можно было бы эти обоснованные упреки выразить более связно и убедительно, но у него достаточно причин для страстности, страстности русского страдальца, помнящего, как на эту непомогшую Европу или Америку смотрели из России, из лагерей, и получали то, что воспринималось как предательство: и выдачу беженцев на удобрение ГУЛагу, и лицемерные похвалы зверскому режиму, и глухоту к честным свидетельствам о страданиях людей.

Но, во-первых, многие его упреки морально справедливы лишь с точки зрения россиянина: они ждали, им не помогли. Другой вопрос — могли ли, должны ли были. Ответ не тривиален. Не буду обсуждать прошлое. Главный упрек — в теперешнем отступлении перед напором коммунизма в мире, в том числе упрек в том, что не поддерживает Запад антикоммунистические силы в СССР.

Напор коммунистического влияния в мире беспокоит многих. Сам я тоже часто ворчу по поводу уступок США коммунистической экспансии. Но я понимаю, что многое здесь — следствие плюрализма западного сообщества государств, и меньше всего желаю Западу, чтоб он оказался Единым — это означало бы утрату многих ценностей западной цивилизации.

Претензии Солженицына и многих других эмигрантских политиков касаются прекращения войны во Вьетнаме. Не знаю, помогло ли бы продолжение войны на Дальнем Востоке, но результат ее прекращения был трагичен более, чем сама война: мы знаем о судьбе Южного Вьетнама, Камбоджи, беженцев. Какое отношение, однако, все это имеет к антивоенному движению в США, которое Солженицын считает предательством и признаком расслабления западных характеров? Я не вижу расслабления характера в том, чтобы протестовать против угона молодых американцев на бойню на край света. Именно угона, ибо была введена воинская повинность*. Я думаю, публика реагировала бы совсем иначе, если бы

* Я глубоко убежден, что правительства вправе пользоваться набором армии на основе воинской повинности лишь в случаях, когда необходима прямая военная защита территории страны. Во всех других случаях ведения войны, в том числе ведения войны как следствия политических обязательств, правительства должны использовать наемные войска или добровольцев. В 1971 г. я направил в Междуна-

правительство вело эту войну наемными войсками. Для того, чтобы народ был готов проливать кровь за что-то, он должен понимать необходимость этого или зажечься героической истерией. Я рад, что вторая возможность не реализовалась. А понимания необходимости не было: значит, правительство не нашло достаточно убедительных аргументов.

Суждение о ситуации, исходящее из примитивной схемы Запад — Восток — борьба за третий мир, чревато ущербностью в выводах. Как и человек, страна не преуспеет, если пойдет против самой себя, против своей психологии. В американском сознании глубоко укоренена идея изоляционизма. Хорошо это или плохо, опасно или нет, эту идею не разрушишь сразу, тут и десяти пророков не хватит. Разве не помним, что нужен был Пирл Харбор, чтоб убедить американский народ в необходимости вступления во Вторую мировую войну?

И теперь, во времена межконтинентальных ракет, идея изоляционизма еще достаточно сильна в умах американцев, хотя уже нет на земле места, где можно было бы изолироваться. Вот улыбка Судьбы — именно ненавистные Солженицыну либеральные силы пытаются убедить американцев в запоздалости их изоляционизма, в необходимости большей политической активности в мире, в том числе в необходимости пекься об обеспечении прав человека в других странах.

Хотя на права человека у Солженицына взгляд особый, но и он, и многие в России и эмиграции недовольны *пассивностью* американского интереса к нарушению прав в СССР. Для такого недовольства есть причины, но эта «пассивность» ни в коем случае не есть признак деградации и ослабления Запада, как это утверждается. Напротив, сам интерес к правам человека в мире — совершенно новое явление.

Классический принцип государственного суверенитета требовал полного безразличия к внутренним делам международных партнеров. Допускалась лишь дипломатическая забота о судьбе лиц своей нации и иногда своей религии, проживающих на территории другого государства. Этот принцип работал веками; человечеству понадобилось покопаться в золе немецких крематориев, чтобы понять, что

родную лигу прав человека предложение проекта декларации ООН на эту тему. Хода этот проект тогда не получил, но я надеюсь, что когда-нибудь будет обращено внимание на бесправное положение военнослужащих, призванных на основе воинской повинности.

в наш век обеспечение прав связано с международной безопасностью, и поэтому теперь оправдано отступление от классического принципа суверенитета в том, что касается обеспечения свобод. До этого просто не возникало всерьез такой мысли и информация о советских лагерях не могла серьезно влиять на политические отношения в СССР*.

Бывали отдельные случаи, когда политики, то ли от душевной боли, то ли чтоб покрасоваться перед избирателями, делали заявления, например, о преследовании церкви в СССР или, еще раньше, о притеснении евреев в царской России. Но действительный международный интерес к обеспечению свобод в мире возник после Атлантической хартии и Всеобщей декларации прав человека. Потом — долгие годы теоретической работы по выработке Пактов о правах человека и конвенций. Но еще в конце 60-х годов практически никакого влияния на политику идея международной защиты прав человека не имела.

Выход этой идеи в политику я отношу за счет международного влияния советского, а затем и восточноевропейского, правозащитного движения. Именно мы с самого начала движения указывали на международные правозащитные соглашения как на инструмент международного давления. Именно наше движение в последние 10 лет породило *международное движение* в защиту прав человека в Восточной Европе с вытекающим отсюда давлением людей на свои правительства. Без влияния нашего движения на западные умы невозможно представить себе американского президента, объявляющего международную защиту прав человека частью политики правительства: одной его личной морали, пусть и вдохновленной глубокой религиозностью, не хватило бы, чтобы отступить от вековых предрассудков, — не хватило же этой личной морали, когда надо было отвернуться от Тайваня...

Процесс международной защиты прав человека только начался. Разумно содействовать его росту. Разумно также помнить, что есть силы, даже на Западе, которые не хотят его роста.

* У меня впечатление, что бессмысленности сталинских репрессий 30-х годов иностранцы понять и не могли. Было естественно считать, что репрессии — это ответ правительства на действительную внутреннюю политическую борьбу. Представить себе, что поражение проходит без борьбы, здесь просто не могли. Поэтому так много людей здесь поверило, что действительно были заговоры, покушения и т. д., в том числе военный заговор Тухачевского.

Не странно ли, что писатель, столь громогласно разоблачивший нарушения прав человека в СССР за полвека, громогласно защищающий угнетенных и помогающий им, в то же время резко выступает против *идеи права* и *идеи прав человека* в том ее виде, как она сформулирована цивилизацией.

Что это, непонимание существа идеи права или опять пропаганда на Россию: не берите с них пример?

Не странно ли и то, что многие эмигрантские публицисты, озабоченные притеснениями в СССР, даже выступающие в защиту своих соотечественников, в то же время демонстрируют часто свое непонимание идеи прав человека и идеи права? Уже модным стало подчеркивать чрезмерность развития права на Западе, вновь модным стало говорить о том, что для будущей России право — вещь второстепенная, ибо общественные отношения в России должны строиться на основе какой-то особой нравственности русской души. Если это говорит публицист, я воспринимаю это как заблуждение, проистекающее от недостаточного знакомства с предметом. Если это говорит политик — я чувствую в этом хитрый обман будущего поработителя.

Право — это комплекс наперед сформулированных и компетентно утвержденных правил о том, как строятся отношения людей в обществе. Отсутствие или недостаточное развитие этого комплекса правил влечет произвол, часто удобный тому политику, который к этому призывает.

Мы знаем, что в истории эпохе писанного права предшествовала жизнь общества по праву неписанному, так называемому обычному праву, где не было четкого разделения права и этики. Переход к писанному праву был неизбежен с усложнением общественных отношений. Право регулирует и отражает общественные отношения, и в нашу эпоху право не может не быть сложным, ибо сложны общественные отношения.

Я хочу подчеркнуть тезис: «Либо право, либо произвол» — иного не дано человеческому обществу ни природой, ни Богом. Я сам удивляюсь тому, что эти мои слова звучат столь абсолютистски, столь безапелляционно — но это так. И полезно помнить, что, если политик с любыми добрыми намерениями призывает к отходу от идеи права при построении человеческих отношений, значит, он хочет произвола и, естественно подозревать, хочет именно своего собственного произвола. Я также хочу подчеркнуть наднациональ-

ность идеи права и дилеммы право — произвол. При всех особенностях конкретных правовых норм в разных государствах существование идеи права одно везде и везде наступает произвол, когда отходят от права.

Непонимание существа идеи права русскими эмигрантами возможно. Без специального изучения, живя в России, эту идею понять трудно. Право в СССР провозглашено инструментом политики правящего класса. Именно там с помощью смешения права с идеологией, с помощью хитроумной системы пробелов в праве и дозволенных властью отступлений от права оправдывают произвол. Именно там, оправдывая произвол, провозглашают неразрывность прав и обязанностей, тезис, который теперь повторяет Солженицын.

Солженицын, критикуя западную юридическую жизнь, полагает, что юридическая правота есть высший критерий правоты в западном обществе. Это просто не так. Юридические требования — это минимум требований, и очень важно, чтоб этот минимум был компетентно утвержден народом как закон и был известен всем. Юридические гарантии прав — это максимум, как далеко человек может заходить в своих проявлениях. Но есть еще сложившиеся веками и неписанные нормы поведения и деятельности — этика.

Есть этические нормы, общие для всех, — нарушив их, человек практически теряет уважение общества. Есть нормы специфичные для определенного социального строя — нарушение их может поставить человека вне этого слоя. Этих этических норм масса — они усваиваются людьми с детства, раньше чем они научаются понимать законы. Эти этические нормы необычайно сильны, иногда сильнее законов. Человек очень часто не позволит себе зайти так далеко, как разрешает закон, ибо чувствует, что это будет неэтично. И власти часто не могут преследовать человека за то, что наказуемо по закону (например, в США есть законы о наказании за гомосексуализм — власти штатов не могли бы теперь применить эти законы: неэтично!). Увидеть западное общество, живущее только по правилам юридическим, — значит, еще не увидеть его. И самоограничение, и ограничение общественное не менее свойственны людям на Западе, чем в обществах, не знающих столь сложной правовой структуры. И жертвенность, вопреки упреку Солженицына, тоже не редкость здесь, хотя нигде нельзя ждать ее от каждого.

Солженицына возмущает чрезмерная свобода личности на Западе: «Защита прав личности доведена до той крайности, что уже становится беззащитным само общество от иных личностей — и на

Западе приспела пора отстаивать уже не столько права людей, сколько их обязанности»*.

Это неверно. Защита прав личности до крайности не доведена — напротив, и в западном обществе эта область права развивается и будет развиваться. Что касается обязанностей, то отстаивать их нечего: коль скоро они предусмотрены законом, дело властей следить за их исполнением. Прелесть правовой идеи в том и состоит, что обязанность — это то и только то, что предписано делать по закону, а право человека — это все то, что законом не запрещено. Смещение прав и обязанностей логически бессмысленно.

Свой скептицизм относительно идеи прав человека Солженицын высказывал неоднократно — еще в сборнике «Из-под глыб». Есть у него и последователи. Вот пример: «мысль о примате личных прав при туманном представлении внутренних обязанностей» названа «антиобщественной установкой». Знакомая формула! Впрочем, должен признаться, у меня тоже *туманное представление* о «внутренних обязанностях»; есть у меня обязанности по закону и этике, и есть у меня сознание того, что считаю нужным делать, но это не обязанность. Что такое внутренняя обязанность?

Немало досталось и прессе. В карикатурном изображении Солженицына пресса — главный враг рода человеческого, предтеча антихриста: засоряет коммерческим мусором, заморочивает мозги читателей, заполняет пустоты догадками, собирает слухи, раскрывает оборонные тайны страны, симулирует общественное мнение и прочее, и прочее. А главное: «Много выше утерянное право людей *не знать*, не забивать своей божественной души — сплетнями, суесловием, праздною чепухой».

Напрашивается сказать, что уж правом *не знать* Солженицын в данном случае воспользовался сполна, ибо вместо того, чтобы узнать, что такое американская пресса, которая двести лет охраняет свободу в обществе, он предпочел, не зная, карикатурно ее охаять. Но, может быть, не так уж плоха западная пресса, если Бог избрал инструментом ее спасения самого Солженицына?

Я не готов писать целую книгу, чтоб обсудить все сказки о западной жизни, которые успел рассказать Солженицын. Я считаю его по-своему ответственным человеком, и не думаю, что он стал бы рассказывать эти легкоопровержимые сказки в расчете на западных людей. И я повторяю, все это безответственное поношение

* Гарвардская речь.

Запада направлено на Россию: там не смогут опровергнуть, там поверят пророчьему призыву: ни в чем не следовать Западу.

«Вестник русского христианского движения» № 128* поместил обзор отзывов на Гарвардскую речь Солженицына. Сказано: «Речь всколыхнула всю страну...» Ну, «всколыхнула» — это дань растущему культу личности Солженицына, но, правда, речь поразила многих. И поразила потому, что американцы поспешили провозгласить Солженицына символом *борьбы за свободу*. Теперь же видно, что он годится лишь в символы *борьбы за свободу от коммунизма*, но никак не за свободу вообще.

Русская жестокость или марксистский яд

Неудивительно, что в нынешней политической пропаганде вопрос о причинах революции 1917 года — один из основных. Солженицын и его последователи доказывают, что виной всему исключительно марксистский яд, впрыснутый в здоровое и прекрасное тело святой Руси. Другие утверждают, что зверство послереволюционного режима объясняется русским национальным характером, жестокостью традиций, отсутствием правосознания — это иллюстрируется худшими страницами русской истории, и бывает, что ссылка на жестокость Иоанна Грозного оказывается доводом в защиту марксизма.

Обе эти крайние точки зрения слишком примитивны, чтобы их критиковать здесь. И та и другая — свидетельство непомерной политизации истории.

Теперь меня интересуют именно политические цели Солженицына и его последователей. Цели эти глубоко не скрыты. Надо, во-первых, показать ядовитость марксизма, то, что он всегда придет к концентрационным лагерям; во-вторых, напомнить, что марксизм — это западный яд: берегись развратного Запада; в-третьих, идеализировать царскую Россию.

При всей моей антипатии к марксизму, все же замечу, что дискуссия с теорией должна вестись также теоретически: одна ссылка на практику нынешнего коммунизма и его зверства не может опровергнуть теории Маркса. Одно важное обстоятельство о роли марксизма в истории часто забывают. Когда Маркс и Энгельс писали свой манифест, «призрак коммунизма» действительно бродил по

* Статья И. Иловайской.

Европе. Никому не было ясно, что это за призрак, в какие одежды он готов одеться. Отвлечемся от симпатий Маркса и Энгельса и признаем ценным то, что они этот призрак описали и показали одним, чего можно желать, другом — чего надо опасаться. Они не изобрели, не придумали этот призрак. Многие цивилизованные страны послушались этого предупреждения, оказались достаточно гибкими, чтобы допустить развитие защиты прав трудящихся, улучшение условий их жизни и труда, — и социального взрыва не было. Россия этого предупреждения не послушалась — улучшение положения трудящихся шло слишком медленно, заостренная иерархическая структура общества была не способна к гибкости и обновлению. Взрыв мог бы произойти и без пропаганды марксизма.

Вообще революции 1917 года и в феврале и в октябре пытаются представить как какой-то случайный успех кучки чуждых России заговорщиков, а не как событие, назревавшее в обществе десятилетиями, событие, которому прямо или косвенно содействовали многие слои российского общества.

В журнале «Зарубежье»* читаем: «Русская революция не соответствовала ничьим интересам. Объективно не нужная, ни для кого не желанная и вовсе не неизбежная — такова она в ее неповторимом своеобразии. Осуществленная ничтожнейшим меньшинством, она вызвала сопротивление огромного большинства.

Наконец, она несомненно запоздала...»

Быть может, это лишь утешение фантазией, но не связано ли это утешение с легендой номер один, нет ли здесь цели убедить людей, что и теперь революцию можно сделать с легкостью?

Идеализация царской России имеет целью не только пристыдить марксизм и большевиков. Солженицыну и его последователям нужно убедить людей в ценности авторитаризма — не обязательно в форме царского самодержавия, не обязательно даже прославлять последнего императора (он и ругнул Государя за *отречение*). И тут уже большевики на втором плане — они свалили Республику, но вина за это на Республике! Это либералы и социалисты перед большевиками отступили: «Либерально-социалистические тогдашние правители промотали Россию в полгода до полного упадка»,... «Так что не только не было никакой Октябрьской революции — но даже не было и настоящего переворота. Февраль упал сам».

* Н. И. Осипов. Природа русской революции. «Зарубежье», февраль-май 1978.

«... Я понял, что несчастный опыт февраля, вот, его осознание — это и есть самое нужное сейчас нашему народу»*.

Вот они, лозунги: все беды от Республики, от демократии; не стремитесь к ним, не поддавайтесь на обман отравленных Западом либералов. А кто либералы? — все те, кто говорит о праве и о правах!

И для подкрепления вывода — рассказ о том, как эти гнусные либералы здоровую Россию подтачивали и как ее защищал Марков 2-й, глава Союза русского народа, печально известного черносотенной идеологией и практикой**. Чтоб знали люди, кто их настоящий друг.

«Демдвиж»

Ну, а что же делать с теми, кто и теперь, несмотря на уроки истории, готов проповедовать права человека, республику, демократию? Обругать? — сразу всех неудобно: все-таки Сахаров, все-таки права человека. Ну, с идеей прав человека расправиться легко: показать, к какому разврату и оскудению душ привела эта идея на Западе, — это мы уже видели. А правозащитное движение? — прямо не сокрушишь — слишком оно благородно. И вот приходит на помощь художественный метод борьбы. Мастер слова, художник, употребил отвратительного звучания слово «демдвиж», чтоб выразить все свое презрение. Не думайте, что я придираюсь, он — не советский бюрократ, для которого любые сокращения привычны; художник случайно не употребит столь гнуснозвучного сокращения. Сокращения чего? Лишь немногие называли наше движение демократическим. Общая тенденция была и осталась — не связывать наше движение ни с какой политической доктриной, и называем мы его правозащитным.

Ну, художественный метод борьбы проблемы не решит. Нужны другие доводы. Эмигрантская пресса их находит.

Как удачно, что в движении встречаются инородцы. Тут я должен виновато потупить взор, хоть я и не еврей, но все-таки инородец. К тому же, у движения много друзей на Западе. «Наше дело — это реакция на деятельность тех евреев или *полуевреев*, которые воображают себя оракулами, говорят от имени взлелеянного за

* Интервью с Би-Би-Си. «Вестник РХД», № 127.

** А. Солженицын. Октябрь 16-го. «Вестник РХД», № 128.

границей с помощью иностранного капитала «демократического движения», существующего почти исключительно в еврейских кругах»*. Ну, прямо из советской газеты, если только слово «еврей» заменить на вежливое «сионист». Вы думаете, автор этих слов антисемит? Ничуть не бывало. Вот он пишет о себе: «Я никогда не был юдофобом и всегда осуждал вульгарный антисемитизм».

Другой способ — похоронить движение раньше времени. Злобная похоронная статья уже была в «Вестнике РСХД» семь лет назад (№ 106). Тогда, в 1972 г., был трудный период, но хоронить было рано. Последующие семь лет движение было очень активно, расширилось географически и социально и получило невиданную поддержку на Западе. Теперь оно вновь потише — опять хоронят. Отвечая на доклад Клепиковой** на конференции в Нью Хэвене «Демократическое движение. Политический некролог», литовский поэт Венцлова сказал:

«У нас в Литве есть поверье: если о ком-то раньше времени сообщают, что он умер, он потом долго живет».

Еще довод против движения, тут уж и Сахарова можно затронуть: у него очень мало последователей среди народа; он защищает принципы февральской революции, а если мы к этому вернемся, то опять наступит Октябрь*** — вот так довод! А то, что Сахаров защищает людей, — и тут у него нет последователей?

И не только мало последователей: защищаем мы немногих. А надо-де защищать весь народ, а не меньшинства. А особенно раздражает критиков, что мы защищали право на эмиграцию, то есть и евреев. Говорят также, что нет у нас позитивной программы, что, анализируя советское право, мы поддакиваем советской пропаганде: дескать, какое уж там право, одно бесправье. Должен ли я отвечать на все это? Скажу только, что мы защищали всегда права всего народа. Невозможно защищать права, не ссылаясь на достоверно известные случаи. Это всегда конкретные казусы, а не взгляд и нечто; они часто касаются социальных, религиозных, национальных групп, тех групп, которые сами о себе заговорили и потому дали нам информацию. А может быть дело в том, что мы защищаем тех, кого не надо защищать?

* Статья Орехова. «Часовой», март-апрель 1976. См. сборник «Демократические альтернативы», там целая подборка цитат с решающими доводами против нашего движения.

** Я упомянул о ней к слову. Кажется, она из другой похоронной фирмы.

*** А. Удодов. Интервью. «Русское возрождение», 1978, № 2.

Позитивная программа? Она есть: помогать людям, даже когда не можешь помочь.

Мне еще в Москве говорили: «Чего вы добиваетесь, вы же бес- сильны». Я отвечал: «Я не могу, видя людей в цепях, снять эти цепи. Но я могу помочь людям знать, что они в цепях, и идти с поднятой головой». Это моральное кредо. Это нравственное дви- жение, у нас нет политических целей, но я понимаю, что наше су- ществование раздражает тех, у кого есть авторитарные полити- ческие цели. Мы им мешаем больше, чем большевики.

Вот у Синявского разговор в лагере:

«Некто: ... Нехватало, чтобы русский народ прожидовел, зара- зившись либерализмом... Нет, Россию надо подморозить!

Синявский: ... Куда — *эту нашу*, — дальше подмораживать?..

Некто: А чтобы не сгнила... под влиянием евреев... В подморо- женном виде, после чекистов, мы ее получим — невинной...»*

С точки зрения «высших духовных целей» критикуют наше дви- жение как бесперспективное, даже в случае успеха его требований. Солженицын говорит: «Нельзя всю философию, всю деятельность сводить: дайте нам права! То есть — отпустите защемленную руку! Ну, отпустят или вырвем. — А дальше?»

Ну, во-первых, мы никогда не просили «дайте нам права». Пра- ва у людей есть, надо, чтобы их не нарушали. Мы просто показыва- ли людям, как пользоваться этими природными правами вопреки противоправным попыткам власти запретить это.

* «Синтаксис» № 2. Вот и подумайте, от кого надо защищать Россию, от таких националистов или от русского писателя, кото- рого обливали грязью за невинные слова «Россия мать. Россия — сука!».

От редакции: Справедливости ради следует заметить, что сам Андрей Синявский не отстаёт от своих оппонентов по части «трав- ли» тех, кто высказывает «еретические», по его мнению, суждения. В первых же пяти номерах журнала «Синтаксис», который он ре- дактирует совместно со своей женой, последовательно учинен разнос целому ряду писателей: Александру Солженицыну, Владимиру Ма- рамзину, Виктору Некрасову, Владимиру Максиму. (По отноше- нию к последнему вышеупомянутые редакторы перещеголяли все рекорды литературных погромов сталинских времен: в предыдущем, пятом номере «Синтаксиса» они посвятили ему целых три погром- ных статьи.) Но, как это ни странно, господин Синявский считает всякую критику в свой адрес «травлей», а открытую травлю своих коллег по эмиграции и профессии «критикой».

Во-вторых — что же дальше? А дальше жить люди будут, жить нормальной жизнью, будут свободно выбирать, чему себя посвятить: возвышенным духовным ценностям, к которым манит Солженицын, или низменным интеллектуальным и эмоциональным интересам, к которым побуждает их животная природа; свободно будут выбирать, жить им при демократии или теократии, при республике или монархии. И это очень большая ценность — жить, свободно реализуя свои природные возможности, не будучи «подмораживаемыми» ни большевиками, ни знатоками великой национальной истины.

Православное возрождение

Нет такого возрождения. Между тем, эмигрантская пресса полна сообщениями о громадном увеличении числа верующих православных, о притоке молодежи в церковь. Нет данных, чтобы утверждать это. Известно, что много молодых людей проявляют интерес к православию, но это идет параллельно с тем, что молодежь интересуется всеми духовными течениями, о которых нельзя узнать из официальных публикаций: неподцензурной философией, буддизмом, йогой, спиритизмом и т. п. Известны отдельные кружки и религиозные семинары, посвященные и православию, и другим религиям, известны случаи крещения молодых интеллигентов, увлечение религиозной тематикой у неофициальных художников, но — ничего подобного массовому возврату народа в православие нет.

Нынешнее усиление интереса к православию в России можно назвать *православным возрождением* не более обоснованно, чем *правозащитное движение* называть *политическим возрождением народа*.

У авторов статей в эмигрантских журналах нет никакой сравнительной статистики, чтобы сделать заключение о резком росте числа верующих. Приходится основываться на сообщениях приезжающих и на письмах из России. Обычно это общие впечатления, не позволяющие судить о росте числа верующих как о массовом явлении. В одном журнале*, например, под заголовком «Возрождение православия в России» опубликовано письмо с жалобой на то, что цены на Библию на черном рынке очень высоки.

* «Вестник РХД», № 126, 1978.

Но зато есть лозунг в эмигрантской публицистике: Даешь православное возрождение! — причем лозунг политический, ибо полагают, что обращение к православию — часть программы политического спасения: православие вместе с национализмом мыслится как духовная основа желанного авторитарного строя в России.

Я думаю, что православие еще в меньшей мере, чем другие христианские учения, может быть духовной основой какого бы то ни было политического строя: оно не политично по своей природе, в отличие, скажем, от мусульманства, изначально созданного как религиозно-политическая доктрина.

По многим признакам складывается впечатление, что в православии видят инструмент для вытеснения существующей политической системы и государственную идеологию будущего — я сомневаюсь, что этого можно достичь, существенно не испортив дух и доктрину православия. Впрочем, Солженицын политизировал литературу, и все равно это хорошая, талантливая литература. Быть может, ему удастся политизировать христианство, так что это будет талантливо и притом останется христианством.

Я хочу, однако, подчеркнуть, что религиозное чувство, обращение к Богу — глубоко интимно и обычно не связано для людей с мирскими заботами и проблемами. Попытка использовать эти интимные чувства для достижения или пропаганды политических целей — это способ отвратить людей от веры, а учитывая положение православной церкви в современной России — это путь, чтобы вызвать отход верующих от их церкви. И я думаю, это безнравственно.

Я не специалист в этих вопросах, я лишь хочу предостеречь от использования религии как политического инструмента. Я также считаю порочным и опасным планировать навязывание людям любой государственной идеологии в будущем.

Национализм

Русские собственно-националистические претензии к коммунизму основываются на том, что народ действительно оказался оторванным от национальной истории; вместо национальной культуры его 60 лет кормили стандартной жвачкой политизированной культуры с претензией на интернационализм, даже само понятие «русский» утрачивает свой смысл и сливается с политическим понятием «советский».

Претензии весьма обоснованные, и можно только радоваться этому направлению культуры.

Но мы знаем, что с национализмом может быть связано много дурных проявлений, и нормально, что интеллигенция пристально следит за развитием националистической публицистики — это не оскорбление, а внимание. И мы замечаем, что в русской официальной и неофициальной публицистике, как и в эмигрантской, есть эти дурные проявления.

Сахаров обратил предостерегающее внимание на изоляционистские националистические тенденции «Письма вождям» Солженицына. Ответ Солженицына не внес уточнений: «За русскими не предполагается любить свой народ, не ненавидя других. Нам, русским, запрещено заикаться не только о национальном возрождении, но даже о «национальном самосознании», даже оно объявляется опасной гидрой». Это не так. И Сахаров и другие русские интеллигенты такое возрождение готовы приветствовать, мало того, они сами — *лучшая часть этого возрождения* (почему-то забывают об этой подробности).

Речь, однако, о *дурных* проявлениях национализма. Никто эти дурные проявления не будет, по возможности, пропагандировать явно — слишком велика настороженность публики после Сталина и Гитлера. Но вот некоторые из таких проявлений.

Кровяные аргументы — это когда ссылка на кровь, на национальное происхождение считается или подразумевается аргументом в споре или пропаганде. Я уже цитировал эмигрантские аргументы против правозащитного движения, что-де евреи. У самого Солженицына встречаются кровяные аргументы: у Ленина якобы четверть русской крови (читай — вот откуда все беды), злой его гений — еврей Парвус*. При всей ненависти к большевикам Солженицын трогательно говорит о русском *по крови* рабочем Шляпникове, незаслуженно оттесненном от руководства большевистской партией.

ОГПУ, судя по описаниям Солженицына, было еврейской лавочкой — дескать, мы, русские, тут ни при чем.

Иногда кровяные аргументы доводятся до бессмыслицы: вот как реагирует известный защитник угнетенных на насильственное переселение и теперешнее преследование крымских татар: «Татарское иго над Россией навсегда ослабляет наши возможные вины перед осколками орды»**. Так-то, крымские татары, — покаяйтесь

* Ленин в Цюрихе.

** «Из-под глыб».

за предков вместо борьбы за возвращение в Крым! А то, что они — люди, с правом на свою землю, — это второстепенно; важно, что они как будто потомки тех татар!

Политизация патриотизма — это дурное проявление мы помним по сталинским временам. В эмигрантской публицистике такой политизации тоже достаточно: то обсуждается, что не каждый русский вправе считаться русским; то говорят, что русское возрождение может быть только религиозным; то говорят, что еврей-коммунисты утратили свое еврейство.

Духовный изоляционизм — другое дурное проявление национализма. Хотят доказать, что русский дух особый, что к чему-то великовозвышенному Богом предназначен, что-де быть нам третьим Римом и на этом основании надобно уберечь Россию от западного растлевающего влияния — уже говорил я об этом.

Демократия не для русских — этот лозунг — следствие предыдущего дурного проявления национализма. Вот так! Что немцу здорово, то русскому — смерть. А почему не для русских — довод то смешной: существовала демократия и республика несколько месяцев в 1917 году, да ничего не получилось. И еще довод: посмотрите, до чего демократия довела на Западе! А что такое демократия? — *Право каждого участвовать в управлении своей страной* — так выходит, русским этого права не давать? Не справятся? Ну вот, мы боялись национализма как утверждения о национальном превосходстве, а нам подают тезис о национальной неполноценности!.. Это не шутка. Именно это имеют в виду теоретики националистического авторитаризма: «...в приложении европейской парламентской системы к России ее (системы) недостатки будут удесятеряться такими факторами как недостаточное (почти нулевое) правосознание русского народа, расхлябанность и безответственное отношение к делу, безудерж русской души»*.

Недавно «Русская мысль» опубликовала статью, в которой ставится под сомнение приемлемость всеобщих политических выборов в будущей России на том основании, что народ развращен и пьяниц много. Не странно ли, что я, инородец, должен защищать русский народ в споре с русскими националистами? Да если бы русский народ состоял только из пьяниц — это все равно ваш народ, и Россия должна быть такой, как решит именно этот народ, а не фантастически переделанный!

* Юрий Блинов. Грядущий град. «Вестник РХД», № 119, 1976.

Статья Н. Иваницкой («Русская мысль», № 3279, 25 окт. 1979) посвящена интересной записке В. Максимова о демократии. Юристу есть к чему придраться в этой записке, но автор сам это понимает. Главное же, что это очень демократический и человечный документ, достойный серьезной дискуссии, а не огульного поношения.

Авторитаризм

Вот это якобы для русских — и душу божественную сохранишь, и порядок будет, и целей достигнешь — туманных, но Богом перед Россией поставленных. И на этой мякине опять хотят провести истстрадавшуюся страну!

И что интересно: *авторитаризм* и ни слова больше — тайной покрыто желаемое устройство общества*. Кто принимает решения? Царь? Патриарх? Верховный писатель? Никаких разъяснений ни у Солженицына, ни у его последователей. Только и разговору, что будущая Россия должна быть православной, с высоким национальным духом и авторитарной. А что будут делать с теми, кто ни православия не захочет, ни высокого духа? С диссидентами? Неизвестно. И это настораживает.

В обсуждении националистического авторитаризма проскальзывают и напоминания о некоторых достоинствах немецкого национал-социализма. Например, Ю. Блинов** весьма своевременно указывает на некоторые достоинства национал-социализма перед большевизмом: «Профашистское движение «немецких христиан», объявившее фюрера богоизбранным вождем, пользовалось почти неограниченной свободой действий...» — это напоминает нам, что у политизированного христианства много преимуществ, но оно имеет один важный недостаток — перестает быть христианством.

Конечно, никто открыто нацизм в эмигрантской прессе не пропагандирует, но вот ген. Власов в последние годы вновь стал героем и образом патриотизма в некоторых эмигрантских кругах (действует двойной этический стандарт: Ленина проклинаяют за герман-

* Впервые, по-моему, в «Письме вождям» упомянул Солженицын о достоинствах этого типа государства. Очень скоро во многих эмигрантских журналах эта идея стала восхваляться, и для многих уже аксиома, что для России демократия не подходит, что нужен действительно таинственный авторитаризм.

** Ю. Блинов. Грядущий град. «Вестник РХД», № 119, 1976.

ские деньги, Власова славят за переход на сторону Германии и вооруженные действия против своего народа)*.

Все это было бы не страшно, если б речь шла о недосказанных идеях. Но у меня есть сильное впечатление, что определенная часть эмиграции вдохновлена идеями вождя и ведет действительную политическую работу в направлении националистического авторитаризма. Я не знаю, осведомлен ли Солженицын об этом, но я чувствую, что работа ведется во имя его идей. *Нет никакой опасности, что их ждет удача.*

Хотя и не будет успеха у этой затеи, но политическое влияние она возыметь может и влияние опасное.

Национал-коммунизм возможен

Не я первый пытаюсь предостеречь, это носится в воздухе. В компартии, в генералитете, в КГБ есть достаточно влиятельных лиц, которым близка идея национализма в сочетании с коммунизмом. Руководство КПСС прагматично, оно не дает хода этой идее, потому что теперь это не необходимо. Они пустят в ход этот казенный национализм, если обветшалой идеологии нужна будет подмога. Активизировав авторитарно-националистическую пропаганду, эмиграция усиливает те группы в советском руководстве, которые хотят национал-коммунизма, и облегчают для них пропагандистскую работу и в партии и в народе.

Некоторые считают, что национал-коммунизм невозможен в многонациональном государстве. Это не так. Сталину удалось близко подойти к реализации этого. Ему не понадобилось русских объявлять единственными «арийцами» — каждая из советских наций была «арийской». Как это отражалось на меньшинствах в республиках — мы знаем, страдали от этого не только евреи. Как это отражалось на интеллектуальных связях с цивилизованным миром — мы тоже помним, запрещались целые области науки со ссылкой на космополитизм. Запад был объявлен не только политическим, но

* О Власове сказано много противоречивого. Пусть не согласятся со мной его почитатели, но одно им следует понять: русский народ не пошел за Власовым во время войны, не пойдет он и теперь; попытка использовать фигуру Власова в нынешней антикоммунистической пропаганде — это нечто фантастически неразумное со стороны эмигрантских публицистов.

и национальным врагом. Националистическое чванство нанесло огромный урон развитию культуры и в России, и в республиках.

Часто забывают, что в большинстве советских республик в очень слабой форме уже реализован национал-коммунизм, хотя и без активной поддержки Москвы. Мало заметна на Западе, но сильна дискриминация меньшинств в республиках, а в Средней Азии даже племенная дискриминация, сильно национальное чванство республиканского руководства и официальной культуры. Тем не менее, республики уживаются под гегемонией Москвы, несмотря на внутренний национализм. Торжество национализма на общесоюзном уровне не только не оскорбит, но окрылит национализм республик.

Ведь главная цель коммунизма в использовании националистических тенденций будет в том, чтоб отвратить людей от чуждых наций, от Запада, от идей свободы и демократии.

Что, вкратце, проповедуют эмигрантские авторитаристы?

— Духовную изоляцию от Запада.

— Охрану народа от идей свободы и народоправия.

— Национализм.

— Авторитаризм.

— Православие.

Все это, кроме православия, по душе национал-коммунистическим силам; приняв четыре пункта, они, как Сталин, для показухи могут сделать вид, что допускают и пятый — хотя государственной идеологией останется коммунизм, усиленный националистическими предрассудками худшего свойства.

Итак, мой вывод, мой призыв — быть осторожнее, помнить, что пропагандой отсюда мы можем не только постепенно улучшить эту систему, но и ухудшить — а ухудшение может быть страшным.

Понимают ли эмигрантские пропагандисты эту опасность? Некоторые понимают. «Если установится новая, неонацистская власть, то пустит ли она в стране глубокие корни? Мне лично кажется, что не пустит...»* Вот это утешение! 60 лет твердили, что большевизм — это не надолго, не пустит корни. Теперь утешьтесь, нацизм тоже будет не надолго!

* А. Столыпин. «Посев», январь 1979.

ЧАЛИДЗЕ Валерий Николаевич — физик, активный участник правозащитного движения. В 1970 г. вместе с А. Д. Сахаровым и А. Н. Твердохлебовым основал Комитет Прав Человека. В ноябре 1972 г. выехал в США на месяц читать лекции по приглашению Джорджтаунского ун-та, в декабре того же года лишен советского гражданства. Создал в Нью-Йорке издательство «Хроника», переиздающее, в частности, московскую «Хронику текущих событий» и документы Хельсинкских групп.

Первоначальный, более краткий вариант публикуемой статьи был напечатан в газете «Новое Русское Слово» под заглавием «Хомейнизм или национал-коммунизм». Заглавие было изменено автором в процессе подготовки полного текста статьи для «Континента».

ВОЗЗВАНИЕ ИЗРАИЛЬСКОГО ПАРЛАМЕНТА (КНЕССЕТА)

от 29 января 1980 года

Кнессет Государства Израиль обращается ко всем Парламентам свободного мира с призывом объединиться, несмотря на любые политические разногласия, чтобы выразить общую солидарность с великим борцом за права человека Андреем Сахаровым.

Кнессет выражает возмущение израильского народа по поводу ссылки Андрея Сахарова.

Кнессет призывает все Парламенты мира к протесту против действий советских властей по отношению к мужественному борцу за свободу, лауреату Нобелевской Премии Мира.

Депутаты всех партий Кнессета резко осудили действия Советского Союза и призвали все страны свободного мира к бойкоту Олимпийских игр в Москве.

Эта резолюция была принята единогласно, за исключением трех депутатов компартии Израиля (Кнессет состоит из 120 депутатов).

«ПОЧЕМУ РУССКИЕ ССОРИТСЯ?»

Этот вопрос я постоянно слышу теперь на всех пресс-конференциях и публичных выступлениях. Друзья задают его с тревогой, недруги — со злорадством. Казалось бы, что тут особенного? Мы ведь не стреляем друг в друга, как немцы, не похищаем друг друга, как итальянцы. Никогда не принадлежали к единой политической организации. В парламенте или прессе любой демократической страны мира — ссор и споров гораздо больше. Что ж спрашивать с эмиграции, где ссоры традиционны? В какой эмиграции их не было? В русской они существуют много лет. Непонятно только, почему это так вдруг взволновало мировую печать.

Нетрудно заметить разницу между публичным выражением несогласия и сосредоточенной, политически рассчитанной газетной кампанией. Конечно, американцы, к которым относится теперь Чалидзе, мало интересуются делами в Европе. Поэтому он, видимо, не знает, что за последние 3 месяца его статья — шестнадцатая или семнадцатая* в мировой прессе, направленная против Солженицына (иногда заодно и против Максимова). Такой атаки он не устаивался даже в советской прессе. Статьи огромные, нередко не меньше приведенной выше. Не удивительно ли — такой повышенный интерес к вопросу, почему «поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» в эмиграции. И это в то время, когда невозможно опубликовать коротенькое письмо протеста в защиту Тани Великановой и Глеба Якунина, а сообщение Франс-Пресс из Москвы об аресте Некипелова не опубликовано практически ни одной газетой.

— Наших читателей это, знаете ли, уже не интересует. У вас всегда кого-нибудь арестовывают! — А вот вздорные, желчные излияния человека, затырканного своей не в меру бойкой женой, видимо, интересны даже высокоинтеллектуальным читателям «Мойнда» или «Франкфуртер Альгемайне». А Эткинд, который у

* Тут я имею в виду публикацию сокращенного варианта его статьи в «Новом Русском Слове» — сколько еще подобных материалов увидит свет раньше, чем выйдет полный ее, «континентский» вариант и мой ответ...

нас, как известно, диссидент *по несчастью** и всегда отличался поразительным чутьем конъюнктуры, сделал себе даже карьеру на неожиданно модной теме эмигрантских ссор (заработав звание видного представителя советской «левой оппозиции»). Целых три статьи — в Германии, Франции, Италии. И все в крупных газетах да журналах. О безграмотных статьях Карлайл в «Нью-Йорк Таймс Мэгэзин» даже и упоминать не хочется. Серьезно считать ее специалистом по России может только американский университетский мир.

Я, конечно, не политик, но определенная политическая интуиция у меня вроде бы есть. И сбывается мне, что эта бешеная атака объясняется вступлением в новый этап — так сказать, этап «вьетнамизации войны». Чалидзе совершенно прав, когда пишет, что «именно наше движение породило за последние 10 лет *международное движение* в защиту прав человека в Восточной Европе с вытекающим отсюда давлением людей на свои правительства». И далее совершенно правильный вывод: «Разумно также помнить, что есть силы, даже на Западе, которые не хотят его (движения) роста». Да, к сожалению, не только есть такие силы, но они и весьма могущественны.

Для определенной части западного истеблишмента мы со своим движением как кость в горле. Им бы договориться с советскими полубовно, «ограничить вооружения», уступить все, что требуют, — ведь все равно отберут, так лучше отдать. Словом, брось, а то уронишь. Главное же — продавать, продавать, продавать — все, что можно, от кока-колы до человеческого достоинства. Они даже теорию выдумали, что всякое освободительное движение на востоке — опасно. Дестабилизирует равновесие в мире, приводит к войне, потому что коммунисты могут отчаяться и хлопнуть напоследок дверь. Сытый коммунист лучше голодного, и т. д. Наше существование мешает им сговориться (достаточно вспомнить поправку Джексона).

Для другой части истеблишмента мы не просто кость, мы нож в горле. Для них СССР — все еще «объективный» союзник, а всякая критика его ударяет и по их идеологии. 10-15 лет назад в Париже любой, кто стал бы критиковать восточноевропейский коммунизм, не говоря уже о марксизме, был бы заклеен как фашист. Сейчас в Париже даже члены компартии о коммунизме говорить стыдятся. Можно ли себе представить, чтобы десять лет назад Раймон Арон

* Это не опечатка. «Поневоле» — все мы.

за руку с Жаном-Полем Сартром и Андре Глюксманом пошли просить французского президента о помощи вьетнамским беженцам — беженцам от коммунизма! Это невероятная комбинация для Франции*. А почему она стала возможна? «Солженицын. ГУЛАг», — вот все, что ответят тебе в Париже, имея в виду всех «диссидентов». Для них мы — одно, а Солженицын — символ этого единого явления. Так можно же себе представить, как «левый» истеблишмент его/нас ненавидит.

Да, в этом наша беда. Мы «между двух стульев», мы им здесь всем, всему истеблишменту одинаково ненавистны. Ни одна реальная политическая сила нас не поддерживает. Поддерживает же нас симпатия людей, с политикой не связанных. На них-то и нацелена теперь массивная газетная кампания.

Попытки ниспровергнуть Солженицына, а с ним вместе и фактор «диссидентов» в мировой политике — дело давнее. Впрочем, пожалуй, они начались еще до Солженицына, с уверения политиков и обозревателей, что сталинские беззакония ликвидированы Хрущевым, что жить становится лучше, жить становится веселее (я намеренно опускаю предшествующий период, когда самого существования террора не хотели признавать, а беженцев из коммунистического рая объявляли фашистами и агентами ЦРУ). Царит разгул либерализма (это в период новочеркасско-александровских расстрелов). Затем пошли заверения, что «диссиденты» — крошечная горстка людей, никого не представляющая и никакого значения не имеющая. Чуть не каждый год объявляют о конце движения, и так добрых 15 лет.

Никогда не забуду, как моему другу, корреспонденту Ассошиэйтед Пресс в Москве Дженсену его вашингтонское начальство запретило писать какие-либо статьи после нашего с ним интервью в 1970 году. Пробыть тогда какую-нибудь информацию об арестах было необычайно трудно. Журналиста, высланного из Москвы, автоматически выгоняли с работы в его стране или переводили на

* Невероятная — и для слишком многих непереносимая. Не делаясь на «левых» и «правых», мы своим примером «соблазнили» и некоторые круги западной интеллигенции. Именно на то, чтобы их снова разогнать по своим прежним политическим закуткам и вернуть прежнюю непримиримость «левых» и «правых», работает необъяснимое внимание западной прессы к «ссорам» и «расколам» среди диссидентов.

плохую работу. Не забуду я и 1971 год, когда Всемирный конгресс психиатров в Мехико, под прямым нажимом политиков, отказался обсуждать нашу документацию. Начиналась эра детанта. (Впрочем, фактически она началась, по-моему, прямо с 1917 года.)

Понадобились чрезвычайные усилия честных людей на Западе и на Востоке, чтобы наш голос, наконец, услышали. Затем принудительная эмиграция сотен правозащитников — и сразу же масса статей об их неспособности устроиться и жить в свободном мире. Дескать, что там за них в СССР переживать: несвобода — их естественное состояние.

Ну и, конечно же, Солженицын, главное бельмо на глазу. То, оказывается, он в Вермонте ГУЛАг себе устроил, отгородился колючей проволокой. То деньги от налогов скрывает. То к Пиночету в гости собирается. Главное же — реакционер, и слушать его не надо.

Целый период был, когда нас пытались поссорить, приспособить для своих нужд, делили на «плохих» диссидентов и «хороших». (Как это делает та же Карлайл.) Я как раз в это время оказался на Западе и, помню, все недоумевал, почему же в Англии меня обвиняют, что слишком «правый», а во Франции — что слишком «левый». Какой только чуши не писали, какой только политической и человеческой подлости я не увидел. В Германии я, оказывается, агент КГБ, во Франции — агент ЦРУ. Все это чуть-чуть стихло вокруг меня, как только стало известно, что иду учиться*. С глаз долой — из сердца вон. Но даже и теперь, уже в этом году, выиграл в Англии процесс о клевете. А стоит только появиться где-нибудь во время каникул — взывают, как по команде.

В Норвегии не какой-нибудь коммунистический листок — крупнейшая газета страны поместила по моему приезду большую статью и две фотографии. Под фотографией Солженицына подпись — Буковский. Под моей — Солженицын. А в тексте: «на службе реакционных сил...», «пособники крупного капитала...» и т. п. В Канаде, в Ванкувере, после моей лекции в университете — погромная статья: не сказал ничего хорошего о своей стране. Все у него плохо. В Исландии, после выступления о злоупотреблениях в советской психиатрии, — письмо в газету. Оказывается, я наглый лжец, так как, рассказывая об укрутке, сказал, что мокрая парусина, намотанная на заключенного, сжимается по мере высыхания. Автор письма всю

* С осени 1978 г. В. Буковский изучает нейрофизиологию в Кембридже. — Прим. ред.

жизнь работает с парусиной и веревками и знает, что парусина не садится. Подписано, конечно, инициалами. Думаю, что здесь, на Западе, у меня теперь, после трех лет жизни, врагов больше, чем в СССР после 34-х. И это только у меня, а что же должно твориться вокруг Солженицына!

Наконец, наступил период, когда стали «создавать» диссидентов — конечно же, таких, чье «мнение» выгодно противопоставить мнению подлинных правозащитников. Нужно остановить Картера в его кампании за права человека — срочно находят кого-то в Москве, кто заявляет корреспонденту, что позиция Картера вредна. И это сразу в печать, крупными буквами, на первую полосу. А заявление политзаключенных в поддержку политики Картера — где-то в конце, мелким шрифтом, да и то не во всякой газете. Пишет Сахаров обращение к Белградскому совещанию — на той же странице «Нью-Йорк Таймс», сразу следом, статья «тоже диссидентов» Соловьева и Клепиковой о том, что Сахаров наивный чудак, не от мира сего, изолированный от народа, генерал без армии.

Пожалуй, самой большой находкой были братаны Медведевы. Хотя сами они никогда себя к «диссидентам» не причисляли, а все больше к советникам «голубей в Политбюро», здесь они числились в лидерах «левого крыла диссидентов». Я, переезжая из страны в страну, только диву давался, до чего ж эти братаны плодovitы. Практически ни одной такой газеты, ни одного журнала нет, где бы их не напечатали. Это не считая книг и прочих мелких лекций. Куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Выдвинули Сахарова на Нобелевскую премию — Жорес Александрович уже в Норвегии, убеждает общественность, что нельзя дать премию мира создателю водородной бомбы. Разворачивается кампания в защиту арестованных хельсинцев — Жорес Александрович в парижской газете объясняет, как вреден шум на Западе для людей «там». Надвигается осуждение советской психиатрии в Гонолулу — Жорес Александрович тут как тут, заявляет в Америке, что, кроме него, ну и, пожалуй, Плюща, никого в психушку по политическим мотивам не сажали. Да всего и не перечислишь...

Ведь это же находка. Пусть-ка диссиденты удушат себя своими руками. Солженицын — «писатель-диссидент», и безызвестный Х. — «писатель-диссидент». Вроде как сбывшаяся угроза Сталина Крупской насчет «другой вдовы Ленина». Любой ишак, который сейчас вякнет против Солженицына или «Континента», сразу же найдет мировую прессу в купе с почетным званием писателя-диссидента Советского Союза.

Вот тебе и 16 статей за три месяца.

А дальше — проще. Слухи, разговоры, вопросы:

— Почему русские все время ссорятся?

Что с них взять, с диссидентов, вечно ссорятся, ни на что не способны, сами не знают, чего хотят.

И еще того хлеще, вырисовываются контуры зловещей «новой правой». Так и видишь на трибуне мавзолея Солженицына, Андропова и Орехова, принимающих парад диссидентов на Красной площади. (Андропов, конечно же, из них самый либеральный.) А из Спасских ворот, под звон московских сорока сороков, выезжает на белом коне командующий парадом Максимов в бурке и буденовке. Жуть.

Простительно Ольге Карлайл по невежеству валить в одну кучу Глазунова и Солженицына. (Не для таких ли советологов и нарисовал Глазунов Солженицына?) Другие же вполне ведают, что творят. Но социальный заказ есть социальный заказ. Даже Некрич, всю жизнь бывший искренне верующим коммунистом (но не конформистом), отчего с трудом пустили его в Америку, теперь уже слишком «правый» для американских университетов. Контракта ему не продлевают. (А литературный критик Соловьев — уже лектор политических наук.) Вот так-то, без психушек и Лубянки, а контрактами да страницами «Нью-Йорк Таймс», пуще же всего — соблазном быть принятым и уважаемым «академической, интеллектуальной средой», удается иногда то, что КГБ не под силу. Многие же усваивают эту особую «академическую» психологию вполне искренне, незаметно для себя. Все-таки надо же чему-то научиться у Запада.

Статья Чалидзе — первая статья честного человека на модную тему, и если, скажем, Янову отвечать нелепо, а с Синявскими пусть прогуливаются душеведы, то Чалидзе, бесспорно, заслуживает честного ответа.

Я не собираюсь защищать или оправдывать Солженицына — прежде всего, потому, что у меня с ним расхождений не меньше, чем с Чалидзе. Ну, а кроме того, он и сам в состоянии ответить, если захочет. Да и речь пойдет не столько о Солженицыне, сколько о наших собственных взглядах и представлениях, о Западе и Востоке, о прошлом и будущем.

С очень многим, сказанным в статье Чалидзе, я согласен. Многие могу понять как реакцию на весьма специфическую эмигрантскую прессу. Если уж американская пресса оставляет желать лучшего, то от чтения эмигрантской (особенно в Америке) и подавно

можно голову потерять. Все же остается в статье еще слишком многое, чтобы обойти ее молчанием. Очень уж сильно в ней влияние распространенных интеллигентских мифов и страхов.

Мифы начинаются почти сразу же, поскольку Чалидзе пытается судить о предмете, ему вовсе незнакомом, — о народе. Если я верно помню период нашего общения в Москве, его контакты с народом ограничивались хождением в магазин на Арбате и общими (не частыми) прогулками по городу. То есть степень общения не многим бóльшая, чем у иностранного туриста, владеющего русским языком. Да и характер у него был необщительный, о чем он и предупреждал всякого нового собеседника. Что уж он мог «слышать в народе», как он теперь изящно выражается, не знаю. Помню только однажды сказанную им фразу, сильно меня поразившую, а именно: что за одно только, пожалуй, мы должны благодарить власти — за то, что защищают нас от народа. Помнится, тогда, несмотря на мое необычайное уважение к Валерию Николаевичу, я вдруг почувствовал между нами пропасть, поскольку ни в уголовных лагерях (куда, как известно, тянут в массе своей обыкновенный народ), ни в экспедициях по Сибири и Крайнему Северу, ни в иных моих поездках — никогда я не испытывал необходимости в защите от людей, таким образом встреченных, тем более в защите властей.

Был я, не в пример Валерию Николаевичу, человеком весьма даже общительным, а потому, легко сошедшись с любым попутчиком (или сокамерником), распив с ним по стакану водки или спирта (чаю — в лагерных условиях), чувствовал себя вполне защищенным. Водка у нас — верный стимулятор задушевной беседы, и, могу заверить, самые потаенные, сокровенные мысли о нашей Советской власти будут вам тотчас же высказаны даже и без провокационного исполнения государственного гимна, как то рекомендовал бравый солдат Швейк.

Признайтесь, Валерий Николаевич, ведь Вы никогда не пили на троих с шоферюгами, не сажали картошку с бабами в Калининской области, не воровали деталей с заводского склада вместе с напарником, не пили по случаю холеры перцовку (для профилактики) со скиперами и плотогонами Печорского судоходства? Оттого Вы, верно, и не знаете, что «коммунист» у нас слово ругательное, плохое слово. За него могут и по шее дать. В лучшем же случае обидишь хорошего человека ни за что, ни про что. Не то что бы к ним была лютая ненависть, такая, как к милиции, но презрение — как к жуликам, получающим привилегии не за работу, а за красную книжечку. Это я говорю о рядовых членах партии или низовых акти-

вистах. Но уже райком вызывает ненависть — как воплощение власти. Недаром во время всех локальных бунтов, как то было в Муроме, Александрове или Нальчике, райкомы (горкомы) страдали наравне с милицейскими участками.

Никким образом нельзя сравнивать недовольство людей на Западе своим правительством и ту дремучую ненависть, которая есть в наших краях к *власти*. (У нас слово «правительство» никто и не употребит даже.)

Конечно, и дури сколько угодно, и глупости. Например, оккупацию Чехословакии, насколько о том можно судить, простые люди в большинстве одобряли (интеллигенция — хоть не всегда открыто, но осуждала).

Идея коммунизма, думаю, никогда не была воспринята толком, да так и не прижилась. За все время я встретил только одного (1), который утверждал, что верит в эту идею. То ли правда такой дурак он был, то ли выпили мы недостаточно — сказать не берусь. Зато вот деревенский дурачок Вася Гудин из Тамбовской области, который сидел с нами на экспертизе в институте Сербского в 1967 г., обвинялся по ст. 70 за то, что, приехав в г. Тамбов, «вел антисоветскую пропаганду среди пассажиров на вокзале», — так тот искренне недоумевал, в чем его вина: в деревне же все так говорят.

Что означает фраза Чалидзе «...у них нет альтернативной идеи для принципиального, политически значимого недовольства», мне непонятно. «Политически значимое недовольство» возникает не из идей, а из повседневной жизни. Недовольство из идей возникает, по-видимому, только у Чалидзе. Во всяком случае, в физиологии такое явление не описано. У других знакомых мне людей как раз наоборот: идеи возникали из недовольства. Видя какую-нибудь несуразность советского производства (или жизни), пожилой человек скажет — в старые времена так не бывало (хоть, может, и знает о том лишь по рассказам). Или: у хозяина так бы не было. Очень типичное выражение. Молодежь же чаще скажет: вот на Западе так не бывает. (И, к сожалению, ошибается.)

То, что сейчас стали больше говорить вслух, конечно, не есть признак надвигающейся революции, но и отнюдь не признак прочности власти. Так же, как скрываемое неудовольствие не таит в себе опасности взрыва (при Сталине, например). Просто стали меньше бояться. Удивительно, что этого-то самого простого объяснения Чалидзе не видит. А оно очень важно. *Уменьшение страха — самое большое наше достижение за последние 20 лет.* Его-то здесь и принимают за «либерализацию» режима.

Ненависть очень типична для нашего общества, и любопытно, что в партийной бюрократии ненависти к идеологии коммунизма можно встретить даже больше, чем в простом люде. Если бы не назойливая пропаганда, эти последние о коммунизме, может, и вообще бы не вспоминали.

Неверно, что начальство искренне критикуют за отход от идеалов. Просто есть такая рефлекторная привычка у советского человека — внутренне спорить с пропагандой, ловить ее на лжи. «Гляди-ка, партийные! — может сказать человек. — Идеиные, да? А мясо через партраспределитель получают, когда его в магазине нет». И это столь же мало означает поддержку коммунистических идеалов, как наши бесконечные ссылки на социалистическую законность не означали веры в нее.

В основном, принципиальный наш вывод совпадает. Ненависть не означает близких перемен, революций в любом случае (и слава Богу, а то с таким запасом ненависти, который накопился в стране, миллионам скрутят голову). Это вроде бы уже было доказано ранее. Так зачем же подтверждать верный тезис неверными рассуждениями на тему, которой заведомо не знаешь?

*

Рассуждения Чалидзе о тенденциях в критике Запада — пожалуй, одно из самых слабых мест его статьи. Это образчик того самого типично высоколобого американского журнализма, из-за которого я терпеть не могу американских газет. Читаешь, читаешь — и все никак не поймешь: брать зонтик, не брать зонтика? Это у американцев (в особенности так наз. «профессоров политических наук» и интеллектуалов от журналистики) считается хорошим стилем, объективностью автора, признаком таких глубоких познаний, когда все не так просто, как думает наивный, непосвященный читатель. Таким стилем можно написать все, что угодно: о засолке огурцов, о Ближнем Востоке, о климате в пустыне Гоби, о первой помощи потерпевшим кораблекрушение. Все, что должно вытекать из статьи, это:

— проблема необычайно сложна и многогранна;

— автор, глубоко эрудированный человек, знает проблему досконально и не напрасно получал стипендию от Рокфеллеровского фонда;

— автор умышленно умалчивает о своем мнении, выводе, так как не хочет его навязывать умному человеку, который и так все поймет;

— подписывайтесь на нашу газету, она создана специально для таких, как Вы.

Американцы привыкли: читают и рекомендуют знакомым во время коктейль-парти так, чтобы это слышали окружающие. Я же кусаю ногти и злюсь. Мне, к примеру, завтра огурцы солить. Так класть соль или не класть? Этот странный стиль процветает в Америке добрых сорок лет, и никто не решится возразить. Чего доброго, прослынешь недотепой, которому нужны готовые рецепты, а не первоклассная журналистика.

Но вернемся к «еще не рухнувшему Западу» (слова А. Солженицына, музыка В. Чалидзе). Сначала нам говорят, что Солженицын активизировал антизападную пропаганду. То ли из политических целей, то ли по незнанию — неясно. Затем пример незнания о деревенских свадьбах и деревенских писателях с мордобоем. Пример не по теме, так как и не о Западе и не об анти-Западе. Он о Солженицыне, который, выходит, ненавидит «демдвиж»*, т. е. своих читателей, защитников, перепечатчиков, сидевших и все еще сидящих за его произведения, да к тому же следующих его заповеди «жить не по лжи». Любит же он, оказывается, тех, кто его не читает, поносит в открытых письмах в «Литературке» и живет по лжи. Ну да ладно. Особенности любовных отношений писателя с читателями ни меня, ни Чалидзе сейчас не интересуют. Но предположение о неинформированности пока не доказано. Не в том дело. Если и звали только своих авторов (не уточняю по телефону, верю Чалидзе), то, может спросить Солженицын, зачем же печатали одних диссидентов? Почему замалчиваете «главных» представителей, ракальи? Опять интриги, опять «демдвиж»! Нет уж, Валерий Николаевич, увольте. Видите, какой нагоняй получили.

Дальше идет пример о злом политическом умысле. И опять примерчик так себе. Б. Шоу с А. Солженицыным хоть по десять дней в стране пробыли, мы же с Вами — ни дня. Чёрт их знает, что у них там в Испании было в то время. Военные трибуналы против гражданских лиц — конечно, не хорошо. Но вот у меня, можно сказать, под боком, в Северной Ирландии, тоже против гражданских лиц не суды, а полутрибуналы, полутройки, вроде ОСО. Но ведь что делать, если террористы присяжных убивают в случае обвинительного приговора? Так запугали, что только оправдательные приговоры и выносились, пока это самое ОСО не ввели. И узники совести — несколько сотен, а как же? Профилактично

Я не собираюсь, вслед за В. Чалидзе, приписывать А. Солженицыну авторство этого выражения, говорю о его употреблении в интервью Би-Би-Си.

арестованные. Ни обвинения, ни суда, потому что доказательств нет надежных, никто в свидетели не идет, одни только агентурные данные. Что же делать, отпустить? Так ведь невинное население страдает, бомбы в пивных, бомбы в машинах...

Может, предложите свое решение ирландской проблемы? Может, будете утверждать, что там самая настоящая диктатура? Нет уж, еще раз увольте, Валерий Николаевич. Не зная броду, не суйся в воду. Я же помню Вашу сакраментальную фразу в Москве, которая внушала гебешникам почти мистический ужас:

— Я еще не изучил эту проблему...

И кто же после этого поверит в Ваше легкомыслие?

*

Далее классическая американская журналистика набирает силу. На Гарвардской и Стэнфордской речах, говорят нам, ничего нельзя строить, если не рассматривать, а если рассматривать, то — можно и даже очень. Ведь это же — узнаем мы — умышленная карикатура, до боли знакомая с детства по советской прессе, чтобы те, кто ей не верил, надеялся, тем только, может, и жил, теперь вот, совсем сраженные авторитетом Солженицына, отшатнулись в ужасе. И заметьте, предупреждают нас, все это вполне сознательный обман: ведь Солженицын — не наивный политик, ему весь этот гнусный трюк нужен, чтобы бедный дезинформированный человек, потерявший мечту детства о прекрасном «Западе, его демократии, его свободе, его разврате», избрал с отчаяния нечто возвышенное, русское и, как мы догадываемся, гибельное.

Ну, не подлость ли, не злодейство ли! Так безжалостно отравить доверчивые, невинные души... в корыстных целях... при отягчающих обстоятельствах. И кто же? Автор «ГУЛага» и «Матренина двора»!.. Однако ж было сказано: если не рассматривать, то нельзя строить, а если рассматривать, то вполне.

Надо же изучить проблему.

Надо ж мне хоть Гарвардскую речь посмотреть, я же ее сроду не читал. Лихорадочно листаю, мелькают заголовки — *Расколотый мир*, *Современные миры*, *Конвергенция*. Нет, что-то не то. Дальше — *Благополучие*, все не то. *Юридическая жизнь*. Вот. Здесь, наверно, про суд Линча. «Границы прав и правоты человека (очень широкие) определяются системой законов»; «Всю жизнь проведя под коммунизмом, я скажу: ужасно то общество, в котором вовсе нет беспристрастных юридических весов. Но общество, в котором нет других весов, кроме юридических, тоже мало достойно

человека (*аплодисменты*)» (цитирую по «Вестнику РХД» № 125. За что купил, за то продаю). Опять не то. С перепугу прочел *всю* Гарвардскую речь (Стэнфордской не было). Ну, положим, спорного много. Я, например, за разврат обиделся. Почему ж нельзя, если занятно? Потом обиделся за других. Скажем, порнография. Я ее сам-то не смотрю, неинтересно, когда живой разврат есть, ну, а мальчишкам лет в 14, может быть, даже очень любопытно. Их тоже пожалеть надо. Знаю я эти штучки. Потом пить, скажут, нельзя, потом курить, да и ругаться. Особенно расстроился из-за фильмов ужаса. Я их все посмотрел, какие были. Полянского так даже по нескольку раз. Значит, нельзя? Обидно. Да и сложно. Мне бы списочек такой наперед — что от Бога, что от беса.

Однако же, Валерий Николаевич, шутки в сторону. Где же обещанные, до слез знакомые с детства карикатуры? Где контрасты, безработные, поджигатели войны и дядя Сэм? Так же нельзя шутить, Валерий Николаевич. Может, Вы все-таки построили, не рассмотрев?

*

На следующей строчке я невольно вздрогнул. *«Другая тенденция, также чтоб отвлечь русских слушателей от Запада, — обвинение западных держав»*. Я вот... ну, словом, тоже бывает. Поругиваю, значит. Да ведь, не обессудьте, Валерий Николаевич, ну как их, каналов, не пожурить иногда. Ведь всех продадут, всех как есть. Я ж как лучше стараюсь, но вовсе не чтоб от Запада отворотить.

С другой стороны, как же «разрядка» с доктором Киссинджером или вот Белградская встреча? Мы же с Вами оба были из Москвы назначены разъяснять значение и цели Хельсинкского движения. Ребята там документы собирали, посылали *всем* европейским правительствам. Мы, значит, им тут разъясняли как положено. И вот в Белграде — ни звука. Какое-то скомканное коммюнике даже без упоминания прав человека. Ребята ж там сидят, на нас надеются. А здесь державы решили — «не требовать *слишком много* в Белграде» — и *ничего* не потребовали. Так можно я их хоть за это ругну, все 35? Я тихонько, так чтоб ТАМ не услышали, а то еще разочаруются в Западе, в демократии да и в разврате тоже.

Ну, а если не весь Запад, то хоть частями. Ведь Вы войдите и в мое положение. У Вас там все солидно — один Белый Дом, один Капитолий. У меня же здесь — две дюжины, и все — в разные стороны. Немцы всё на карачки норовят встать, как у нас в биологии выражаются — «в позу подставления». Французы, те что, те

великая нация. Всегда сами по себе, как кошка у Киплинга, но как-то все больше с СССР. За мелкими я уже и не угляжу, сил нет. Ну, хоть Финляндию можно, Валерий Николаевич?

Ведь это до чего ж дошло: с одной стороны — Солженицын. Не ругай, говорит, Россию. Они ж свои, перед чужими неловко. С другой стороны — Чалидзе. Не ругай Запад, они чужие, да и своих напугаешь. Что ж мне, старому зеку, уж и выругаться нельзя теперь? И подумать только, сидел я в своем Владимире всего три года назад, спокойно так, ничего не боялся, ругал кого хотел. И как ругал!! Нет, добрались, обменяли.

Но вот, чуть ниже, вроде полегчало, пронесло нас с Солженицыным: оказывается, «моральная правота» есть, когда из лагерей глядишь. Вот беженцев выдали — вроде бы и мы вправе возмущаться. Я так понимаю, что ежели с «моральной правотой»... Тут и лагеря упомянуты. Вроде бы : примирились.

Нет, опять не туда. В следующем же абзаце выходит, что одна «моральная правота» у россиянина, другая — у всех прочих (цивилизованных). Значит, по российской морали отдать 2 млн. сопротивляющихся людей на смерть — преступно. По нероссийской — в зависимости от того, могли ли, должны ли были не отдавать. Это, значит, только русские в лагерях *воспринимали* как предательство: и выдачу беженцев на удобрение ГУЛагу, и лицемерные похвалы зверскому режиму, и глухоту к честным свидетельствам о страданиях людей». Ну, знаете, Валерий Николаевич, не слишком ли?

Да ведь это и не русские совсем, а сначала американец Юлиус Эпштейн, потом англичанин лорд Бетелл — западная «моральная правота» изобличила предательство. То есть как это «должны ли были» не отдавать? Согласно документам, Сталин и *не требовал* выдачи. Сами отдали, на всякий случай. Что значит «могли ли»? Вот князь Лихтенштейна отказался выдать тех несчастных, что у него на его крошечной беззащитной земле оказались, — и *не выдал*. Да мы о «моральной правоте» говорим с Вами или нацистских преступников защищаем, которых судили за исполнение преступных приказов?

Мы ведь не помощь «антикоммунистическим силам» в СССР выпрашиваем, а возмущаемся как раз вот этими двойными стандартами, двойной «моральной правотой». Зачем же кивать на американских либералов как на спасителей? Они ведь говорят об ответственности Америки в мире только в связи с Чили или Вьетнамом (не теперешним, конечно). Они не задают себе вопроса — «можем ли», «должны ли», а, спекулируя на комплексе вины амери-

канцев, стремятся распространить свое слабодушие по миру. Ну, объясните им, пожалуйста, что можно и не радеть о Южной Африке, что «они ждали, им не помогли» и что все упреки морально справедливы только с точки зрения южноафриканских стандартов. Куда там! Вот скоро один из этих либералов, может быть, будет Вашим президентом. Хлебнете тогда горяшка.

Напор коммунистического влияния в мире — разве это исключительная забота русских? Вот вроде бы Вы согласны, что и Вас это заботит, но, оказывается, такая забота не плюралистична. Почему? Почему *Единство* (а не Унификация!) свободного мира означало бы утрату многих ценностей западной цивилизации? Ведь было же такое Единение перед лицом фашистской коалиции.

Далее классический американский журнализм достигает в статье таких высот, что я уже не могу связать его с темой. Совершенно непонятно, чем антивоенная истерия лучше героической. Причем тут история американского изоляционизма, если он кончился с Пирл-Харбором? Зачем нам история концепции невмешательства во внутренние дела, если после Хельсинкского соглашения и Пактов о правах эта концепция неприменима к проблеме прав человека?

Тема сама собой исчезает, и остается только два вопроса, а вернее — одно убеждение и одно впечатление: а) что армии должны быть наемными; б) что бессмысленности сталинских репрессий 30-х годов иностранцы понять не могли (и это после Кестлера и многих его предшественников!).

У читателя же остается одно впечатление — вот это здорово! Будет о чем поговорить на коктейль-парти. Только неясно все-таки: брать зонтик, не брать зонтика?..

Как пишет Чалидзе — «ответ не тривиален».

*

Бесспорно, всякие предсказания скорой революции в СССР нелепы, а пропаганда ее — преступна, как и пропаганда террора. Только сентиментальные писатели могут утверждать, что революции происходят от нищеты и несправедливости народа — в момент, когда народ доведен до крайности. До конца никто не знает, отчего они происходят, но при нужде и голоде человек больше склонен к воровству, к индивидуальному бунту или к тупой покорности. При несправедливости же человек о своем праве не ведает, да и слишком унижен, чтобы какого-то права требовать. Умелое правительство всегда может легко подкупить наиболее даровитых и энергичных среди этой массы разобщенных, озлобленных людей. Короче говоря, все

это ведет к застою и гниению, как мы и видим в СССР. Я не знаю ни одного примера революции, случившейся в разгар сильной диктатуры. В этом состоянии, даже если бы какая-то сказочная внешняя сила устранила существующую структуру управления, то произошла бы полная катастрофа, анархия и взаимоистребление.

Революции чаще всего случаются, когда настоящие нищета и бесправие давно позади, но накопленная злоба и недоверие к власти делает всякую реформу ненавистной, недостаточной. В этом положении нерешительное или неумелое правительство — гарантия революции.

Ждать от революции справедливости и свободы — поразительная наивность. Всякое общественное потрясение поднимает со дна общества самую муть, и — «кто был ничем, тот станет всем». В революцию выдвигаются самые жестокие, подлые, кровожадные люди с сильными деспотическими характерами. Разбойничьи атаманы. После упорной междоусобицы наиболее жестокий и хитрый среди них сосредоточивает в своих руках всю власть. То есть революции всегда кончаются тиранией, а не свободой и справедливостью.

Может ли все это произойти в СССР? К сожалению, может, но вряд ли скоро. Пока что существующая там власть (хоть и не умная, и теряющая свою решительность год от года) все же достаточно крепка, чтобы отказаться от любых реформ. Даже куцые косыгинские реформы не прошли в том виде, как первоначально предлагались. И в этом есть своя логика. Власти понимают, что нынешний неповоротливый бюрократический аппарат не сможет справиться с напором стихии, вызванной значительными реформами. Нет уже тех лихих мальчиков с маузерами, умевших играть со стихией. Сегодняшний коммунистический режим в СССР, пожалуй, самый консервативный в мире. Даже Хрущев оказался слишком революционным. Никаких же значительных общественных сил, независимых от власти и способных заставить власть пойти на реформы, у нас пока что не сформировалось.

Период их формирования может быть сколь угодно долгим, в зависимости от поведения правительства, международной ситуации и проч. и проч. При нынешнем положении экономические трудности не заставят власть провести значительные реформы. Таким образом, как это ни печально, но скорых улучшений ждать нельзя, не говоря уже о радикальных переменах. Можно ожидать лишь медленного роста независимых общественных сил на фоне общего застоя и разложения. Пока что проявились лишь контуры этих

растущих общественных сил: национальные движения, религиозные движения, гражданско-правовое (интеллигентское по преимуществу) движение и зачатки рабочего движения.

Нынешний повышенный интерес к 1917 году, а вместе с ним и к «будущей революции» во многом вызван Солженицыным, его историческими изысканиями. Пока что мы не имели возможности прочесть все 6 томов «Красного колеса», но некоторое упрощенное представление о его концепции получили из «Августа 14-го», «Ленина в Цюрихе», «Письма вождям» и интервью Би-Би-Си. Эти-то впечатления и вызвали теперь бурю полемики, негодования и обвинений в коварных политических замыслах.

Мне кажется, основная ошибка критиков Солженицына происходит из убеждения, что Солженицын — политик. И оттого так странно звучит статья Чалидзе, что на литературно-публицистические высказывания Солженицына Чалидзе пытается отвечать как на политические декларации.

Быть может, со мной не согласятся многие, включая самого Солженицына, но я не могу считать его политиком. Писатель, публицист — да. Историк — может быть (я судить не компетентен). Но не политик.

Мне возразят, что его деятельность имеет политический резонанс, касается вопросов политики. Очень может быть, но это его политиком не делает. Так же, впрочем, как это не делает политическим правозащитное движение.

В самом деле, человек, в зените своего влияния удалившийся писать много томный исторический роман, — политик? Человек, вся общественная деятельность которого сводится к помощи политзаключенным, — политик?

Его самый «политический» труд — «Письмо вождям» — поражает своей наивной, вполне писательской верой в силу слова. Только-то и нужно, оказывается, что потолковать с Брежневым и Косыгиным обстоятельно, объяснить им истинные национальные интересы, призвать к покаянию, и те, вспомнив русских матерей да родные просторы, бухнутся в ноги, порвут свои партбилеты, освободят женщину от каторги, и воцарится на Руси единение душ.

Другой пример, недавний, еще разительнее. Первая и вторая эмиграции имели свою *миссию*, говорит Солженицын в своем интервью Би-Би-Си, — а вот третья — не имеет. Миссия эта, оказывается, состояла в том, чтобы засвидетельствовать преступления коммунистов. В чем же разница? Третья-то тоже бежит из СССР, не обратно. Разница, видимо, в том, что первую и вторую — с мис-

сией — никто не слушал, а третью — без миссии — слушают. И еще — первая и вторая отступили с оружием (и поэтому молодцы), а третья — без оружия убежала (бяки). (Так ведь им оружия дать не догадались!) Первая и вторая спасались от ЧК, ну а третьей надоели, видимо, черная икра и тульские пряники.

Любой человек, мыслящий политически, понимает, насколько возможность эмиграции облегчила жизнь в СССР. Какое это огромное *наше* завоевание! Ведь нельзя же ждать от народа, чтобы он и теперь, дружно, миллионами, кидался на чекистские амбразуры. До тех пор, пока единственной наградой за сопротивление властям была тюрьма, только горстка людей на то осмеливалась. Теперь же появились шансы, что вышлют в Вену или в Цюрих. Конечно же, при таком виде наказания от желающих нет отбоя. В такой ситуации — где теперь все усилия властей воспитать ненависть к капитализму, к врагам, к Западу? Попытки изолировать, оболванить? И поскольку выпускают обычно самых беспокойных, протестующих, то их число растет.

Но Солженицыну и дела нет. Не любит он третью эмиграцию, нет у нее миссии — и всё тут. Опять скажете — политик?

Но вернемся к его исторической концепции. Как-то, во время одной из наших бесед в 1977 г., когда я недоумевал, почему он так редко выступает, не реагирует на текущие события, он ответил, что это было бы ему очень трудно, так как психологически он живет в конце XIX—начале XX вв. Этот ответ объясняет мне многое. Писателю свойственно настолько вживаться в проблемы своих героев, в их беды и муки, что они как бы становятся для него важнее реальной жизни. Нетрудно понять, что со своей обычной внутренней опаленностью, сотни раз пережив со своими героями трагедию 1917 года, он бессознательно переносит ее в сегодняшний день. Какими же близорукими, идиотскими должны звучать речи всех этих меньшевиков, эсеров и даже кадетов на фоне нашего знания последующих событий! Да и кого из нас не бесила та благодушная слепота, с которой русское общество приветствовало революцию, тот энтузиазм, с которым все бросились в пропасть. Синявский так, кажется, и Чехова готов был оттрепать за чахоточную бороденку. Мы, сидя во Владимире, как-то достали в библиотеке воспоминания Крупской о Шущенской ссылке Ильича. А там — и барашек один в неделю, и молока вволю, и еще деньги (ссылному!) — и всё дозволено. Ну, скотина ненасытная! Попадись нам Ильич о ту пору — живьем бы сожрали. Конечно же, досталось и царскому режиму — за мягкость.

Вот в таком-то настроении пребывая уже несколько лет да растравляя себе душу чтением разных возмутительных исторических источников, приходит Солженицын к выводу, что все зло — от либералов. Что ж, можно его понять. И то сказать, даже Керенский, кажется, в 1957 году, в интервью Би-Би-Си, на вопрос, с чем бы он сейчас боролся, повторись история, ответил: «С керенщиной!».

Если б знать, где упасть... Но хоть в будущем, в будущем-то не повторить той же роковой ошибки. А что такое будущее? Может, это уже завтра или в пятницу на той неделе? И ждать нечего. Отсюда фраза в интервью Би-Би-Си, что «опыт февраля, его осознание — это и есть самое нужное сейчас нашему народу».

В одну из бесед в том же 1977-м спросил меня Солженицын осторожно, согласен ли я, что прямо вот так, от тоталитарного режима, перейти сразу к демократии невозможно. Нужен какой-то подготовительный, переходный период. Разумеется, я был согласен, и мы дипломатически не стали вдаваться в детали, развивать эту тему. Для меня этот переходный период означал борьбу общественных сил в стране за свою самостоятельность, борьбу, в результате которой тоталитаризма все меньше, а демократии все больше, до той поры, когда и революции уже не надо. То есть этот переходный период, с моей точки зрения, уже начался. Для него он все еще зиял впереди черным провалом. И где же тогда взять мудрого автократа, чтоб сдерживать стихию? Разве что в православии... А значит, уже сейчас нужно постараться ослабить тенденции либеральные и усилить православие.

Удивительная это, конечно, мысль, что свободе и демократии нужно людей обучать, как тригонометрии. В основе ее нечто вроде порочного круга: сразу к свободе перейти нельзя, не обучены, а как же обучать в условиях несвободы? Религия тут — плохой помощник. Христианство существует почти две тысячи лет, однако не убергло нас ни от коммунизма, ни от фашизма. Тем более не спасет коррумпированная, подконтрольная православная церковь. Уж если и учиться демократии, то только в процессе борьбы за свои права (разумеется, ненасильственной). В этом смысле роль солженицынского автократа исполняет сейчас советская власть. Вот и вся сущность спора.

Казалось бы, зачем горячиться, почему для Солженицына именно сейчас враг № 1 — либералы, а для других враг № 1 — Солженицын, точно уже нет советской власти?

Представим себе на минуту, что весь наш спор происходит в Москве, на чьей-нибудь кухне. Кому бы пришлось в голову обвинять

оппонента в коварных политических замыслах, в стремлении к диктатуре и т. п.?

Но уж так устроена эмиграция, такова в ней болезненная переоценка собственного значения, страсть к политиканству, к групповщине и партийности, что любое высказанное предположение или сомнение сейчас же истолковывается как «попытка с целью захвата власти». По мере удаления от государственных границ СССР как-то само собой теряется чувство реальности и эмиграция начинает ощущать себя неким вторым, альтернативным правительством. Всякий спор, ссора воспринимаются как правительственный кризис, а всякий громко и веско говорящий человек — как претендент на пост премьер-министра, а то и узурпатор.

Одна эмигрантская монархическая газетка по наивности выразила это общее чувство предельно ясно: «Как только коммунисты осознают свою неспособность управлять страной, они сами пригласят законного Наследника на престол». Сцена поисков членами политбюро законного наследника по всей Европе вызывает лишь улыбки. Но посудите сами, разве более почтенные эмигранты выражаются лучше?..

«Если мне завтра предложат выбирать между советской властью и властью Солженицына, — заявляет уважаемый профессор логики А. Зиновьев, — я предпочту первую». Ну вот, наконец-то человек поучаствовал в первых в своей жизни свободных выборах! Отдал свой голос за блок коммунистов и беспартийных.

Не избежал этой иллюзии и Чалидзе. Простительно писателям верить в мистическую силу слова. Непростительно Чалидзе верить, что словесные заклинания могут заставить советскую власть трансформироваться из коммунистического государства в националистическое. Прочитав с десятков дремучих авторов эмигрантских листочков, да таких, которых уже и «Правда» стыдится цитировать, он вдруг делает вывод, что весь этот вздор может оказать «политическое влияние» — «усилить в советском руководстве те группы, которые хотят национал-коммунизма». Вот те на! Смеялись, смеялись над незадачливыми советологами, над их поисками «голубей» и «ястребов» в политбюро, а сами не лучше. Да советологи хоть прямо указывают, кто есть кто. Чалидзе же просто сообщает: «в компартии, в генералитете, в КГБ». Хоть бы список приложил, чтоб знать и остерегаться. Главное же, вот ведь как влиятельна эмиграция и ее листочки. Мы тут совсем Орехова не читаем, не ценим, пренебрегаем по скудоумию, а он, оказывается, имеет

влияние на политбюро! То-то я все удивляюсь, отчего это советское руководство такое глупое?

«Итак, мой вывод, мой призыв — быть осторожнее, помнить, что пропагандой отсюда мы можем не только постепенно улучшить эту систему, но и ухудшить — а ухудшение может быть страшным». Практически каждое слово этого основного вывода Чалидзе вызывает у меня возражения.

Во-первых, никакой пропагандой мы здесь не занимаемся. Наша обязанность — обеспечить гласность стране, ее лишенной, дать обрести голос тем, кому зажали рот. Есть масса людей здесь (и Солженицын среди них), которые, кроме того, высказывают свое мнение. Это — пропаганда?

Во-вторых, влияние высказанных здесь мнений на жизнь в СССР практически нулевое (влияние гласности хоть и не огромно, но весьма значимо). Люди там не глупей нас, живущих здесь. Да наши эмигрантские споры вызывают у них скорее досаду, чем интерес. То есть все то, что Чалидзе именует пропагандой, ни ухудшить, ни улучшить ситуации там не может. Наивно полагать, что внутренние, весьма жесткие законы эволюции советского общества можно изменить эмигрантской болтовней.

Неужто так трудно понять, что коммунистическая идеология существует у нас не в виде идеи, а в виде особой структуры общества, структуры весьма жесткой. Откуда этот миф о советской гибкости? Разве что из внешнеполитических успехов? Так тут ни ума, ни гибкости не надо, если Запад сам себя на лопатки кладет.

Из всех пяти пунктов «программы национал-коммунистов», доверительно сообщенной нам Чалидзе, я не нашел ни одного, который не был бы уже выполнен советской властью настолько, насколько их возможно выполнить. Что еще могут сделать власти, чтобы усилить «духовную изоляцию от Запада» или «охрану народа от идей свободы и народоправия»? Туристов не пускать? — валюта нужна. Радио глушить — дорого, да и бессмысленно. Не участвовать в международных форумах, мероприятиях, организациях? Уйти из ООН? Вот мы все огорчимся!

Ну, а национализм? Только и остается им всем в ЦК косоворотки надеть да еврейский погром (в Госплане) устроить. Все остальное есть. Даже и православие давно используется в дипломатических, шпионских и пропагандистских целях.

И отчего это Вы, Валерий Николаевич, вдруг так испугались, в такую панику ударились, не пойму. Родную страну забыли, что ли?

Несмотря на то, что права человека стали в последние годы модной темой, именно правозащитный аспект нашей деятельности остался наиболее трудно понимаемым. На каждом своем выступлении я с тоской жду вопроса, неизбежного, как тошнота при морской болезни:

— Скажите, а когда же ваше движение наконец откажется от ссылок на советские законы и перейдет к открытым действиям?

Нет никаких способов объяснить определенного типа людям, что правозащитный характер движения — не мимикрия, не тактика, а так же, как отказ от насилия и подполья, принципиальная наша позиция. Разумеется, для тех, у кого цель — правовое государство.

Каждый человек, испытавший произвол, согласится, что *любой* закон лучше беззакония. В худшем варианте очень плохого закона он, по крайней мере, гарантирует вам подчинение закону, обязательному для всех сторон, а не человеку и его прихоти. Даже это хоть как-то охраняет ваше достоинство.

Путь от полного произвола революции к правовому государству лежит через плохие, компромиссные, даже дискриминационные законы. Вам прежде всего нужно заставить вашего противника принять бой на выгодной вам правовой территории. В ситуации абсолютного произвола (если такой возможен) — все, что вы делаете, оборачивается против вас. Насилие плодит насилие, попытка обороняться произволом против произвола лишь увеличивает произвол.

Как только есть хотя бы какой-то закон, регулирующий ваши отношения с другими людьми и с властью, у вас появляется шанс. Во-первых, законы имеют тенденцию совершенствоваться в силу того, что система законов должна быть непротиворечива, в силу того, что меняется ситуация, и в силу вашей собственной деятельности.

Многих людей раздражает это «качание прав», кажется бессмысленной тратой сил. Даже если положительный результат возможен, достижения его медленны. Что ж —

Нам не надо скорой помощи,
Нам бы медленную помощь.

По крайней мере, не будете чувствовать себя виноватыми в произволе ни прямо, ни косвенно.

В вопросах понимания права у нас с Чалидзе не может быть много расхождений. Все же в его статье я нашел пункт, нуждающийся в обсуждении.

Безусловно, правовая область — не стихия Солженицына. Соответственно, юридические термины он может употреблять совсем не так, как это принято. Зачем же сразу видеть за этим злой умысел, заговор, далеко идущие политические планы? Уверены ли Вы, Валерий Николаевич, что он правильно употребляет слово «обязанности»? Не путает ли он его со словом «ответственность»? По существу, его мысль, высказанная в Гарвардской речи, сводится к тому, что преступники безнаказанно терроризируют общество. При чем тут обязанности? У преступника нет обязанности быть наказанным.

«Широта юридических рамок (особенно американских) поощряет не только свободу личности, но и некоторые преступления ее, дает преступнику оставаться безнаказанным или получать незаслуженное снисхождение — при поддержке тысячи общественных защитников. Если где власти берутся строго искоренять терроризм, то общественность тут же обвиняет их, что они нарушают права бандитов» (цит. по «Вестнику РХД» № 125).

Для меня очевидно из приведенного, что он имеет в виду проблему соотношения прав и ответственности за правонарушения (т. е. гарантию права).

Избавившись от терминологической путаницы, станет ли кто оспаривать, что есть такая диспропорция в западной жизни? И не нужно, как делает Чалидзе, отсылать эту проблему к властям предержавшим, коль скоро дело властей — следить за исполнением законов. Мы же знаем, что в демократическом государстве власть — более или менее функция от общественных настроений. Общественные же настроения здесь таковы, что для значительной части общества террорист — романтический герой. Метод взятия заложников стал вполне респектабельным. В Англии, например, прошлой зимой профсоюзы держали детей заложниками в больницах, вымогая деньги. Напоминать людям об ответственности или хотя бы взывать к их чувству ответственности, как делает Солженицын, вовсе не вредно.

Наши американские друзья не живут в социалистической Европе, и им трудно понять, что здесь постепенно узаконивается все то, что «в интересах трудящихся» (т. е. их лидеров).

Оставив в стороне Солженицына, скажу, что и меня эта проблема живо интересует. Ведь вот представьте себе, я, например, никак

успокоиться не могу, что красные кхмеры, убившие 3 миллиона человек, уже как бы осуждены общественным мнением — их же учителя, профессора французских университетов, все так же респектабельны, благополучны, лощены и даже совесть их не мучает. Для них это мода, поза новатора, хорошее положение в обществе. Для кхмеров, вьетнамцев, эфиопов и Бог знает еще кого — это потоки крови, катастрофа. И добро бы это было в новинку, но ведь уж десятки стран прошли тот же путь. Неужто нельзя этому предел положить?! Правильно сказал Сахаров о политиках, идущих следом за идеологами. Это почти закон. Нравственно эти профессора — соучастники преступления. Но ведь то нравственно, не юридически...

Неужто мы так беззащитны, бессильны? Ведь вот даже с невинным табаком нашли способ бороться. Заставляют производителей печатать предупреждения о *возможном* вреде на каждой пачке. Почему же нельзя заставить законодательно печатать на каждой марксистской книге, что изложенная в ней теория привела на практике к гибели десятков миллионов людей за последние 60 лет?

Я, помню, встретил в лагере человека, осужденного за соучастие в массовых убийствах евреев во время II мировой войны. Он ужасно возмущался и виновным себя не считал:

— Моя работа была только открывать дверку в газовую камеру. Закрывать ее должен был другой.

Я не могу отделаться от мысли, что все эти профессора-марксисты, так же, как и прочие безответственные люди, чувствуют себя столь же невиновно, как и этот человек. Они ведь тоже только открыли дверку...

И напрасно опять касаться вопроса о том, кто же виновен больше — марксизм или «русская жестокость». Старый, шовинистический аргумент, широко используемый сейчас еврокоммунистами. Что же мне Вам, Валерий Николаевич, как еврокоммунистам, приводить примеры Кубы, Югославии и двух Германий? Мы с Вами занимаемся естественными науками и знаем, что единственный способ выявить определяющий фактор в явлении с многими составляющими — это поставить эксперимент, где все другие факторы исключены. К счастью для спорщиков, к несчастью для многих миллионов людей, коммунистический эксперимент был «поставлен» историей чисто. Ну, что еще общего между всей этой массой абсолютно различных по культуре, истории, языку, религии и т. д. стран, кроме марксистской идеологии? Какая же еще нужна «теоретическая дискуссия»? С бродячим призраком?

Если и узнал я что-то новое за последние три года, так это только, что люди везде одинаковы. Открытие мое оптимистично — поскольку дает надежду, что ТАМ будет когда-нибудь так, как ЗДЕСЬ. Но оно же и пессимистично — ведь ЗДЕСЬ тоже может случиться, как ТАМ.

*

Нет смысла разбирать всю статью по пунктам.

Но есть еще один упрек, который я приберег на конец, упрек как Чалидзе, так и Солженицыну.

Категоричность, с которой Чалидзе утверждает, что «нет религиозного возрождения», настораживает. Так же настораживает утверждение Солженицына, что религиозное возрождение — *единственная* сила, способная противостоять нынешнему режиму в СССР («Персидский трюк»). Оба эти утверждения не просто практически неверны, они опасны. Упорство, с которым оба эти автора вбивают клин между религиозным движением и остальным движением за права человека, меня пугает. Это на советскую власть повлиять трудно — поссорить же людей, посеять вражду очень даже легко.

Очевидно, что основная заслуга правозащитного движения состоит в выработке позиции, методики. Эту методику усвоили как национальные движения или начинающееся движение рабочих, так и религиозное движение. Ведь и Вы, Александр Исаевич, не гнушались прибегать к приемам правовой защиты. Да и чем, собственно, занимается религиозное движение, как не защитой прав верующих? Даже власти начинают усваивать правовой подход. Медленно, но усваивают. Внутри страны и религиозное движение, и все остальные независимые движения работают вместе (сознательно или бессознательно), помогая друг другу. Тому много примеров. Зачем же стремиться расколоть эти движения?

В дни, когда арестованы Якунин и Регельсон, Великанова и Непкелов, Горбаль и Терляцкас, боровшиеся за единую и неделимую свободу человеческой мысли, не стыдно ли нам из своего безопасного далека осыпать друг друга обвинениями, занимать нашими дрязгами газетные полосы к радости врагов и спорить с ученым видом, какое же из движений главней, чья команда выиграет, будто бодельщики на футбольном матче.

Есть у нас — не миссия, конечно, — но *ответственность* за происходящее, но *обязанность* (моральная) сделать все даже невозможное, чтобы хоть наши внуки смогли выбрать то, во что верят. И нет у нас *права* о том забывать.

В редакцию журнала «Континент»

Открытое письмо

Несколько недель назад Александр Гинзбург в телефонном разговоре со своей женой просил меня высказать мое мнение в статье В. Чалидзе «Хомейнизм и национал-коммунизм». Не имея текста статьи, я не мог тогда выполнить этой просьбы. Мой друг в одном из московских домов просил дать ему статью, чтобы ознакомить меня, но получил отказ; ему удалось, однако, записать текст статьи на пленку. Ознакомившись вчера со статьей в магнитозаписи, я пришел к выводу, что у меня нет возражений к опубликованию статьи, наоборот, ее опубликование представляется мне целесообразным. Статья написана в стиле серьезной и хорошо аргументированной полемики и посвящена вопросам, представляющим несомненный интерес для читателей журнала. В статье содержится обсуждение некоторых взглядов А. И. Солженицына, высказанных в его «Гарвардской речи», в «Письме к вождям» и в других публицистических выступлениях, а также в выступлениях его сторонников. Это такие вопросы, как оценка значения демократии и автократии, понятие прав человека, национализм, политизация религии, соотношение понятий свободы и обязанностей перед обществом, оценка положения в СССР — отношение людей к коммунизму, к религии и т. п., значение свободы эмиграции, обсуждение значения Февральской революции, осуждение Солженицыным позиции Запада в кардинальных вопросах современности и западного образа жизни.

Я отношусь с величайшим уважением к А. И. Солженицыну, к его роли в раскрытии перед всем миром преступлений строя, к его литературному таланту, к его прямоте и непримиримости к злу. Но я уже имел возможность в 1974 году высказать свое несогласие с его оценками по ряду важнейших вопросов. В статье В. Чалидзе, также относящегося к Солженицыну с большим пиететом, я вижу талантливую дискуссию, которая кажется мне очень важной для всех, озабоченных принципиальными вопросами общественной жизни. Мне хотелось бы, чтобы журнал был достаточно широким и печатал дискуссионные статьи, не всегда совпадающие со взглядами всех членов редколлегии, — это важно для поднятия авторитета журнала.

Я пользуюсь случаем, чтобы информировать редакцию о крайне неудовлетворительном положении в деле моей связи с Западом. Я почти не получаю издающейся за рубежом на русском языке журнальной и газетной периодики (и литературы), не только таких изданий, как «Русская мысль», «Новое русское слово», «Вестник РХД», другие журналы, издающиеся в Европе и Израиле, но и журнала «Континент» и тем более тех его материалов, которые обсуждаются редакцией до публикации, — а ведь я числюсь членом редколлегии, и это ставит меня в ложное положение. Я был бы очень благодарен, если бы были приняты меры, хотя бы равнявшие мое положение с другими москвичами.

С уважением и наилучшими пожеланиями

18 января 1980 года

Андрей Сахаров

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы полагаем, В. Чалидзе может подтвердить, что против публикации его статьи в редакции с самого начала не возникало никаких возражений. Что же касается регулярной доставки журнала внутрь страны, то, к сожалению, в силу специфических условий нашей связи с метрополией, это не всегда зависит от усилий редакции.

НАЦИОНАЛИЗМ И КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ

В последние годы в международной и русской зарубежной печати развернулась дискуссия о национал-большевистских тенденциях в коммунистических странах и, главным образом, в Советском Союзе.

Определенные и весьма влиятельные круги этого тоталитарного «содружества» пытаются использовать возникающие естественные процессы национального и культурного возрождения своих народов в сугубо корыстных политических целях.

В связи с этим редакция журнала «Континент» считает необходимым заявить, что, поддерживая и приветствуя национальные движения в нашем обществе, и русское в том числе, как явление, способствующее духовному освобождению от неоимпериализма и политического порабощения, она принципиально отвергает большевизм любого типа, как интернационального, так и национального.

Осуждая шовинизм в любых национальных проявлениях, мы ответственно сознаём, что великодержавная его форма может сделаться в наше время наиболее опасной для человечества, ибо она обрела сегодня смертоносную материальную и военную силу, которая ставит под угрозу существование демократической цивилизации в целом.

Об этой опасности красноречиво свидетельствует состоявшаяся в мае минувшего года в Ташкенте Всесоюзная научно-теоретическая конференция на тему «Русский язык — язык дружбы и сотрудничества народов СССР», которую нельзя расценивать иначе, как попытку политической эксплуатации языка одного народа в целях порабощения всех других национальностей в Советском Союзе.

События самого последнего времени, от вторжения советских войск в Афганистан до разгула репрессий против правозащитного движения в России и Восточной Европе, могут и должны послужить сигналом для объединения всех национальных и демократических сил в борьбе против диктатуры и тоталитаризма во всем мире.

Если все силы Свободы найдут в себе волю к объединению, мировой тоталитаризм будет побежден раз и навсегда.

«Континент»

Кшиштоф За в р а т

«БАРЫШНИ ИЗ ВИЛЬКО» И ХУДОЖНИКИ ИЗ ВАРШАВЫ

1

Последний фильм Анджея Вайды — «Барышни из Вилько» — наводит на ряд раздумий. В основу фильма положен известный рассказ выдающегося польского писателя Ярослава Ивашкевича; рассказ этот — один из несомненных шедевров польской литературы XX века. К вершинам польского кинематографа принадлежит и фильм.

Это все очевидно. Дело, однако, в том, что, во-первых, фильм отнюдь не является всего лишь экранизацией знаменитого произведения Ивашкевича; во-вторых же, возникший в атмосфере весьма специфической, фильм этот стал своего рода узловым моментом идущей сегодня в Польше дискуссии о культуре.

Я не ставлю своей целью рецензировать фильм. Скорее, я хотел бы воспользоваться им как предлогом для того, чтобы поставить ряд проблемных вопросов. В связи с этим позволю себе обратиться к некоторым моментам послевоенной Польши, к творчеству самого Вайды и к позиции Ивашкевича. Хотелось бы, однако, избежать однозначных ответов: вопросы, возникающие в связи с фильмом, представляются мне намного важнее, чем изложение собственного мнения, — тем более, что возникли они не у меня одного. К вопросам этим мы неизбежно возвращались в беседах с друзьями — и в стране, и за рубежом. Ответить на эти вопросы означало бы определить судьбы нашей культуры, находящейся в путях тоталитарной системы, драматически вынужденной все время делать тот или иной политический выбор.

Статья автора, живущего в Польше и выступающего у нас под псевдонимом, написана по заказу «Континента». — Р е д .

Коротко излагая рассказ Ивашкевича, следует подчеркнуть, что произведение это совершенно аполитично, сложно, многогранно и трогает самые глубины нашей души. Речь идет о любви и смерти — темы эти, столь же универсальные, сколь и трудные для литературного изображения, представляют один из наиболее верных критериев одаренности художника. Особо подчеркиваю этот момент с тем, чтобы предупредить читателя о том, что мое изложение будет всего лишь пересказом фабулы, не способной передать всю значимость этого произведения.

Так вот. В небольшую усадьбу в Вилько приезжает мужчина, некогда помогавший ее владельцам в управлении хозяйством. За пятнадцать лет его отсутствия в усадьбе ничего не изменилось, кроме того, что сестры, которые были в то время девочками, превратились в женщин. К моменту действия рассказа это уже сформировавшиеся личности, имеющие за собой — кроме младшей — весьма разнообразный опыт. Одна из сестер, к которой (об этом мы догадываемся) герой был привязан всего более, — умерла. Другая, младшая, героя вообще не помнит. Остальные, как выясняется, были в детстве влюблены в него, и отголоски этих чувств еще живы. В рассказе прекрасно переданы возникающие между персонажами психологически напряженные ситуации.

В фильме сюжет изменен. Вайда вводит образ рассказчика — это сам Ивашкевич, трижды появляющийся на экране. Из текста, смонтированного в последние кадры, мы узнаем, что фильм создан как хвала великому польскому писателю. Тем самым фильм приобретает добавочное значение: он становится декларацией, смысл которой необычайно важен для культурной жизни современной Польши. И декларация эта принадлежит человеку, творчество которого привлекает особое внимание, фильмы которого почти с самого начала вызвали оживленные споры, становились событиями не только культурными, но и социальными. Ибо Вайда — художник, который с поразительной интуицией и точностью попадает в самую сердцевину современной польской проблематики. Так было и на этот раз: казалось бы, вполне аполитичный фильм коснулся самых главных вопросов, стоящих перед всей независимой культурой в Польше. Поймите меня правильно: независимая культура — не только та, что возникает вне сферы государственной монополии, это и та, которая, как, например, творчество Станислава Лема или Виславы Шимборской, существует в Польше в рамках офи-

циальной. Независимая — это значит: не подчиненная требованиям тоталитарной власти. Истинная. Искренняя. Воплощенная в том числе и в таких произведениях, как «Барышни из Вилько» Ивашкевича.

3

Аполитичное искусство — что это такое? Коротко говоря, это искусство, возникающее вне политики и над нею. То есть искусство, не подчиненное политике, хотя и не обязательно избегающее ее: искусство может избрать своим объектом политику, как и что угодно другое. Может — но не обязано.

Истины эти, в принципе, просты и общеизвестны, но, боюсь, не всегда еще достаточно осмыслены деятелями культуры, особенно там, где, как в Польше, искусство не независимо от политики. Эта его связанность политикой недобровольна, ее истоки — вне сферы искусства, которое стремятся свести к идеологической функциональности, тем самым ограничивая свободу поисков, ставя под сомнение ту систему ценностей, с которой искусство соотносит себя. Именно поэтому, как заметил в прекрасном эссе о Бродском польский поэт Станислав Баранчак, литература и — шире — искусство являет собой постоянную точку опоры для противостояния любым тоталитарным системам. Происходит это оттого, что первичные и непреходящие ценности, с которыми искусство соотносится, — это свобода личности, достоинство человека, подлинность, искренность, правда. Утверждать эти ценности — значит подвергать сомнению узурпированное тоталитарной властью право подчинять людей и их творчество ее собственным целям. Иначе говоря, искусство как путь к самореализации человека являет собой мир свободы, то есть мир, всецело противостоящий тоталитарной реальности. В этом смысле творчество Ярослава Ивашкевича — за вычетом отдельных фрагментов — является, несомненно, аполитичным. Таковы его рассказы «Барышни из Вилько» или «Мать Иоанна от ангелов». Таковы его прекрасные последние стихотворения из сборника «Карта погоды». Разумеется, дотошный исследователь не преминет упрекнуть писателя в таких грехах, как, например, стихотворение «Письмо Болеславу Беруту», — тем более, что Ивашкевича не принуждали к таким поступкам. Однако подобного рода реверансы в сторону властей — явление в литературе не новое, и они не умаляют достижений этого писателя, несомненно, выдающихся.

Иной вопрос — личная позиция Ивашкевича. Тут мы имеем дело с человеком — опять-таки за вычетом редких исключений, — который покорствуется перед властью, который отказывается предоставить свой авторитет великого художника для защиты национальной культуры, находящейся под угрозой, с человеком, падким на официальную хвалу и чины, тщеславным, эгоистичным. Тут, впрочем, скрупулезный хроникер напоминает о его достойном выступлении на последнем съезде Союза польских литераторов в защиту свободы и независимости внутрилитературной дискуссии. Однако выступление это до известной степени вынуждено самой ситуацией и никак не меняет портрета этого человека.

И в этом же контексте возникает вопрос о смысле апологии Ивашкевича, которую, несомненно, представляет последний фильм Анджея Вайды.

4

Анджей Вайда — художник, который всегда стремился поставить в своих фильмах самые важные проблемы современной польской действительности. Так, в «Пепле и алмазе», фильме, снятом по роману Ежи Анджеевского, он поднял очень важную для Польши тех лет проблему солдат подпольной Армии Крайовой, которых сталинский режим грубо и цинично лишил достоинства и заслуг (в Польше и по сей день не забыто клеймо, которым коммунистическая власть отплатила за их ратный труд: «Армия Крайова — заплеванная карлика реакция»). После реабилитации (часто посмертной) бойцов Армии Крайовой в 1956 году* дело их было одной из самых острых социальных проблем послеоктябрьского перелома. Это была проблема и сверстников самого Вайды — стержня этой армии. Выбор, который делали они после войны, — и это является центральной темой книги Анджеевского — решал судьбы всего общества. Уместно было бы добавить то, чего ни Анджеевский, ни Вайда не могли сказать в своих произведениях: солдаты Армии Крайовой, сохраняя верность данной во время войны присяге и самим себе, не хотели складывать оружия после окончания борьбы с немцами потому, что страна оказалась под новой оккупацией — советской. Они не хотели делать этого еще и потому, что сентябрь-

* См., например, «Глазами защитника» Анели Стейнсберговой в «Континенте» № 12. — Прим. ред.

ское поражение Польши в 1939 году — и об этом они прекрасно помнили — было вызвано совместным и скоординированным, согласно советско-германскому пакту, нападением на страну с запада и с востока. Тем не менее, то, о чем прямо не говорили ни Анджеевский, ни Вайда, было на памяти их аудитории, составляя важное дополнение к их произведениям.

Проблема верности себе возвратится в 70-е годы — в другом, менее известном фильме Вайды, снятом по Джозефу Конраду. Фильм этот обращается к нравственной проблематике Конрада, писателя, чье творчество было предметом острого обсуждения в послевоенный период. Этика Конрада, на которую резко нападали законодатели сталинского режима (писателя официально провозгласили предтечей фашизма) и которую защищала от них выдающаяся писательница Мария Домбровская (позднее она подпишет известное письмо 34 представителей польской интеллигенции в защиту польской культуры), была основой нравственного кодекса молодежи, связанной с Армией Крайовой. Именно «верность себе» была объектом особенно яростных нападков со стороны партийных идеологов. Обращение к этой проблематике в творчестве Вайды 70-х годов было связано с оживлением независимой общественной жизни в Польше. Речь шла уже не о деле бойцов Армии Крайовой — Вайда выступил против нигилистических или даже откровенно цинических умонастроений, привитых тоталитарной системой. Ясно, что как в случае Вайды, так и в произведениях писателей, обращающихся в последнее время к проблемам этики Конрада (Ян Юзеф Щепанский «Перед неведомым трибуналом», Анджей Браун «По следам Конрада», Михал Комар «Ад Конрада»), имя Конрада является криптонимом, за которым стоит вопрос о защите первоосновы нравственных ценностей от давления тоталитарной системы.

5

На эти проблемы — в ином, более конкретном измерении — обращено внимание в двух других фильмах Вайды: в «Человеке из мрамора» и «Без анестезии». Оба фильма поднимают фундаментальные вопросы сегодняшней Польши, подвергаемые постоянному замалчиванию. В «Человеке из мрамора» показана картина общественной жизни первой половины 50-х годов. Особенно интересен ракурс, найденный Вайдой для исследования того периода. Герои-

ня — сегодняшняя молодая девушка-режиссер, которая хочет снять фильм об одном из тех, кто четверть века назад был «передовиком социалистического труда». В поисках правды о нем и о жизни того времени она сталкивается с различными трудностями и препятствиями, о которых и не подозревала, приступая к этой работе. Перед нами раскрывается образ полицейского государства, ужасающая реальность, логическим следствием которой является жизнь Польши 70-х годов. Так что это фильм не только о сталинской эпохе. Пожалуй, это прежде всего произведение о необходимости воссоздания, восстановления исторического самосознания у поколения, годами воспитанного на лжи, умолчаниях, в лучшем случае — на намеках. Для тех, кто родился в сороковые годы и позже, этот фильм стал одним из самых важных познавательных переживаний, относящихся к почти полностью фальсифицированной истории их собственной страны.

Фильм же «Без анестезии» — всецело современный, достаточно точно демонстрирующий механику функционирования коммунистической системы. Герой фильма — журналист, который, поддавшись политическому и идеологическому давлению и запутавшись в играх партийных боссов, втянутый в безвыходную ситуацию, лишенный возможности активного действия, изолированный от людей, в том числе — от самых близких, погибает в результате несчастного случая (конструкция фильма не исключает самоубийства, которое здесь, кстати, явилось бы куда более логичной развязкой: несчастный случай художественно неубедителен, искусственен). Именно в этом фильме — впервые за весь послевоенный период польского искусства — был, наверное, наиболее убедительно показан в действии железный принцип системы: «Кто не с нами — тот против нас». В силу этого закона герой Вайды раздавлен и уничтожен.

Эти два фильма точно вскрывают цинизм тоталитарной власти, отбрасывающей самые очевидные нравственные ценности, стремящейся опредметить человека и превратить его в орудие целиком: даже частная, личная жизнь его становится собственностью государства. И не случайно эти фильмы вызвали оживленные споры в обществе. Их цельность, точность распознавания симптомов болезни, разъедающей жизнь общества, и, наконец, убедительность и мастерство — все это свидетельствует об отличном художническом чутье к проблемам польской современности, о стремлении искать выход из тупика, в который было загнано после войны польское общество.

При этом не следует забывать, что фильмы Вайды — несомненно, самого выдающегося в наше время польского режиссера — не являются единичным явлением. Сейчас уже можно говорить о целом созвездии фильмов, которые — ломая цензурные преграды — взрывают заговор молчания о самых важных общественных вопросах. Кроме тех фильмов Вайды, о которых тут говорилось, уместно вспомнить, по крайней мере, четыре произведения: кинокомедию Барей «Что ты мне сделаешь, если поймаешь?», «Водирей»* Фалька, «Защитные цвета» Занусси, а также «Больницу преображения» Жебровского (соавтором сценария здесь был вышеупомянутый М. Комар, автор книги об этике Конрада, молодой польский критик). К сожалению, не вышел на экраны запрещенный цензурой первый фильм молодого режиссера Киёвского «Индекс», поднимающий проблемы поколения, вступившего в сознательную общественную жизнь под влиянием мартовских событий 1968 года.

Фильм Занусси ставит чрезвычайно важную проблему подавления в Польше любых нонконформистских мнений. Его герой, молодой ученый, втянутый в механизм «придворной» университетской карьеры, с легкостью отказывается от чувства собственного достоинства и от стремления к независимости. Фильм Фалька — дебют режиссера-документалиста в художественном кино — иными средствами вскрывает ту же механику «натурального отбора». С поразительной убедительностью показывает он несомненное «жизненное превосходство» профессионального карьериста, не считающегося ни с какими нравственными ценностями, над «неприспособленностью» к законам этой жизни тех, кто еще верит в такие ценности, как правда, верность или дружба. Конечно, проблемы эти свойственны не только коммунистической системе, но и именно в ее условиях такие соотношения становятся почти железным законом. Кинокомедия Барей подробными, реалистическими деталями подтверждает диагноз, поставленный фильмами Занусси и Фалька.

Особое внимание следует обратить на фильм Жебровского «Больница преображения». Это польский аналог знаменитого фильма Милоша Формана «Полет над кукушкиным гнездом». Фильм Жебровского создан по мотивам раннего романа Станислава Лема «Неутраченное время». Сюжет таков: в первые дни немецкой окку-

* «Водирей» (wodzirej) — душа и заправила деревенских празднеств. — П р и м. п е р.

пации молодой врач прибывает на практику в психиатрическую больницу. По ходу практики он замечает, что отношение к больным не имеет ничего общего с лечением, что в большинстве случаев врачи только проверяют свои теории. Обслуживающий персонал выплескивает на больных свои садистские наклонности. Главный врач, человек достаточно широких взглядов, подавлен административной работой и не очень-то представляет себе, что творится в лечебнице. Вторжение немцев и массовые убийства ими как больных, так и персонала «примирает» властителей и подвластных — в братской могиле. Заключительная сцена фильма, где герой уносит труп больного, поразительно похожего на Христа, и скрывается во мгле от немцев, протыкающих лес, — один из самых потрясающих образов в польском кинематографе.

Благодаря чрезвычайной достоверности и редкой точности анализа, фильм этот превращается в метафору общественно-политической ситуации Польши наших дней. Разумеется, свести фильм только к такой интерпретации значило бы обеднить его: фильм намного богаче, многослойней, и я выявляю один из его аспектов для того, чтобы показать, каким образом связан он с тенденциями, свидетельствующими о возрождении общественной мысли в польском кино.

7

Тенденции эти — отнюдь не нечто чуждое общественной жизни в целом. Во второй половине 70-х годов началось — после нескольких лет паралича, вызванного усмирениями 1968 (мартовские события, пример Чехословакии) и 1970 годов (расправа над рабочими Балтийского побережья), — значительное оживление независимой от режима общественной деятельности в Польше. Одним из основных ее проявлений является широкое развитие независимых культурных мероприятий*.

Вместе с этим развитием начали возникать проблемы, касающиеся правил функционирования, сферы и характера этих мероприятий. Острее всего проблемы эти дают о себе знать в литера-

* См., например, в № 21 «Континента» обзор «Независимая пресса в Польше» (в разделе «По страницам журналов»), а в этом номере, в разделе «Коротко о книгах», заметку «Язык пропаганды». — П р и м. р е д.

турной жизни: появились, например, такие термины, как «диссидентская литература», наводящие на мысль о том, что эта литература принципиально отличается от официально публикуемой. И тут расшатывается система литературных оценок: нередко произведения оцениваются в зависимости от позиции их авторов. Явление, бесспорно, отрицательное и даже вредное: одной из главных целей деятельности, поддерживающей независимую периодику и издательства, было стирание таких границ, как «страна-эмиграция» или «официальное-неофициальное». Однако мы все чаще сталкиваемся с давлением, которое можно было бы назвать моральным шантажом. Давление это исходит из среды, связанной с независимым движением, и направлено на тех, кто, как, например, Ярослав Ивашкевич, не включается в борьбу за независимость общественной жизни, против ограничений, навязанных тоталитарной властью.

Суть этого давления состоит в том, что более или менее систематически навязывают роль оппозиционера тем, чей авторитет хотят привлечь. Делается это в разных формах: от деликатных намеков, от постановки в морально трудные ситуации — до демонстративного пренебрежения творческими достижениями, до требования произведений «политического» содержания (часто в подобных случаях говорят об «отрыве от реальности своего времени»), до замалчиваний и, наконец, до сознательного или несознательного выталкивания за пределы культурной жизни. На мой взгляд, эти тенденции неизбежны: такое стремление поддержать себя авторитетами является одной из техник самозащиты оппозиционного движения, живущего под угрозой репрессий. Такой способ действий свойствен, разумеется, не всем, кто вовлечен в независимую деятельность, — тем не менее, необходимо учитывать существование этих тенденций. Явление это настолько опасно, что часто становится предлогом для замалчивания тех, кого подвергали давлению: в 9-м номере журнала «Запис» об этом писал Адам Михник.

8

Последний фильм Вайды — а это второй его фильм, основанный на рассказе Ивашкевича (предыдущим был «Березняк»), — несомненно, дань великому писателю. Тем не менее, поскольку Ивашкевич является — особенно в польской культурной традиции — личностью морально двусмысленной, возникают известные сомнения по поводу намерений режиссера. В конечном счете, восхваляется

человек, который в течение всей своей жизни сознательно добивался признания со стороны властей — и именно тех, что жестко ограничивают свободу творчества. Отмечая выдающиеся достижения Ивашкевича в литературе, я, тем не менее, должен сказать, что его гражданское поведение не вызывает уважения.

Вопрос этот, разумеется, сложен и деликатен. Он касается такой важной проблемы, как статус художника, и художника выдающегося, в общественной жизни. Все мы понимаем, что жизненные установки писателя не должны влиять на оценку его творческих достижений. И все-таки достаточно вспомнить хотя бы общеизвестные примеры: жизнь и творчество Луиджи Пиранделло или Эзры Паунда, авторитет которых служил тоталитарным режимам, — чтобы понять значение, которое имеет позиция писателя. *Argi longa, vita brevis* — да, это так. Однако мне как-то не приходилось слышать восхвалений в адрес Гамсуна, Паунда или Пиранделло. Я отнюдь не намерен умалять значимость творчества этих художников, но и апология их как личностей представляется мне невозможной.

Тем более вызывает удивление фильм Вайды. Как я уже говорил, это не просто экранизация рассказа Ивашкевича — одного, напомним, из шедевров польской литературы XX века. Это и апология Ивашкевича лично, которая в наши дни, когда идет борьба против ограничений, навязанных обществу, может показаться, по крайней мере, двусмысленной. И особенно у режиссера, чье творчество столь тесно связано с проблемами польского общества.

Я далек от того, чтобы оказывать на кого бы то ни было давление с целью вовлечь в движение, выступающее за расширение гражданских прав. Однако восхваление личности, которая, как Ивашкевич, занимает лакейскую позицию по отношению к тоталитарному режиму, кажется мне, мягко говоря, излишним.

Запад — Восток

Александр Пятигорский

ФИЛОСОФИЯ НА РАЗВАЛИНАХ РЕВОЛЮЦИИ

*Беседа о книге Кристиана Жамбе и Ги Лардро «Мир»
или
Введение в философию Прав Человека*

Не странно ли, первое, что производит всякая современная революция по своем завершении (а иногда еще и до него), это запреты. Вьетнамская революция запретила религию. Нынешняя иранская революция запрещает женщинам флиртовать и носить джинсы. А страшной памяти камбоджийская запретила — всё. Но это политика, а книга, о которой я сейчас начинаю рассказывать, — не политическая, а философская, хотя посвящена она одной довольно странной для «чистой» философии проблеме. Проблеме, которую простейшим образом можно было бы сформулировать так:

Никакая современная (считая со второй русской) революция не совершается без философии. Философия неизменно присутствует в умах ее участников (они же — будущие жертвы революции) как мечта, надежда и упование. Философия присутствует в головах ее вождей и организаторов (которые тоже нередко становятся ее будущими жертвами) как план и программа. Одного отрицания революции — никак не достаточно для ее реального осознания. И даже отрицания ее философии — тоже недостаточно. Чтобы осознать революцию как реальный феномен жизни и сознания человека, необходима новая, иная филосо-

фия, не контрреволюционная, не антимарксистская, а *объективно совершенно другая*. Объективно другая, то есть имеющая другой *объект*, свой, особый феномен для философского думания и мыслительного сосредоточения. Объект и предмет, объективно противостоящий революции в сознании думающего индивида. И вот таким-то предметом, объектом своего философствования Кристиан Жамбе и Ги Лардро полагают *Права Человека*.

Права Человека сейчас, в этот *данный* отрезок истории (я не говорю об Истории вообще — авторов книги эта проблема не интересует, и они охотно оставляют общеисторический аспект марксизму), существуют и осмысливаются как единственная ИДЕЯ, объективно противопоставленная идее революционного запрета. Совершенен человек или нет, это вопрос нравственной философии или нравственного богословия, и авторов — как и нас с вами — он сейчас не занимает. Но человек, в конце концов, имеет *свое право* быть несовершенным. Революция же стремится человека насильно усовершенствовать путем сотен и тысяч запретов, гласных и негласных. Точнее, она хочет человека *завершить, закончить*, чтобы раз и навсегда покончить с *проблемой* индивидуальной нравственности и личной ответственности.

Но это стремление революции реализуется ею не в порядке этической регуляции или этически обоснованного принуждения, а в порядке необходимости следования тем чисто философским и историсофским предпосылкам, в смысле которых все то, что происходит в революции, является реальным и необходимым, не потому, что все это этично, а потому, что все это соответствует некой абстрактной Действительности Мира. Или если сказать еще точнее, это все и есть Действительность Мира.

Когда происходит слом системы господствующего философского мировоззрения — или, попросту го-

воря, когда книги господствующего философского направления перестают читаться, а затем и писаться, то за этим совсем не обязательно следует появление *другой* системы, противопоставленной господствующей. То есть, перестав читать Маркса, Адорно и Федосеева, люди, интересующиеся философией, не ринутся читать Лосского, Леонтьева и Парамонова (набор имен здесь — случаен). Гораздо важнее и симптоматичнее другое: меняются *предлоги и поводы* к философствованию. И немедленно оказывается, что при *объективном взгляде* на новое философствование в нем выявляется новое *субъективное* содержание, а затем, уже совсем неожиданно, через это содержание мы сможем проникнуть и в *субъективизм* предшествующей господствующей системы. Тогда она и оказывается «сломанной» — ей не выдержать неожиданности иного восприятия.

Однако нынешний слом марксизма привел и к удивительному изменению характера философствования. Произошло своего рода возвращение к *самосознанию*, о котором столь часто и много говорил Бердяев. И тогда оказалось, что марксизм плох не потому, что он неверен или ложен, а потому, что он *ко мне* не имеет никакого отношения. Это не марксизма судьба такая, а моя. Марксизм в этом даже и не виноват. Просто так случилось, что мое мышление мыслит в таком месте, где марксизма — нет. Дело здесь в *ситуации мышления* отдельного философа, а не в том, кто прав и кто виноват. Но, чтобы прийти к такой точке зрения, надо было предварительно отказаться или уйти от философской почвы, философской традиции, от временной связи систематически выраженных идей, которые даже если и отрицаются, то все равно присутствуют *в культуре*. Говорить сейчас о чуждости, «внешности» марксизма для какой бы то ни было современной культуры — совершенно бессмысленно (будь это русская интеллектуальная культура, французская

или чилийская). Для России, как и для Франции, марксизм не свой и не чужой. Он является сейчас исторически связанным с традицией европейского философствования, очень старой, но не вечной. Отрезать марксизм, но признавать эту линию во всем остальном — есть для философа *несделанная работа*. Можно, конечно, стать вообще на позиции антиинтеллектуализма, но, как показывает опыт последнего столетия, всякий антиинтеллектуализм всегда маскирует стремление и движение к новой интеллектуальной монополии.

Создать новую философию в порядке *реакции* на марксизм можно, но создатель не сможет сколько-нибудь далеко *уйти от уже известного* в такой попытке именно в силу указанного выше и довольно печального обстоятельства: всякий антимарксист (антигегельянец, антиматериалист и т. д.) все равно останется (пока он *так* работает) в связи с традицией. Если не марксистской, то той, на почве которой сам Маркс вырос и которую он «проработал» тщательнейшим, скрупулезнейшим образом. Всякий стремящийся *уйти* от марксизма и материализма философ неизбежно оказывается перед труднейшей дилеммой: стать антимарксистом или... забыть о марксизме и... идти дальше. Обращение к абсолютному религиозному идеализму «новых» русских философов оказывается *философски* столь же *неинтересным*, как и обращение «новых» французских к гуманистическому демократизму. То есть и то и другое очень интересно с точки зрения *исторического движения человеческой мысли*, но не само по себе, не по философскому содержанию.

Именно в этом смысле недавно вышедшая книга Кристиана Жамбе и Ги Лардро «Мир. Ответ на вопрос: что такое права человека?» (Грассе, Париж, 1979) есть явление крайне сложное и любопытное. Явление, в котором философствование о философии столь густо перемешано с юридическими, этическими и религиоз-

ными размышлениями, что порою *сам предмет* (здесь — права человека) от нас ускользает, чтобы быть поставленным снова через десяток страниц. Но все равно книга очень интересна и в чисто философском отношении.

Здесь я сосредоточусь лишь на нескольких философских и религиозно-философских идеях и положениях авторов.

Задача книги формулируется предельно просто: «...выработать, по крайней мере, первые элементы новой философии прав человека», ибо «...мы думаем, что права человека требуют обоснования в философии». Но почему? Да потому, что они *есть*. Потому что они неразрывно связаны с *природой* человека, потому что они укоренены «в древней мысли». Не забавно ли, что через 60 лет после появления бердяевских работ, где *свободе* (не политической, не человеческой даже, а *свободе вообще*) дается онтологический статус («свобода — до Бога»), тем же фактически статутом наделяются права человека. Человека, скажем так, — *несвободного*, ибо иначе о каких правах может идти речь?

И немедленно, почти так же, как в «Русской идее» Бердяева, — переход от свободы к Революции. И в точности, как у Бердяева, хотя и в иной, но ничуть не худшей формулировке — мысль о том, что Идея Революции есть идея по преимуществу *нравственная*: «...бесконечному росту зла воинствующий материализм противопоставил свой могущественный исторический оптимизм: со злом можно покончить, ибо можно покончить с *этим* миром». Авторы как бы с самого начала понимают, что сама идея революции простейшим образом сводится к противопоставлению морали — религии (или, если хотите, *нравственной природе* человека) и что наблюдаемый сейчас повсеместно «кризис революции» есть «не провал в выполнении революционной программы, а крах самой идеи революции».

На этом кончается сходство авторов книги с Бердяевым, ибо они вводят две новые (для философии, во всяком случае) категории — «порядок вещей» (буквально «порядок мира») и «моральная установка». И здесь-то и начинается «странность» их философской позиции: оказывается, что в основе философии вообще, так же, как и в основе различий между разными философиями, лежит — отношение к порядку вещей. То есть грубо говоря, одни философы видят во всем происходящем все тот же порядок вещей, в то время как другие видят мир как своего рода «поле потенциальных изменений» и занимаются «проектированием» этих изменений.

Надо сказать, что этот взгляд на философию далеко не так элементарен и наивен, как это может показаться, особенно если учесть великолепную *лицейскую* «картезианскую выучку» авторов. Однако при таком узко функциональном подходе философия превращается во что-то вроде «философии жизни». Человек и человечество становятся главными ее объектами, а не мышление, что смешно и даже похоже на Тейяра де Шардена. Но еще важнее другое: авторы начинают свое философствование с вещей, к которым можно (или — нельзя) было бы *прийти* как к конечному результату философского процесса, но из которых никак нельзя исходить как из начальных постулатов. Ни «моральная установка», ни «порядок» не существуют *как вещи* (а если существуют, то мы недалеко ушли от марксизма). Не существует ни правил, согласно которым они могли бы быть выведены, ни рефлексии, посредством которой мы могли бы обнаружить их в нас самих или *для нас*. Здесь, как и еще во множестве других мест этой книги, авторы ее боятся философствовать *далее* (философствовать *до конца* — невозможно). Сохранившийся у авторов инстинкт приверженности «европейской философской традиции» заставляет их поместить себя «между Кантом с его категоричес-

ким императивом и фрейдистским отрицанием Канта». Итак, «порядок вещей» есть «исключительное занятие философии». Зло есть «продукт тоталитаризма» этого порядка (в отличие от зла, понимаемого и воспринимаемого нами в виде всех бесчисленных страданий, горестей и несправедливостей). Тогда *нормальная философия* — которую авторы несколько презрительно приравнивают к тому, что мы называем «философским взглядом на жизнь», — эта философия должна считать, что «...зла вообще — не существует. Или, точнее: если истинно то, что Зло есть, то тогда зла — нет». Тогда единственной вещью, философски противостоящей злу (злу, которое *есть*), оказывается нравственная установка.

Революционер — это тот, кто восстает против «порядка вещей», чтобы затем уничтожить сами эти вещи, то есть весь этот мир. Носитель нравственной установки — это тот, кто восстает против *философии*, наделяющей смыслом реальное зло, освобождаясь таким образом от «философской и тем самым политической иллюзии необходимости зла». Так намечается разграничение Революции и Диссидентства.

Революционер — конечно, не философ. Но он как бы исходит из философской предпосылки о том, что *порядок вообще — есть*, хотя *данный* порядок — плох и должен быть изменен. Исторический оптимизм революционера в том и состоит, что он, в отличие от Руссо, верит во *внешность* зла, хотя вместе с Руссо считает, что *природно* человек добр, а *данный* порядок дурен, ибо он чужд природе человека. Но тот же революционер всегда является в какой-то мере и гегельянцем, ибо не только его борьба с дурным порядком, но и сам дурной порядок, против которого он восстает, включаются им под видом «исторической необходимости» в Онтологический Порядок, в порядок вообще.

Авторы книги, как и их современник и отчасти единомышленник Андре Глюксман, прекрасно понимают, что философское обоснование абсолютно необходимо для любой революции нашего времени. Если такого обоснования нет, то революция его «берет» со стороны, или — что случается еще чаще — она его *получает* со стороны. Более того, всякая революция как бы уже содержит в себе философию своей необходимости, вытекающей из необходимости того порядка, который ей только еще предстоит установить. То есть того самого порядка, который революция отождествляет с порядком вообще. Отсюда — псевдорелигиозность всякой революционной философии. Диссидент же борется не с порядком, а с *отношением* ко злу, с философией принятия зла как абсолютной необходимости. И тогда сама тема Прав Человека обретает свой негативный смысл — в отрицании онтологического статуса всякого порядка, включающего в себя зло. Свой позитивный смысл эта тема обретает — в утверждении индивидуальной нравственной установки.

Мы уже говорили о том, что современная философия не может заниматься выяснением того, добр ли человек по своей природе или зол. Точнее — она не *хочет* этим заниматься. В этом — одно из важнейших ее отличий от классической европейской философии, включая марксизм. Ницше, а за ним Фрейд пытались противопоставить свои решения этой проблемы тому, что было сделано прежде в рамках германской традиции, и именно вследствие этого сами они не смогли из этой традиции вырваться. В отношении нравственности этика психоанализа не открывает ничего принципиально нового по сравнению с либеральным гуманизмом Рескина или революционным гуманизмом марксизма. Но авторы книги не сводят наличие нравственной установки к природно доброму в человеке, а ее отсутствие к природному злу в нем. Читая эту кни-

гу, я чувствую их постоянное стремление *мыслить современно*, а это, по-моему, — и без всяких шуток — вещь замечательная и редко кому удающаяся. Но для того, чтобы создать Философию Прав Человека (в отличие, скажем, от гегелевской Философии Права), надо до конца разделаться — и совсем не обязательно в отрицательном смысле — с идеей Порядка Вещей. А это для философа сделать исключительно трудно. Ибо такая работа необходимо предполагает рефлекссию над *своим* мышлением о Порядке Мира. Авторы книги — опять в полном согласии с европейской и особенно германской традицией, как бы уклоняются от философской рефлексии, чтобы обратиться к «феноменологической работе». К работе, которая хотя и не отменяет рефлексии, но полностью ее объективирует, освобождает ее от *личностных* моментов.

«Феноменология позволит нам установить соотношение того, что мы называем миром, с другими необходимыми иллюзиями, образующими наш горизонт — горизонт нашего рабства». Так начинают они свой анализ нравственной установки человека и тут же переходят к рассмотрению *совести*, одной из «наиболее типичных иллюзий нашего горизонта». Но почему же они полагают, что совесть — это иллюзия? Скорее всего, в силу того, очевидного даже не философу, обстоятельства, что сам *феномен* совести осознается — а следовательно, и возникает, — когда налицо непримиримые противоречия желаний, импульсов, надежд, страхов, наконец, идей. В самом деле, Человек не может «наслаждаться наедине со своей совестью», но он может испытывать муки, терзания, угрызения, вне которых совести как феномена просто нет. Разрываясь «... между заботой о всеобщем благе и стремлением к личному спасению, между борьбой за Права Человека и ностальгической мечтой о Мятаже», совесть не может вернуться к статике и покою вечных моральных категорий, то есть вновь стать *не-совестью*. Терзания

совести придают динамику нравственной установке человека, установке, которая «...в тревоге за сохранность наших хрупких свобод вынуждает нас иметь дело с людьми, такими, как они есть, и не может заставить нас забыть о непереносимости мира». Я перевел эту фразу буквально, не для того, чтобы дать читателю представление о вычурности стиля книги, но скорее, чтобы обратить внимание на скрытую «религиозность» ее содержания. И действительно; от совета авторы тут же переходят к религии.

«Религия, — пишут авторы, — вновь выступает как центральный факт жизни, как могущественный способ чувствования там, где, казалось, оно почти что полностью уже исчезло». Так в чем же здесь дело? По мнению авторов, все дело в том, что те нравственные цели, которые были поставлены перед человеком самой обстановкой тотальной политизации общественного сознания после второй мировой войны, оказались полностью фальсифицированными. Именно в этой обстановке такие ценностные категории, как «народ», «благо народа», «политическое равноправие», были не только объективно (т. е. в смысле реальной политической действительности) полностью скомпрометированы, но и морально — то есть в смысле индивидуальной нравственности — не выдержали столкновения, сшибки с религиозным видением мира. По-видимому, политизация общества зашла так далеко, что сама политика, став как бы *всем*, оказалась неспособной к манипулированию своими собственными целями. Одновременно с этим универсальный характер политики, вытекающий из революционной философии современного марксизма, начал порождать муки совести у конкретных *людей* и по вполне конкретным поводам, поскольку нравственная установка этих людей просто не смогла выдержать слишком абстрактных целей, поставленных перед ними политикой.

Очевидно, однако, что для «философского» перехода от политики к религии «через совесть» было необходимо что-то иное, что, само не входя в нравственную установку, могло бы сообщить этой установке особый динамический импульс к религии. И такой вещью стала *ненависть*. Политики мечтали о тотально политизированном мире для людей. А получилось, что люди, возненавидев политику, стали ненавидеть и презирать мир, где была политика и не было Бога.

В связи с этим и для того, чтобы этот переход к религии в феноменологии нравственной установки сделался более понятным, стоит вспомнить о... Марксе. Дело в том, что, как *философ*, Маркс относился к политике с большим скептицизмом. Он полагал, что политика — дело не философское, не академическое и, скажем даже так, не германское. В религии он видел «обратное» или «искаженное» отражение условий экономических, социальных, но меньше всего — политических. Более того, последовательное развитие *методологических* принципов «Капитала» само предполагает и подразумевает отрицание всякой возможности построения теории государства вообще. И в этом смысле такая работа, как «О происхождении семьи, частной собственности и государства» (и даже «18 Брюмера Луи Бонапарта») не дает никаких оснований для построения *политической* концепции государства. Как методолог, продолжающий гегелевскую идеалистическую линию, Маркс глубоко презирал *применение* философии к политике. Но, как материалист в философии истории, он решительно отрицал психологические корни религии и нравственности. Интересно, что и авторы книги также явно пренебрегают психологией. В их феноменологии нравственной установки религия — это как бы противовес беспредельности политики. Но именно эта беспредельность политики и создает ту *психологическую* атмосферу, в которой человек начинает ненавидеть политизированный мир, а вместе с

ним и мир вообще. И тогда, вместо того чтобы этот мир перестроить, а перестраивая — уничтожать, человек обращается к религии. Но отсюда следует и нечто совсем иное: нравственная установка, так же, как и совесть, сами по себе никак не соотносены с религией и не могут быть *редуцированы* к ней в порядке феноменологического анализа. Религия фигурирует здесь как *результат реакции* совести на... политику и политическую революцию. Да, конечно, сама обстановка непрекращающейся политической революции делает мир непереносимым для *совести* индивида, но ведь практически любая религия (кроме разве ислама и иудаизма!) заранее постулирует непереносимость мира *метафизически!* При том, что всякая мистика (включая исламскую и иудейскую) включает в себя эсхатологию, то есть метафизическое стремление к выходу из истории, к окончанию истории, к преодолению истории. Тогда почему бы нам не пофилософствовать еще немного и не спросить у авторов: а не является ли постулируемая вами нравственная установка, которую вы возводите к «древней мысли», также антиисторической?

Очевидно — хотя и не для авторов книги, — что есть как бы два «выхода» из истории. Один — полное теоретическое и практическое отрицание Мирового Зла во имя *Идеи Человека*. Такое именно отрицание Владимир Соловьев и называл Царством Антихриста, а Бердяев — торжеством человекобожества. Второй выход — это видение исторического опыта как реализации Промысла на уровне эмпирического человеческого существования (и сознания). То есть на уровне, где Божественное осознается человеком в *аспекте относительности*. Для авторов книги религия остается единым *человеческим* феноменом, что не так уж далеко от марксистской концепции религии как «исторической формы сознания», равно как и от «гуманистического» понимания религии Тейяром де Шарденом.

Этот подход авторов я не могу назвать ошибкой или заблуждением, ибо каждый верит — или думает — как может, а не как я или кто другой. Методологический просчет или, скажем, «срыв» авторов заключается в другом.

В своей феноменологии нравственной установки они методологически произвольно «выводят» религию из нравственности, а нынешнюю современную религиозную ситуацию — из нравственной *реакции* человека на тотальную политизацию его *сознания*, насильно производимую революцией. Я позволил бы себе пойти дальше в моей критике этой точки зрения, сказав, что авторы понимают религию как *неосознанную нравственность*. Слово «неосознанная» здесь не просто прилагательное к слову «нравственность». Для авторов книги это слово служит *условным* (мы сказали бы «*квазисимволическим*») знаком внутренней связи *нравственности* и *подсознательного*. Так в своем понимании философии Прав Человека они незаметно возвращаются к Руссо, этому первоисточнику идеи «человеческого как природного, как нравственного» (идеи, которой, напомним, и Гегель был не чужд в «Философии права»). Права Человека — это тот счет, который нравственность предъявляет революции, тотальной политизации и... тотальному историзму. Здесь как будто концы кое-как сведены с концами. Но именно здесь Жамбе и Лардро, как и их коллега Андре Глюксман, забывают, что революция (вместе с ее философией) не с неба упала. Люди у авторов этой книги оказываются пассивными жертвами революционной идеи, идеи, против которой *задним числом* восстает их нравственная установка. Но не чрезмерная ли это снисходительность к их, людей, философскому невежеству? И не они ли сами, эти люди то есть, эту самую кашу и заварили, да так густо, что уж никому не по рылу ее будет расхлебывать?

В таком подходе я вижу не столько этический недостаток философии авторов, сколько их чисто философскую наивность. Уж не проще было бы предположить, что сама *идея* революции, в своей тотальности нравственную установку отрицающая, в самом же человеке противостоит той же самой изначальной и древней нравственной установке? К такой именно точке зрения, кстати, пришел в начале нашего века один крайне любопытный московский философ и теоретик позднего «пережиточного» народничества Александр Шрейдер.

Но нет! На такое авторы книги просто *не могут* пойти. Такое философское манихейство слишком претит их лицейскому картезианству. Для них, как, впрочем, и для Маркса, люди — это всегда кто-то в третьем лице. Это — «он», «они», «человечество», «народ» или «Человек», над которыми «дурная» (по Гегелю) идея производит свое коварное действие.

Увлечение авторов «подсознательным» (порою бессознательное!) логически возвращает их вновь и вновь к основной ситуации классической германской философии. К ситуации, когда в основе всякой прагматики философствования лежит идея: «*Я* думаю, а *они* не думают». Да, конечно, нравственная установка *есть*, как есть совесть и производная от совести религия. Но самосознание этой (как и всякой другой) идеи — дело не «их», а Философа, который *десубъективизирует* идею (мне очень совестно за столь чудовищную терминологию — мою, а не авторов книги) и открывает «им», людям, объективное нравственное содержание их жизни. Итак, по мысли авторов, в нравственной установке человека реализуется его отношение к миру, революции, государству, или, скажем так — ко всему, что осознается в «поле» нравственной установки. Но все *объективное содержание* этого осознания — или «подсознания» — всегда дано или задано как бы со стороны, извне. И если смотреть на

нравственную установку под таким именно углом, то Права Человека окажутся не только правом индивида на свое собственное отношение к объектам мира, но и правом *выбирать* объекты своего отношения. С этим согласиться можно, хотя и здесь возникают известные философские трудности. Ведь наша мысль по-прежнему движется и работает в привычных культурно-исторических оппозициях вчерашнего или позавчерашнего дня. И главная из этих оппозиций — это Государство и Революция.

Трудно найти тему, более запутанную, чем эта. Пока что все попытки эту тему хоть сколько-нибудь упростить проваливались с большим или меньшим треском. В своей весьма эмоциональной книге о социализме Игорь Шафаревич простодушно избегает этой темы, хотя все содержание книги к ней *внутренне* сводится, а вовсе не к «инстинкту смерти», «уничтожению частной собственности» и «упразднению семьи», как хотел бы это представить сам автор. Вновь ставший модным образ теократического государства (иногда, правда, в полутехнократическом облике последнего — как у Турчина и Тростникова — при всех их различиях) постепенно овладевает лучшими умами России. Самая честная, хотя и далеко не простодушная попытка была совершена в конце прошлого века Владимиром Соловьевым. В конце жизни Соловьев простодушно сказал всем — и Леонтьеву, и поздним славянофилам, и даже покойному тогда Достоевскому: «Очень сожалею, господа. Идея, конечно, великолепная, но, к сожалению, ничего из этого дела не выйдет».

«Но почему же? — возмущались прежние его поклонники, — ведь Вы сами только что говорили о теократии?» — «А то было только что, — отвечал Соловьев, — а сейчас вижу, что тогда муру говорил!» Так в чем же, собственно, дело? Думая над Соловьевым, ясно видишь, что уже к середине девяностых го-

дов он окончательно понял, что никакое государство *не может* быть или стать не только теократическим, но даже и религиозным. Как, впрочем, и народ, и страна, и любое иное наиндивидуальное и внецерковное по своим истокам и целям сообщество людей. И дело здесь не только в том, что всякое государство само по себе дурно («государство — это иллюзорная форма общества» — такова приведенная авторами цитата самого Маркса из «Немецкой идеологии»), а в том, что оно лежит в совершенно иной плоскости существования, чем религия и церковь. И даже Гегель, при всем своем скептическом отношении к религиозным институтам, был вынужден с этим согласиться.

В брошюре «Государство и революция» Ленин счастливо избежал Марксовой двусмысленности в отношении к государству. Он вернулся к первоначальной гегелевской схеме в примитивнейшем ее толковании: «Тезис — антитезис — синтезис» = «слом старого государства — построение нового государства — постепенное (очень!) отмирание всякого государства». Что государство есть орудие подчинения людей *идеи* революции, Ленин очень хорошо понимал и *до* третьей русской революции, хотя и не писал об этом, боясь прослыть идеалистом. Ход революции и гражданская война заставили его понять и признать другую истину, к чему он теоретически не был подготовлен: оказалось, что государство должно *заставить людей работать*. И не *вообще* работать, а вполне определенным образом, вытекающим из характера этого государства как государства «нового типа».

Не замечательно ли, что «коммуны» ранних двадцатых годов в какой-то мере воплощали идею «чистого труда» (или «работы вообще»), тогда как нэп явился не только и не столько «временной уступкой временным обстоятельствам», но и — *объективно* — подготовкой к созданию новой государственной системы. Системы, на самом деле явившейся *синтезом*

прежней имперской бюрократии с новой советской партократией. И в этом смысле еще более замечательным было то, что начало нэпа совпало со страшным разгромом православной церкви (и добавим — синагоги в бывшей черте оседлости). Историческое совпадение? — нисколько. Ленин очень хорошо понимал, что нравственность подданных советской России оставалась прямо или косвенно *внутренне* связанной с их религиозностью, а Сталин еще лучше понимал, что никакой класс нельзя уничтожить «как класс», не уничтожив нравственной установки членов этого класса.

Авторы книги, не осознав богатейшего русского опыта, все ж таки отлично осознали, что в современной ситуации революция, даже теоретически, уже не противостоит Государству: на индивидуальном уровне революция противостоит нравственной установке, а на социальном... демократии. Этот новый, и в истории необычный, характер революции или, точнее, новый характер ее понимания и осознания сыграл немалую роль в проектировании и ходе революций последних лет. И в том, что авторы книги включили в анализ нравственной установки опыт осознания революции в Камбодже, я вижу очень большой смысл. Революция в Камбодже выступает в книге как тот крайний случай революционной идеи, когда Государство и Революция — совсем не по-ленински, хотя и вполне по-марксистски — выступают как две стороны одного и того же феномена человеческого сознания.

В эстафете массового уничтожения людей, начало которой было положено избиением армянского населения революционными турками в 1915 году и которая как будто пока еще не закончилась, красные кхмеры — бесспорные чемпионы. За три года революционного режима им удалось истребить более четверти своих сограждан. Это было совершено практически без тюрем, пыточных камер и лагерей. Вся страна превратилась в одну пыточную камеру. Но красным кхмерам

удалась еще одна вещь: они фактически уничтожили все профессии и ликвидировали всякое разделение труда, включая и ту «первичную» форму — разделение труда между городом и деревней, — с появления которой классики марксизма ведут начало истории как таковой. Согласно тем же классикам, преодоление этой первичной формы, медленное и очень постепенное, все еще ожидает нас в далеком коммунистическом будущем. Ко времени падения красного режима в стране оставалось всего лишь несколько десятков врачей, инженеров и преподавателей. Остальные были убиты, умерли от голода и болезней или работали... в поле. Улицы Пном-Пеня успели зарости травой. Были упразднены деньги, почта и все прочие виды связи, кроме внутренней военно-партийной. Я остановился на этих всем известных фактах этого недавнего прошлого — такого недавнего, что его еще и прошлым не назовешь, — только для того, чтобы показать, на каком конкретном материале Лардро и Жамбе завершили свой анализ нравственной установки в ее отношении к государству и политике.

Итак, без философской идеи современная революция невозможна. Или лучше скажем так: на протяжении двадцатого века, который еще не собирается кончаться, не произошло еще ни одной революции без философии. Я не знаю, читали ли идеологи красных кхмеров Карлейля, но именно Томас Карлейль очень-очень давно писал в своей книге «Французская революция»: «Есть такие вещи, которые революция не сделает никогда, если она не сделает их сразу же. Не потому, что ей помешают это сделать враги, а потому что она потом сама не сможет их сделать». И в этом смысле можно было бы упрекнуть великого Мао за то, что он так непростительно «затянул» свою культурную революцию. Мао — главный учитель и вдохновитель камбоджийской революции — не сумел, а возможно, и не захотел до конца разрушить ту *систе-*

му власти, которая все еще стояла между ним и его народом. Так что Идея осталась нереализованной. Но что же это у него была за Идея? Авторы отвечают: идея власти в *чистом виде*. Власть, освобожденная от всех своих атрибутов, особенностей и сложностей, — власть без структуры. И еще одна идея, или та же самая, но как бы рассматриваемая с другой стороны, — *идея труда как такового*. То есть тоже без атрибутов и без структуры. Труд без разделения труда. Идея власти, воплощенной в идеальной государственной системе, выводилась Гегелем из философской системы объективного идеализма и как таковая была теснейшим образом связана с германской культурной почвой и с прусской социальной действительностью. При всем том Гегель все-таки понимал, что «истина конкретна» и что, как ни великолепа прусская государственная система, она не может быть отождествлена полностью с *идеей* государства. Маркс унаследовал от Гегеля немецкую любовь к чистоте идеи. Азии Маркс принципиально не любил. Азия у Маркса начиналась где-то чуть восточнее Одера, и чем дальше на Восток, тем меньше это ему все нравилось, ибо терялась «чистота» его теоретических построений. И для наведения хоть какого-то порядка в восточном хаосе, где в чистом виде не было ни классов, ни классовой борьбы, ни даже государства как орудия угнетения одного класса другим не было, он и придумал свой знаменитый «азиатский способ» производства.

И словно в ответ на упования покойного Маркса в самом сердце этой хаотической Азии возникла государственная власть в чистом виде вместо системы государства и «появился» труд в чистом виде вместо профессионального разделения труда. И прямо от этого феномена авторы переходят к проблеме *отчуждения*, которое давно уже превратилось в марксизме (вне зависимости от различных течений и разновидностей последнего) в своего рода универсальное понятие или,

если сказать точнее, в универсальный термин, обозначающий вещи, которые марксист не может ни объяснить, ни понять. Ведь если следовать самому Гегелю, то всякая *реализация* идеи уже содержит в себе ее отчуждение от самой себя подобно тому, как всякая профессионализация человека уже предполагает отчуждение его природных способностей (природная способность относится к профессии как тоже своего рода «идея»). Кроме того, мы давно знаем, что «овладевая массами, идеи становятся материальной силой», что, согласно тому же Гегелю, также безусловно означает их, идей, отчуждение.

То, что произошло в Камбодже, авторы осознают как *абсолютное отчуждение чистого работника*. Работника, которого, говоря строго марксистски, нельзя даже назвать рабочим или пролетарием, ибо классов там, в Камбодже, *на самом деле* не стало. Работник этот был как бы разом отчужден от всего того, в чем могли бы реализоваться его *природные* (я настаиваю на этом термине) способности и возможности. Но как же было *возможно* сделать это? А очень просто! Были уничтожены все возможности отчуждения в общем и целом, и этим было достигнуто полное и абсолютное отчуждение каждого отдельного члена общества. Отныне он уже не член общества и одновременно механик или учитель, моряк или слесарь, муж или любовник, отец или брат. Отныне он — *только* член этого общества, реализующего только одну функцию — чистое принуждение к чистому труду. Тут бы даже и Ленин поежился. Ведь это не назовешь *организацией* труда (по Марксу — это существеннейшая функция «азиатского способа»), ибо организация труда обязательно предполагает его разделение. И здесь авторы вновь возвращаются к нравственной установке как к тому центральному понятию всей книги, что противостоит понятию Прав Человека, что саму Идею Прав Человека объясняет и к чему эта идея может быть

только и сведена. За время краткого своего существования красный режим в Камбодже не просто разорвал связи между нравственной установкой человека и теми объектами мира, на которые она была или могла бы быть направлена. Такой разрыв возможен и в тюрьме и в концлагере, но узник все равно знает, что хотя он и оторван от объектов, но вообще-то они *есть*, и поэтому они *на самом деле* есть. В случае же красных кхмеров не связи были уничтожены, а сами объекты — *все* объекты. Таким образом, нравственность человека лишилась *целей*, лишилась того пространства, в котором она могла бы жить. И тогда оказалось, что в условиях уничтожения этого жизненного пространства нравственности сама нравственность уже не могла реализоваться индивидом в точке его чисто физического существования. Индивид не мог *нравственно* жить в себе и для себя и — как прямое следствие этого — оказался полностью неспособным к *индивидуальному* нравственному протесту.

И здесь мы переходим к последнему моменту анализа камбоджийской ситуации в ее отношении к нравственной установке. Все это в принципе можно сделать, и мы видим, что красные кхмеры это сделали. Но сделать это оказалось возможным только потому, что они осознали, а может быть, инстинктивно почувствовали (пренебрежение психологией — основной недостаток всей книги), что двумя главными препятствиями к установлению их «внеисторического» рая на земле явились *Знание* и *Секс*.

Секс, половая любовь, любовь вообще — остается источником связей индивидов друг с другом и всегда *объективно* противоречит их связи *как целого с единым целым* государства и народа. Знание всегда остается тем, что, по крайней мере в возможности, угрожает целостности мировоззрения «государства и народа вместе», ибо оно, знание, существует только в различных вариантах в умах *различных* людей. Но здесь

есть и другая угроза. И знание, и секс угрожают более всего идее *абсолютного* равенства, без которой абсолютное господство целого над отдельными людьми просто неосуществимо. Таким образом, каждый член общества, согласно этой идее равенства, может знать и любить только так, как это может статистически делать *все* общество. Люди не могут быть равными в знании и любви, но в «чистом труде» без профессионального знания и в «чистом размножении» без половой любви они становятся равными как члены такого общества, которое в своей *обратной* связи соотносится с ними как с абсолютно равными друг другу, то есть как с *никем*. «Универсализация обязанности производить» — вот «юридическая» сущность камбоджийского феномена, плюс та Верховная Власть, единственной функцией которой остается принуждение к выполнению этой единственной обязанности.

Картина революционной Камбоджи, которой завершается феноменологический анализ нравственной установки, это не символ ошибки универсальной политики или Революции нашего времени и не симптом ее конца. Это даже не урок для слепых. Потому что — зрячие не научились (а дипломаты и муллы из ООН продолжают дискуссию о том, представляет ли изгнанное правительство красных кхмеров *свой* народ). По мысли Ги Лардро и Кристиана Жамбе, ситуация предельно проста: ... «не осталось ни революции, ни какой угодно другой формы политической иллюзии — ничего, кроме нравственного протеста».

И не явятся ли нам тогда Права Человека как одно-единственное ПРАВО — ПРАВО на то, чтобы нравственно протестовать и при этом оставаться в живых?

Факты и свидетельства

Лидия Шатуновская

«ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ»

Глава из книги воспоминаний

Вернулись мы в Москву в июне 1943 г., в первом эшелоне институтов Академии наук. Вернулись изможденные, изголодавшиеся, оборванные и почти босые. Муж мой уже давно щеголял в старых солдатских сапогах и потертой кожаной куртке, завалывшихся у нас со времен гражданской войны, а у меня развалилась последняя пара туфель. Да и у ребенка целой обуви не было. Как гулять с ним? Спасибо, наша соседка по квартире Савельева сумела достать на какой-то закрытой базе пару простых туфель для меня и парусиновые, образца военного времени, ботиночки для ребенка. Проблема прогулок была решена.

Дом Правительства еще сохранял свой суровый военный внешний облик. Вдоль стен были уложены мешки с песком. Окна всех квартир еще были перекрещены полосками бумаги или марли, строго соблюдались правила полного затемнения ночью, на крышах дежурили специальные пожарные команды, которые должны были тушить зажигательные бомбы, если они упадут на дом. Но хозяйство дома поддерживалось всю войну в полном порядке. Туда ведь должны были вернуться «знатные». Да и во время войны кое-кто из них (очень немногие) оставался в Москве, а многие приезжали туда время от времени. Среди таких особенно отличался сын Сталина Василий, который проводил в Москве больше времени, чем на фронте, и

устраи́вал ди́кие оргии и пья́нки в опустевших кварти́рах своих двух находившихся в эвакуации теток — Евгении и Анны Аллилуевых.

Нельз́я же было́ лиш́ать их привы́чного комфо́рта, и потому́ в доме безотказно работало центральное отопление, подавался газ, не было ограничений в пользовании электрической энергией и даже — подумать только! — круглосуточно подавалась горячая вода. Мыться можно было сколько угодно и когда угодно. Это было давно забытым счастьем, и многие наши друзья и родные приходили к нам, чтобы насладиться неслыханным блаженством — принять горячую ванну.

В комендатуре дома имелись ключи от всех квартир, и, воспользовавшись этим, доблестная чекистская «охрана» дома основательно почистила опустевшие квартиры. Говорили, что одних золотых часов было украдено 72 штуки. Украли и у нас много вещей, представлявших по тем временам «меновую ценность», но это нас не очень огорчило и не испортило нашего бодрого настроения. После Казани жизнь в Доме Правительства казалась нам просто райским существованием.

Да и продовольственное положение было в Москве, как всегда, значительно лучше, чем во всей стране. Нормы, по которым снабжалось по карточкам население, были нищенскими, полуголодными, но все же кое-какие продукты по ним можно было получить, и эти продукты отпускались по очень низким государственным ценам. Кроме хлеба, отпускалось немного сахара, крупы, растительного масла, мыла, даже мяса или рыбы.

Система снабжения была невероятно дифференцирована. Существовали десятки категорий продовольственных и промтоварных карточек для различных групп граждан, и это открывало широчайший простор для всяких злоупотреблений и воровства. Научные работники занимали, конечно, не самые высокие места

в этой дифференцированной системе привилегий, но и не самые низкие. Мы получали и кое-какое дополнительное снабжение, но его все же не хватало, и частенько приходилось прибегать к услугам «черного рынка».

Чем был «черный рынок» в Москве в эти военные годы? Еще до войны в разных районах Москвы существовали под открытым небом так называемые колхозные рынки. Предполагалось, что на этих рынках колхозники и рабочие совхозов будут продавать по вольным ценам излишек продовольствия, выращенного ими на их крохотных приусадебных участках. Они и делали это, торговали молочными продуктами, картофелем, овощами, фруктами, ягодами. В мирные годы, когда население хоть и с перебоями, но все же снабжалось в основном через сеть государственных магазинов, цены на колхозных рынках регулировались государством. Они были несколько выше государственных, но это окупалось бóльшим выбором и лучшим качеством продуктов, поставлявшихся на рынок их непосредственными производителями. В военное же время цены на колхозных рынках взлетели в десятки раз: полукилограммовый батон белого хлеба, стоивший в магазине 1 р. 30 коп., на рынке продавался за 100-110 рублей; сахар, стоивший по государственной цене около 5 р. за килограмм, на рынке стоил 200-300 р. и т. д. А заработная плата рабочих и служащих в годы войны росла несравненно медленнее.

Откуда же люди брали деньги, чтобы покупать продукты на черном рынке по этим сумасшедшим ценам? В основном жили продажей вещей, в которых все деревенское население страны нуждалось так же остро, как городское — в продовольствии. Выносили на рынок все, что было: остатки платья, обуви, тканей, домашней утвари. Устанавливался прямой товарообмен между голодающим городом и обнищавшей деревней. Колхозный базар превратился в то, что на Западе называют «блошиным рынком», и в центр неприкрытой

спекуляции. Здесь сбывали свою добычу бесчисленные воры и мошенники, присосавшиеся к государственным закромам. Здесь же жены высокопоставленных партийных боссов сбывали по рыночным ценам излишки продовольствия, обуви, одежды, которые они получали в изобилии по государственным ценам (а часто и бесплатно) на всевозможных закрытых базах, складах, в столовых, швейных и обувных ателье. Спекулянт — партийный и беспартийный — все больше вытеснял крестьянина с колхозного рынка.

Конечно, официально эта спекуляция была строго запрещена. По базарам шатались милиционеры и переодетые в штатское работники органов госбезопасности. Время от времени они хватали какую-нибудь несчастную женщину, продававшую свое старое пальто или менявшую полученные ею по карточкам селедки на кусочек масла для ребенка. Но прекратить настоящую спекуляцию они, конечно, не могли, да власти и не стремились серьезно к этому. Черный рынок стал жизненной необходимостью и для простого народа, и для партийной элиты. Как же иначе сбывать излишек получаемых от государства продуктов и наживаться?

Когда я начала гулять с ребенком во дворе нашего дома, то первым, что бросилось мне в глаза — очевидно, по контрасту с тем, что я видела в Казани, — были разжиревшие, самодовольные, богато, но безвкусно одетые дамы, гулявшие со своими хорошо выкормленными, даже пресыщенными, тоже очень нарядно одетыми детьми. Это были жены той новой партийной элиты, которая заселила Дом Правительства после сталинского истребления старых кадров. Настроение у всех них было радостное, лица — спокойные и довольные, как будто миллионы людей не гибли на фронтах и в лагерях, как будто весь народ в тылу не изнывал под неподъемным грузом военных тягот.

Каюсь, грешница, и я в первое время выходила на рынок, чтобы продать что-нибудь из вещей и купить немного масла, сахара, яиц для сына. Впрочем, вскоре необходимость в этом для меня отпала. Я увидела, что по тем же ценам я могу покупать все, что мне нужно, и не выходя из дома, у моих знатных соседок.

Познакомившись позже с некоторыми из них, я увидела, что, действительно, война была для них счастливым временем, временем полного изобилия и неслыханного обогащения. Даже в эвакуации, в глубоком тылу, где народ жил на грани голодной смерти, партийная элита снабжалась очень широко и недостатка ни в чем не знала. Они имели и некоторые излишки для продажи на стороне. В Москве же широко разработанная система закрытого, привилегированного государственного снабжения и колоссальный разрыв между ценами государственными и рыночными открыли перед ними невиданные возможности обогащения. И они эти возможности полностью использовали.

Кремлевская столовая, филиал которой имелся и в нашем доме, снабжала их не только изысканными и обильными обедами и ужинами, но и всякими «пайками», в которые входили всевозможные деликатесы, фрукты и т. п. А кроме того, существовали многочисленные закрытые базы и склады, с которых по специальным заборным книжкам отпускались в изобилии всякие продукты, одежда, обувь. Отпускались бесплатно или по государственным ценам, которые стали почти символическими. Открылись для них всякие швейные и обувные ателье, где по тем же почти символическим ценам они получали дорогие меха, импортные ткани, изысканную модельную обувь и одежду. А еще поступали ящиками фрукты из Средней Азии, вина и коньяки с Кавказа и прочие подношения местных сатрапов высшим начальникам. И наконец — last, but not least, — огромные возможности открывал грабеж побежденной Германии, поток так называемых

«трофеев». По легальным и нелегальным путям, в контейнерах, ящиках и чемоданах поступали предметы невиданной в СССР роскоши: драгоценности, рояли, мебель, фотоаппараты и радиоприемники, ковры, фарфор... В большом количестве ввозили нейлоновые чулки и белье, которых тогда в Союзе еще и не видели. Этот поток трофеев частично попадал в лапы жуликов и спекулянтов, но в очень большой своей части он оседал в квартирах высокопоставленных коммунистов всех рангов.

Очень большая часть всех полученных разными путями продуктов и товаров превращалась в деньги, а затем в твердые ценности; золото и драгоценные камни, антикварную мебель, персидские ковры. Все шло по классической формуле Карла Маркса: «Товар — деньги — товар». Недаром же все они были «образованными марксистами».

Продуктами дамы из нашего дома спекулировали на двух близлежащих колхозных рынках. Конечно, они не ходили туда сами и даже своих работниц остерегались вовлекать в свою спекулятивную деятельность. Посредницами между ними и рынками были, главным образом, молодые женщины и девушки, служившие в пожарных командах. Эти женщины несли круглосуточное дежурство, после которого они были три дня свободны. В эти дни они и выполняли поручения своих знатных хозяек. Любопытно, что милиция и агенты «органов» никогда этих посредниц не трогали. Они торговали широко и систематически и, конечно, не могли остаться незамеченными. Но блюстители закона отлично знали, на кого те работают, и прекрасно понимали, чем грозит им самим проявленное не в меру служебное усердие.

Предметы более дорогие — меха, платье, обувь — реализовали не на колхозном базаре, а через подпольных скупщиц, которых знала вся Москва и у которых всегда можно было найти все, что угодно. А для боль-

шего удобства к концу войны открылось много государственных комиссионных магазинов, где по сумасшедшим ценам продавались предметы антиквариата, изысканный фарфор, картины, ковры и т. п. Как-то из любопытства я заглянула в один из таких магазинов и увидела там очаровательный старинный столик с доской из малахита. Цена его составляла двухгодичное, а может быть, и трехгодичное жалование моего мужа-профессора. Были же, значит, люди, продававшие и покупавшие такие вещи. А для сбыта и покупки золота, драгоценностей, валюты были другие, подпольные, но достаточно надежные каналы.

Спекулировали в нашем доме почти все, за исключением разве семьи Шверника, будущего Председателя Верховного Совета, Красиковой, Савельевой, Стасовой, Беленьких и еще нескольких уцелевших старых большевиков. Не спекулировали и семьи случайно оказавшихся в доме интеллигентов: академика Тарле, профессора Парина...

Но новой знатью, людьми сталинской породы, бес наживы овладел почти поголовно, и эта страсть к наживе сразу бросилась мне в глаза как самая яркая черта различия между ними и прежним поколением большевиков, среди которых прошла моя молодость. И в годы Великого Голода высокопоставленные старые большевики жили широко и привольно, не терзаясь мыслями о страданиях народа, погибавшего от созданного их партией голода. Но стремления к наживе, к накоплению ценностей у них не было, и продуктами, которые они получали, они не спекулировали. «Новым» же, а особенно их женам, нужна была не только широкая и изобильная жизнь. Им нужно было наживать капитал и накапливать ценности.

Они покупали, например, во всяких закрытых мастерских по много пар модных в то время высоких дамских сапог, платили за них по 57 р. за пару, а продавали по цене в полторы-две тысячи рублей. Это,

впрочем, еще мелочь. Я обратила внимание на то, что у каждой из этих дам, как по стандарту, имелись две меховые шубы — котиковая и каракулевая. А кто познатнее или пожаднее — обзаводился и третьей, норковой. Я спросила как-то одну из своих новых знакомых, как все это добывается. «Очень просто, — спокойно разъяснила мне она, — мы получаем по две шубы с базы, одну продаем, а другая остается нам, да еще с прибылью».

Иногда кое-кто из них терял чувство меры и начинал «брать не по чину». Чтобы замять скандал, приходилось его в назидание остальным наказывать. Такие случаи, впрочем, бывали редки, и мне запомнилась только одна такая история.

Жил в нашем доме известный герой-полярник Петр Ширшов. Неизвестно за какие заслуги его назначили министром — не то авиационной промышленности, не то речного транспорта, не помню, но это значения особого не имеет. Все равно ни в авиационной промышленности, ни в речном транспорте он ничего не понимал, да это и не требуется от коммуниста-руководителя. И жила в Москве прехорошенькая молодая киноартистка Гаркуша, особа весьма предприимчивая и решительная. Выбрав подходящий момент, она бросилась под колеса машины, на которой министр Ширшов выезжал со двора. Особого риска в этом не было: машина шла почти шагом, а шофер у министра был опытный и осторожный.

Стратегический замысел удался. Ширшов, как истый джентльмен, вышел из машины, поднял и усадил туда свою хорошенькую жертву и отвез ее в Кремлевскую поликлинику. Там врач не нашел ничего, кроме легких ушибов, и отпустил «жертву автомобильной катастрофы» домой. Но знакомство состоялось и вскоре благополучно завершилось законным браком, а в положенный срок и рождением прелестной девочки. Говорили, что Ширшову пришлось для этого раз-

вестись с женой, от которой у него было двое детей. Не уверена, что это так, но значения это не имеет. Через что не перешагнет человек, обуреваемый страстью.

Дорвавшись до *dolce vita*, Гаркуша пустилась во все тяжкие и хватила через край. Просто спекулировать продуктами — это было для нее недостаточно. Она занялась и делами покрупнее. Получила, например, из разных мастерских крупную партию (говорили, 70 пар) модной дамской обуви и сбывла ее через комиссионные магазины. Получала с государственных складов старинную мебель, люстры, дорогие меха, предметы антиквариата и превращала все это в драгоценности.

Размах спекуляций жены министра принял скандальные формы и вышел даже за весьма широкие рамки допустимого для знатных коммунистов. В наказание другим ее арестовали и посадили на 8 лет в лагерь, где она, кажется, погибла. Ширшова сняли с поста министра. Очень жалела я только маленькую бегавшую по дворам золотоволосую девочку, которая осталась без мамы.

Спекуляцию в нашем доме эта расправа, впрочем, не остановила. Жадность овладела бесповоротно, и спекуляция продолжалась. Разве лишь стали поосторожнее, спекулировали с большей оглядкой. Спекулировали по-крупному, но не брезговали и мелочами. Жил, например, в нашем доме генерал-лейтенант Красильников, занимавший какой-то очень важный пост в интендантском управлении Советской Армии. Помнится мне, что был он заместителем начальника этого управления. Его жена, как и все знатные жены, конечно, спекулировала продуктами, которые интендантский генерал получал в изобилии. Я сама иногда покупала у нее продукты и картофель. Цены она брала такие же, как на рынке, но мне это было все же удобнее, не нужно было таскать картофель с рынка.

Подошло Рождество и Новый Год. Нам очень хотелось украсить елку для ребенка. Вырос он в военные годы и хоть голода не знал, но шоколада, пирожных, игрушек не видел. Хотелось устроить ему первый праздник в его короткой жизни, и мы собрались на рынок купить маленькую елочку. В это время генерал Красильников отправил двоих своих адъютантов в лес срубить елку для него. Такие порубки, замечу, простым смертным были строго запрещены и сурово карались. Адъютанты перестарались и привезли два огромных дерева, которые и в комнату внести нельзя было. Одно из них, побольше, было тут же продано, а с другого пришлось спилить верхушку. И вот эту верхушку елки, незаконно срубленной в государственном лесу, я и приобрела по спекулятивной цене у генерала Советской Армии, заслуженного члена коммунистической партии. Купила в годы Великой Отечественной Войны.

Порывшись в памяти, я могла бы рассказать еще и много других таких же историй. Но к чему? Я ограничусь рассказом о жизни и нравах только одной чрезвычайно высокопоставленной семьи, с которой по случайному стечению обстоятельств мне пришлось познакомиться несколько ближе. Это семья Николая Байбакова, который позже стал человеком № 2 в советском правительстве, заместителем премьер-министра и председателем Госплана. Он занимает эти посты по сей день.

В ту пору, когда я с этой семьей познакомилась, Байбаков был еще очень молод, но карьера его уже начала складываться необычайно успешно: в 32 года он уже был министром союзного правительства. Еще учась в Нефтяном институте, Байбаков стал там секретарем комсомольской (а может быть, партийной) организации. Во всяком случае он сумел завязать нужные связи в партийных кругах и попал в списки молодых, намеченных к выдвижению коммунистов. По какому

принципу такие списки составлялись, понять невозможно. Вероятно, просто «рыбак рыбака чует изда-лека». Кто-то наверху почуял, что Байбаков — чело-век их породы. Не успел Байбаков поработать какое-то очень короткое время инженером на нефтяных про-мыслах, как его вызвали в Москву и сразу назначили заместителем, а через короткое время и министром нефтяной промышленности. На этом посту он и нахо-дился в 1945 г., когда я познакомилась с его женой Клавдией.

Наше знакомство началось на «деловой» почве: время от времени я покупала у нее (по рыночным це-нам, конечно) немного сахара, масла, яиц для ребенка. Позже нам довелось познакомиться несколько ближе. Через год, когда моему сыну было 5 лет, я организо-вала «прогулочную группу» из шести детей того же возраста, живших в нашем доме, и подыскала для этой группы воспитательницу, девушку, окончившую Институт иностранных языков в Москве и не нашед-шую себе работы в военное время. Мы с мужем всегда считали, что детей нужно начать обучать иностран-ным языкам в самом раннем возрасте, когда они осва-ивают устную речь и произношение значительно легче, чем позже. Воспитательница гуляла с детьми часа два-три в день, играла с ними часа два поочередно в одной из квартир и помаленьку приучила их к английской речи. В эту группу детей входил и Павел Литвинов, внук многолетнего наркома иностранных дел, — в бу-дущем известный диссидент.

Узнав об этой группе, Клавдия Байбакова попро-сила меня включить в нее и ее дочь Таню, ровесницу моего сына. На этой почве и состоялось наше более близкое знакомство, которое прояснило мне многое в нравах и психологии этой среды.

Меня поразили не роскошь и изобилие, в котором жила в эти военные и послевоенные годы семья ком-муниста-министра. К этому я привыкла. Конечно,

кроме огромной пятикомнатной квартиры в Доме Правительства, в которой жили Байбаковы с двумя детьми, у них имелась и чудесная правительственная загородная дача — дом в 13 комнат с огромным садом. Конечно, в городе имелась кухарка и няня маленького сына, а кроме того, жила в доме родственница Байбакова тетя Поля, исполнявшая обязанности экономки и воспитывавшая Таню. А на даче, полностью обставленной всей казенной мебелью и утварью, была еще одна кухарка, горничная и садовник. Он же ухаживал за имевшейся на даче коровой-рекордисткой, доставленной из племенного питомника. Для питания коровы была построена небольшая силосная башня. Садовник доил корову и сбивал масло на имевшемся сепараторе (тоже казенном, конечно). А масло это сбывалось по диким ценам на черном рынке.

Конечно, имелись две машины с шоферами: одна обслуживала министра, другая — его семью. Конечно, пользовались Кремлевской столовой и всевозможными закрытыми базами снабжения. Конечно, как сказала мне Клавдия, ее муж получал жалованья 27 тысяч рублей в месяц, что превышало заработную плату профессора раз в шесть-семь, а заработную плату инженера, врача, квалифицированного рабочего раз в 20-25. Конечно, кроме того, Байбаков получал и «конверт». Нужно пояснить, что это такое. Так как поднимать неограниченно заработную плату партийных боссов было неудобно, то был найден другой остроумный выход. Все ответственные коммунисты получали каждый месяц, кроме своей заработной платы, размер которой нельзя было держать в секрете, еще и закрытый конверт с деньгами. Сколько там было денег, по каким тайным спискам и из каких фондов эти добавки распределялись — этого никто из простых людей не знал. Да и само существование «конвертов» было секретом — впрочем, секретом полишинеля. О них знали и о них говорили все. Конечно, Байбакова, как

и все прочие знатные жены, вела отчаянную спекуляцию продуктами. Все это меня не удивило. Все это было обычно для среды партийной элиты, населявшей Дом Правительства.

То новое, что я увидела, познакомившись ближе с Байбаковыми, и что глубоко потрясло меня, — это была беспредельная жадность, бесчувственность и эгоизм людей из этой среды. В одном подъезде с нами, двумя этажами выше, поселился во время войны известный советский физиолог, профессор Парин, занимавший важные посты в руководстве Академии медицинских наук. В 1947 г. его послали в США, где он должен был прочесть несколько лекций в американских университетах и наладить связи между советской и американской медицинской наукой. Большую часть гонораров, полученных за эти лекции, он с разрешения посла истратил на оборудование для своей лаборатории в Университете, но это не избавило его от горькой участи: в первую ночь по приезде он был арестован и обвинен в выдаче американцам каких-то важных секретов. По-видимому, в основе этого обвинения лежало то, что в своих лекциях он упоминал о тогдашней московской сенсации — очередном «открытии» радикального средства лечения рака. Открытие это якобы было сделано профессорами Роскиным и Ключевой. (Их работы носили чисто научный характер, и в шумихе, поднятой вокруг них, они сами не были виноваты.) Профессоров не арестовали, но все же судили так называемым «судом чести», т. е. публично ошельмовали на многолюдном собрании научных работников и заклеили позором как «космополитов». В вину им ставилось то, что они опубликовали свои результаты в открытой печати и даже, кажется, за рубежом.

А речь-то шла не о новом смертоносном оружии, а о новом методе лечения рака! Так или иначе, профессора отделались неприятностями, а бедняге Парину

пришлось отсидеть во Владимирской тюрьме до самой смерти Сталина. Только хрущевская реабилитация вернула его снова в партию и на высокие посты в Академии.

С женой Парина Ниной я была до ареста ее мужа просто знакома. С Байбаковой же Нина Парина была приятельницей. Они жили вместе в эвакуации и родили своих младших сыновей в одном родильном доме и в одно время. Само собой разумеется, что когда Парина арестовали, а Нина осталась без всяких средств к существованию с четырьмя детьми, то Байбакова, как и все партийные дамы нашего дома, от нее отвернулась и даже при встрече не здоровалась. Мы же, беспартийные, старались проявить к ней максимум внимания, как-то подбодрить ее и помочь, чем могли.

Однажды Нина Парина попросила меня отнести Клавдии нейлоновое белье и чулки, которые ей привез муж из США, и обменять это на масло и сахар для маленького Алеши. Я пошла с этим «товаром» к Байбаковой, у которой глаза загорелись при виде этих заграничных тряпок, бывших в то время в Москве новинкой. Начался длительный меновый торг. Посмотрели бы вы, как упорно, с какой жадностью торговалась эта жена министра (и сама — коммунистка) за каждые 100 грамм масла для голодного ребенка ее вчерашней приятельницы. В конце, закончив переговоры, я сказала ей: «Вы бы хоть десяток яиц дали для маленького Алеши. Он так любит их и плачет, потому что Нина не может дать их ему». Нехотя, она отсчитала мне десяток яиц, но какой жадностью горели при этом ее глаза.

Как-то раз, не выдержав, я прямо спросила ее: «Зачем вы так спекулируете? Зачем вам это? Ведь у вас и так все есть». — «Вы не понимаете нашего положения, — разъяснила мне Клавдия. — Ваш муж профессор сегодня и будет профессором завтра. Вы можете быть спокойны. А мы... мы калифы на час.

Сегодня мой муж — министр, и у нас есть все, а завтра он может прийти в министерство и увидеть, что от него все отворачиваются. А придя к себе в кабинет, он прочтет в газете о том, что он уже не министр, что он — никто. Пока у нас есть возможность, я хочу обеспечить себя и семью... От хорошей жизни к плохой переходить очень трудно».

Байбакова «минула чаша сия». Судьба, хоть и не без некоторых срывов и понижений, вознесла его на вершину советской иерархии. Но слова Клавдии прояснили мне очень многое в психологии всего сталинского племени. Как бы высоко ни возносила их судьба, их всегда терзала тревога и неуверенность в своем положении. Они в глубине души ощущали всю эфемерность, случайность, внутреннюю необоснованность своего возвышения. Завтра такая же случайность, какая вознесла их, могла их и сбросить. Принципов и идеалов уже не было никаких, и все это порождало психологию «калифов на час»: Хоть день, да мой! Рви сегодня, что можно! Неизвестно, что будет завтра!

И рвали, рвали безрассудно, оголтело, без оглядки и укоров совести. Как-то раз Клавдия Байбакова позвонила мне по телефону и пожаловалась: «Ах, у нас такие неприятности: треснула дека на рояле». — «Да как же это случилось?» — «Видите ли, мы не знали, что нельзя ставить рояль у батарей центрального отопления. Вот дека и треснула». — «Ничего, — пыталась я ее утешить. — Отошлите рояль в мастерскую, там деку заменят новой». — «Что вы, что вы, — всполошилась Клавдия. — Разве вы не заметили, что у нас в гостиной концертный рояль Стейнвей, привезенный из Германии? К нему здесь деку не заметить».

Концертный Стейнвей? Для кого и для чего? В это время роялей не хватало в Московской консерватории, и студенты часами ждали своей очереди поработать. Не хватало роялей для провинциальных театров,

концертных зал, рабочих клубов. А уж о Стейнвее не могли мечтать и самые выдающиеся музыканты. Когда много лет спустя Мстислав Ростропович, вернувшись из своего триумфального зарубежного турне, привез рояль Стейнвей в подарок своему другу, композитору Шостаковичу, это было сенсацией и радостью для всей музыкальной и театральной Москвы. А тут «трофейный» Стейнвей стоит на квартире коммунистического министра только для мебели и для того, чтобы на нем могла бренчать одним пальчиком шестилетняя Таня. И никого это не смущает, ни в ком не вызывает осуждения и протеста.

В другой раз как-то весной 1947 г. Клавдия зашла ко мне, чтобы вернуть мне деньги, которые я заплатила за нее воспитательнице наших детей. На следующий день она собиралась уехать на все лето с детьми и няней в правительственный санаторий на Кавказе. «Ну, — сказала она довольно, — все в порядке. Салон-вагон уже пригнали, и он стоит на путях». — «Какой салон-вагон? — спросила я. — Разве ваш муж тоже едет?» — «Нет, едем только мы, ну и, конечно, проводники, повар, охрана». Я не выдержала: «Неужели вам не совестно гнать через всю страну тяжелый салон-вагон для себя с детьми и няней? Ведь сейчас еще (время было послевоенное) тысячи людей с маленькими детьми по много суток валяются на всех железнодорожных станциях в ожидании возможности добраться домой. Ведь прицепка к составу вашего салон-вагона означает, что не будут прицеплены один или два пассажирских вагона и еще несколько сот истомленных людей не смогут уехать. Неужели вы не могли ограничиться отдельным купе в мягком вагоне?» — «Ну и что же? — улыбнулась Клавдия. — Ведь мы калифы на час. Почему мне не использовать сегодня свои возможности?»

Были дела и покрупнее. Как-то Байбаковы уехали на несколько недель в Чехословакию, подлечиться в

Карловых Варах. Тогда такие поездки были очень модны среди наших знатных дам. Наживались они на этих поездках основательно, да и хотелось взглянуть хоть одним глазком на «почти буржуазный» мир. Когда Клавдия вернулась, мне позвонила Евгения Аллилуева и сказала: «Пойди, погляди на Клавдию. Она вся осыпана кольцами, браслетами, серьгами. И, верь мне, это не чехословацкая стеклянная бижутерия, а настоящие камни». Я зашла к Клавдии и обомлела: она гремела драгоценностями. «Это бижутерия?» — спросила я. — «Что вы, это подлинное». — «Как же вы все это раздобыли?» — «А это нужно уметь», — загадочно улыбнулась жена министра.

Я хотела рассказать здесь только о том, что я видела и слышала сама, с чем сталкивалась повседневно, живя в Доме Правительства. Именно поэтому в моих рассказах фигурируют почти исключительно женщины, жены сильных мира сего, и почти ничего не говорится об их мужьях. Это искажает перспективу. Конечно, главную ответственность за весь этот разгул спекуляции, за все разложение, несут именно мужья, управители советского государства. Именно они, в чьих руках находятся все материальные ценности, созданные трудом народа, именно они построили всю систему закрытого, привилегированного снабжения. Они создавали все эти столовые, базы, склады, ателье, санатории и заботились о регулярном и изобильном снабжении их продуктами и товарами. А потом, конечно, им легко было передать в руки жен «черную» работу по реализации излишков и, блюдя чистоту своих партийных риз, делать вид, что они ничего не знают о спекулятивной деятельности своих жен. Это тоже ложь и лицемерие. Не мог Байбаков не знать о деятельности Клавдии, как не могли не знать все прочие высокопоставленные деятели о спекуляциях, которыми занимались их жены. Произошло естественное «разделение труда»: мужья грабили и обеспечивали по-

ступление добычи, жены реализовали эту добычу на черном рынке.

Те разрозненные эпизоды и случаи, которые я описала как очевидец, дают, как мне кажется, достаточно ясную картину стиля жизни и нравов той части партийной элиты, которая жила в Доме Правительства. Но это была малая часть страшно разросшегося нового правящего класса. Те же нравы и то же глубочайшее разложение характеризовало все высшие эшелоны партии, независимо от того, где эти люди жили. Этот процесс шел не только в центре, в Москве. Рыба, загнив с головы, сгнила до самого хвоста. Повсюду: в союзных республиках, в областях и районах — складывались сплоченные кружки местных правителей, раболепно покорных вышестоящим и извлекающих для себя всевозможные льготы и привилегии. Конечно, в иерархической советской системе каждому воздается по чину его, и масштаб хищений в провинции в среднем, вероятно, меньше, чем на самом верху. Но моральный и культурный уровень всей сталинской «породы» коммунистов был во всей стране одинаков.

Мне довелось познакомиться с уровнем и стилем жизни директора одного из подмосковных совхозов — члена райкома партии. Я могу заверить читателей, что его уровень жизни был значительно выше уровня жизни средней руки помещика, а жилось «его» работникам гораздо хуже, чем крепостным, имевшим все же свой кусок земли, свою лошадь и корову. Да и в промышленности, я думаю, разрыв между уровнем жизни рабочего и уровнем жизни директора или крупного чиновника был не меньше, а значительно больше, чем до революции. Не говорю уже о том стиле беспардонного хамства, который установился на советских предприятиях. Старые инженеры, работавшие на частных предприятиях, уверяли меня, что владелец завода, который вздумал бы в прежние времена разговаривать со своими инженерами и рабочими так, как это делает

советский директор, получил бы по физиономии от инженеров и был бы вывезен с завода на тачке рабочими. Социалистическая революция в СССР не уменьшила разрыв между различными социальными группами и неравенство между ними, а многократно усилила их. Да иначе и быть не могло. Это имманентно самой природе социализма.

Я не могу окончить эту часть моих воспоминаний, не рассказав о самом чудовищном по своему цинизму проявлении того безграничного себялюбия, которым была проникнута вся среда новой знати. Работавшая в нашем подъезде женщина-вахтер получила извещение о том, что сын ее погиб на фронте — погиб 8 мая, в последний день войны. Она сидела у своего стола в вестибюле и горько рыдала, когда я спустилась вниз в лифте. Я подошла к ней и, узнав, о чем она плачет, постаралась, как могла, утешить ее, хоть всплакнуть с ней вместе. Подошла к нам одна из наших высокопоставленных дам и сказала: «Ну, что ты плачешь? Война, всем тяжело. Ты подумай, каково нам-то теперь будет. Кончится война, отменят все карточки, установят единые цены. Как мы жить-то будем?».

Конечно, баба эта была не только самым омерзительным созданием, какое мне приходилось видеть, но и совершенной дурой. Другие были умнее и такой циничной откровенности себе не позволяли. Но пренебрежение страданиями простого народа, беспредельный эгоизм, сосредоточение всех интересов на заботах о собственном благополучии — это и было доминантой во взглядах и психологии всей этой среды. Жен и мужей. Да у последних еще и ничем не сдерживаемая жажда власти.

ШАТУНОВСКАЯ (ТУМЕРМАН) Лидия — театровед. Родилась в 1906 г. в Одессе. Училась и работала в Москве с 1922 г. Окончила Государственный институт театрального искусства. Работала в качестве театрального критика в советских театральных журналах. Была литературным редактором в различных издательствах. В конце 1947 г. арестована органами МГБ по делу Аллилуевых— Михоэлса и приговорена «тройкой» к 20 годам тюрьмы за «измену Родине». Освобождена в 1954 г. после семи лет одиночного заключения в условиях полной изоляции от внешнего мира, без права свиданий, переписки и получения помощи. Выехала из СССР в конце 1972 г. Живет в Израиле.

10 февраля 1980 года, на 79-м году жизни, после продолжительной болезни скончался

Георгий Сергеевич ОКОЛОВИЧ

— один из крупнейших руководителей Народно-Трудового Союза российских солидаристов.

Всю свою жизнь посвятил он борьбе с коммунистическими поработителями России. Семнадцатилетним, он участвовал в Белом движении, а в эмиграции — стал одним из создателей НТС. В конце 30-х годов нелегально перешел границу СССР и шесть месяцев пробыл в России, доказав практическую возможность ведения там подпольной работы, организацию которой он и возглавил. Во время войны руководил работой НТС на оккупированной немцами территории. Как и многие другие члены НТС, был схвачен нацистами и заключен в тюрьму (где пробыл год). После войны был четыре года председателем Исполнительного Бюро НТС, многие годы был членом Совета НТС и Исполбюро, руководил издательством «Посев».

Редакция и сотрудники «Континента» выражают глубокое соболезнование вдове и всем друзьям покойного.

«ЛАГЕРЯ ПРИДУМАЛ ФРЕНКЕЛЬ»

Так пишет А. И. Солженицын в «Архипелаге ГУЛаг»: «На Архипелаге живет упорная легенда, что 'лагеря придумал Френкель'». Теперь это имя знакомо миллионам читателей книги. Мне довелось дважды видеть Френкеля и много раз слышать за стеной его покашливание и шаркающую походку. Но прежде, чем рассказать об этом, хочу напомнить, что пишет о Френкеле Солженицын.

Еще до революции Френкель стал миллионером, «лесным королем Черного моря», у него были свои пароходы и даже своя газета «Копейка». В семнадцатом году он уехал в Константинополь, где родился, а в годы нэпа приехал в СССР, где по поручению ГПУ создал как бы от себя черную биржу для скупки ценностей и золота за советские бумажные рубли. Знавшие его по прежним временам дельцы и маклеры доверяли ему, и золото стекалось в ГПУ. Когда скупка кончилась, ГПУ в благодарность посадила Френкеля. Привезенный в двадцать восьмом году на Соловки, он становится начальником экономической части лагеря и высказывает свой знаменитый тезис о максимальном использовании труда заключенного в первые три месяца. В двадцать девятом за Френкелем прилетает из Москвы самолет и увозит на свидание к Сталину. Лучший друг заключенных и чекистов беседует с Френкелем три часа, в течение которых Френкель рисует ослепительные перспективы построения социализма через труд заключенных. О предложенной Френкелем системе Солженицын говорит, что она была заимствована у эскимосов: держать рыбу на шесте перед бегущими собаками. В эту систему входила хлебная шкала, шкала приварка, зачеты и досрочное освобожд-

дение как награда за хорошую работу. Френкеля назначают на специально для него придуманный пост начальника работ Беломорстроя — фактически главного надсмотрщика. К началу работ Френкеля освобождают, а после окончания стройки дают ему орден Ленина и переводят на строительство БАМа — Байкало-Амурской магистрали, которая тогда называлась БАМЛагом.

В тридцать седьмом в должности начальника БАМЛага и в чине генерала НКВД Френкель был снова посажен на уже знакомую ему Лубянку. И опять его изобретательность понадобилась Сталину: началась неудачливая война с Финляндией, и Френкелю поручили строительство железных дорог в Карелии. Это был взлет его карьеры: Френкель стал тогда во главе новой эзковской империи, нового автономного архипелага, созданного по его же предложению и названного ГУЛЖДС — Главным Управлением Лагерьей Железнодорожного Строительства.

Я увидел Френкеля много позже, в последние годы его жизни, о которых и хочу рассказать. В доме № 12 по 2-му Обыденскому переулку в Москве его называли всегда по имени и отчеству: Нафталий Аронович. Все знали, что он генерал НКВД в отставке, что он никогда не выходит из дома, хотя не болен, а домочадцам было известно, что даже из своей комнаты он выходит только в ванную и уборную, что в разговоры ни с кем не вступает и сообщает своей жене Анне Павловне лишь самое необходимое, что никому не звонит по телефону, не подходит, если звонят ему, и что, кроме жены, в его комнату входить никому не разрешается.

Это была типичная квартира дореволюционного доходного дома в центре старой Москвы. Революция поменяла в этих домах хозяев — одни сбежали на запад сами, других увезли на восток без спроса. Квартиры превратили в коммуналки, предварительно кон-

фисковав вещи бывших жильцов: в шесть комнат вселяли шесть семей. ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МВД-МГБ-КГБ тоже отдавало квартиры «бывших» своим нынешним сотрудникам, но в старой, дореволюционной пропорции — одну квартиру одной семье, отдавало с мебелью, вещами, бронзовыми люстрами и часами с боем. Одну из таких квартир и получил Нафталий Аронович Френкель.

Во время летнего отдыха на Рижском взморье — это было через три месяца после смерти Сталина — я познакомился со студентом из Москвы, от которого и услышал впервые фамилию Френкеля. Новый знакомый рассказал мне о том, что собирается жениться на женщине, у которой есть ребенок и которая старше его на восемь лет. Ее отец — ответственный сотрудник Президиума Верховного Совета СССР — был репрессирован и бесследно исчез в годы великой чистки. Мать, не имевшая профессии и оставшаяся с маленькой дочкой без средств к существованию, вышла замуж за Френкеля, правда, свой брак с ней не зарегистрировавшего. Через несколько лет у них родился сын. После войны дочь вышла замуж за атташе югославского посольства в Москве, у них был сын, которого Френкель считал внуком, несмотря на то что против брака с иностранцем возражал категорически. После того как Сталин отлучил Югославию от коммунизма, атташе вместе с посольством уехал, а его жена с сыном осталась в Москве. Не последнюю роль в этом решении сыграл Френкель — отъезд дочери его жены за рубеж мог в лучшем случае сильно повредить его карьере. В худшем... он слишком хорошо знал и не раз испытывал на собственной шкуре, что бывает в худшем случае. Френкель запретил своей названной дочери приезжать в его дом, но разрешил жене время от времени навещать ее и отвозить ей и внуку продукты. Запрет был снят после смерти Сталина. А к тому времени, когда дочь его жены вышла замуж за моего

нового знакомого, состоялось примирение Хрущева с Тито, и Френкель дал молодоженам комнату в своей квартире, соседнюю с той, где жил сам.

Это была эпоха посмертных и прижизненных реабилитаций. Ждал своего отца из лагеря мой знакомый. Я встретил только что освобожденного человека, рассказавшего, что в 1939 году он мельком видел в коридоре Лефортовской тюрьмы в Москве моего дядю. Это была ошибка конвоиров: когда из камеры выводили заключенного, двери всех других камер оставались закрытыми во избежание непредусмотренных встреч. В день, когда он мне рассказал это, я зашел в квартиру Френкеля к моим знакомым, и они попросили: если захочешь выйти из комнаты, предупреди — Нафталий Аронович не хочет ни с кем встречаться в коридоре. Тогда я впервые подумал о странном совпадении порядков.

Мы галдели, рассказывали анекдоты, пили вино, и я спросил, не мешаем ли Нафталию Ароновичу. Мне ответили: нет, он любит слушать наши разговоры за стеной, знает имена присутствующих, узнает их по голосам, но ни в коем случае не хочет, чтобы его кто-нибудь увидел. Всего дважды я случайно встретился с ним в передней. Успел заметить генеральский китель со споротыми погонами, маленького роста человека с короткой стрижкой и маленькими, под самым носом, седыми усами.

Через короткое время я услышал о большом событии в доме Френкеля: Нафталий Аронович разрешил отметить его семидесятилетие и пригласить родных (у него самого родных — во всяком случае, в Москве — не было, и были приглашены родственники его жены и жены их сына) и бывших сослуживцев. Вино текло рекой. Икру ели ложками. Приглашенные на торжество бывшие руководители Беломорканала и иных замечательных строек тридцатых-сороковых годов, к тому времени тоже пенсионеры, славили в тос-

тах организаторский талант и выдающиеся инженерные способности юбиляра, надевшего все подобающие случаю ордена и регалии. Только одна речь прозвучала маленьким диссонансом: бывший юрисконсульт Беломоро-Балтийского канала имени Сталина в какой-то связи сказал, что, мол, и у нас рыло в пуху, и мы в свое время дров наломали. На это не обратили внимания, как не реагируют в хорошем обществе на неудачную шутку. Кроме того, все понимали, что юрисконсульт не столько кается, сколько отдает дань времени: только что прошел XX съезд, и ему казалось, что таким путем он продолжает идти в ногу с партией.

А еще через несколько месяцев я пришел к подъезду дома № 12 по 2-му Обыденскому переулку, чтобы присутствовать при выносе тела генерал-лейтенанта Френкеля. Духовой военный оркестр играл похоронный марш. На красных подушечках лежали многочисленные ордена и медали. Не слишком многочисленная процессия направилась к крематорию на территории бывшего Донского монастыря. Конечно, я не знал тогда, кого хороню. Образ, созданный родственниками, не вызывал сомнений: талантливый организатор, блестящий инженер, заслуги которого перед родиной, особенно в годы войны, были велики. Он прокладывал железные дороги в непроходимых местах, брался за то, от чего отказывались другие, инженер и организатор, для которого в его деле не существовало невозможного.

Прошло много лет, и вдруг — солженицынский «Архипелаг ГУЛаг». А в нем Френкель — «нерв архипелага», «неутомимый и необидчивый». Он яростно проводит в жизнь свой знаменитый тезис об использовании заключенного в первые три месяца, проводит не только на Беломорканале и Байкало-Амурской магистрали, но и на строительстве железных дорог в Сибири и Карелии, вдоль иранской границы и Волги,

от Салехарда до Игарки, от Тайшета до Братска. Солженицын называет Френкеля человеком «выдающихся способностей не только в коммерции и организации». Многократно арестованный, Френкель сумел выжить благодаря адскому дару: умению заставить заключенных за пайку гнилого хлеба и миску тухлой баланды день и ночь до полного изнеможения работать на своих тюремщиков.

Главу о Френкеле Солженицын заканчивает фразой: «Мне представляется, что он ненавидел эту страну». Наверное, это было так. Да и за что ему было любить ее? Человек его знаний и размаха, трудолюбия и таланта в других условиях и в другой стране осуществил бы иные свои возможности, стал бы, видимо, бизнесменом мирового масштаба. А удалось ему лишь подняться по служебной лестнице чуть выше палачей, чтобы, руководя ими и постоянно боясь опять попасть в их руки, выжить самому. Боясь всегда. Ежечасно. Ежедневно. Неделя за неделей. Год за годом. Он боялся этой страны. Мог ли он любить ее? Страхом были пропитаны последние годы его жизни так же, как и предыдущие.

Когда умер Сталин, Френкель стал искать повод отойти от дел. Он боялся своего покровителя, как неверный пес жестокого хозяина, но еще страшнее ему стало, когда хозяина не стало, — грехи Сталина вполне могли свалить на его псов.

Чутье подсказывало и другое. Последние евреи изгонялись из «органов». Евреи сделали свое дело и больше не были нужны. Даже самые преданные. Даже самые жестокие. Френкель боялся. У него было поразительное чувство самосохранения. И он нашел выход. При очередной раздаче орденов он сделал вид, будто обиделся, что ему дали меньший орден, чем тот, которого он заслуживал. Это был подходящий повод, позволявший уйти «красиво». И Френкель подал в отставку. Ее приняли.

Но и после этого страх не оставлял его. Он боялся стука в дверь, незнакомых людей, нового врача, мужа дочери своей жены и самой этой дочери. После смерти Френкеля страх передался членам его семьи. «Архипелаг ГУЛаг» читали по «Голосу Америки», Би-Би-Си, «Немецкой волне». Честолюбивый Френкель при жизни был известен хотя и не в узком, но в ограниченном кругу энкавэдистов, а также заключенных и вольнонаемных строителей железных дорог. Через пятнадцать лет после смерти его имя узнала вся слушающая страна.

У Солженицына есть неточности в биографии Френкеля. Это естественно: автор не был допущен до архивов КГБ, когда писал свой труд. Я встретился со своим старым знакомым, женившимся на приемной дочери Френкеля и ставшем членом его семьи. Себя он чувствовал наследником Френкеля в том смысле, в каком Евтушенко писал о наследниках Сталина, и главу о Френкеле из «Архипелага» принял в штыки, как удар по своему благополучию. Приемная дочь говорила почему-то о Сталине, называя его выдающимся ученым. По этому вопросу ее муж своего мнения не высказывал, но зато всю ругал Солженицына, называя его лгуном, халтурщиком и мерзавцем. Малейшая обнаруженная им неточность в солженицынском жизнеописании Френкеля вызывала злобное торжество. Особенно напирала на утверждение Солженицына о том, что Френкель «никогда не был женат». О соответствии психологического портрета потомки Френкеля не говорили. И вообще не говорили о Френкеле — обсуждали Солженицына, его несерьезность и недобросовестность. И как самое страшное обвинение — антисоветизм. Но определяющим чувством было не желание полемизировать, доказывать или опровергать, даже не чувство «классовой» ненависти к автору книги. Главным было чувство страха: а не скажется ли посмертная известность Френкеля на его семье, не ли-

шится ли вдова приличной пенсии, выхлопотанной ей КГБ, несмотря на то, что брак не был зарегистрирован? В эти дни она уничтожила даже остатки личного архива Френкеля. Даже порвала и выбросила книгу «Беломоро-Балтийский канал имени Сталина», которую цитирует Солженицын, рассказывая о Френкеле, и откуда он переснял его фотографию.

Френкель, по Солженицыну, — изощренная и умная сволочь, спасавшая свою шкуру ценой жизней загнанных в лагерь строителей самого справедливого общества на земле. Но для того, чтобы закончить портрет, нужно положить еще одну краску: Френкель был и палачом, и жертвой. Нагонявший страх на сотни тысяч рабов, он сам постоянно жил в страхе и оставил его в наследство своей жене, детям и зятю вместе с генеральской пенсией. А остальной стране — переданную Солженицыным легенду, что лагерь создал Френкель.

ЧЕРТОК Семен Маркович — родился в 1931 году в Москве. В 1953 году окончил Московский государственный юридический институт. Печататься начал с 1956 года. Опубликовал ряд книг и более тысячи статей и рецензий в газетах и журналах СССР, Болгарии, Польши, ГДР, Венгрии, Румынии, Чехословакии, а также Франции и ФРГ (главным образом по проблемам кино и других искусств). После эмиграции живет в Иерусалиме, где продолжает профессиональную деятельность.

ИСТОРИЯ

Герман Андреев

ЗАМЕТКИ О ТРАДИЦИЯХ РУССКОГО ЛИБЕРАЛИЗМА

(К спорам об исторических судьбах России)

IV

Взаимопомощь реакционного и революционного утопизма легко прослеживается во всей истории России: революционеры срывали либеральные начинания власти, власть своими крутыми мерами бросала народ в объятия его «защитников» — революционных авантюристов.

Первые значительные крестьянские бунты были реакцией на эгоистическое отношение к Руси хозяев ее земель. Демагогия Стеньки Разина смогла какое-то время казаться убедительной лишь благодаря тому, что дворяне и духовенство, воспользовавшись правами, которые им предоставляло крепостническое устройство, захватили себе лучшие земли, ничуть не считая нужным поделиться хоть немного справедливо с крепостными мужиками. Во времена крепостничества Россия жила по закону, так лапидарно сформулированному Ключевским: «Государство пухло, народ хирел». Естественно, что как Разины и Пугачевы, так и революционеры-интеллектуалы, чья цель всегда была более разрушительная, чем созидательная, без особого труда использовали такое положение, и, изучая историю России, приходишь к выводу, что некоторые ее властители чуть ли не намеренно создавали ситуацию, при которой призыв к уничтожению всего и вся находил отзвук в людях, мало просвещенных христианской моралью и не перегруженных способностью суждения. Эти последние становились материальной силой всех русских бунтов и революций, их, например, достаточно цинич-

Окончание. Начало — в № 22.

но вербовал Бакунин, призывавший «соединиться с диким разбойничьим миром, этим истинным единственным революционером в России». (Надо сказать, что такая апелляция к асоциальным элементам повторилась в речах покойного Маркузе не обязательно под влиянием русских идей, но по законам любых революций, ориентирующихся не на созидание, а на разрушение.) А уж заботу о расширении этого разбойничьего слоя брало на себя государство, обезземеливая крестьян в период раннефеодальный, тормозя отмену крепостного права и не содействуя повышению производительности крестьянского труда в первой половине XIX века, не пытаясь бороться с безработицей в промышленности в период капиталистический.

Исследуя причины возникновения пугачевского бунта, Пушкин обращает внимание на то, что яицкие казаки, будучи притесняемы правительственными чиновниками, не имели намерения бунтовать. «Они покушались довести до сведения самой императрицы справедливые свои жалобы. Но тайно подосланные от них люди были, по повелению президента Военной коллегии графа Чернышева, схвачены в Петербурге, заключены в оковы и наказаны как бунтовщики». Такие действия русских властей провоцировали разрыв народа с государством, вообще с верой в возможность уладить свои проблемы через компромисс. И какой Чернышев приказал стрелять в рабочих на площади перед Зимним дворцом 9 января 1905 года?

Один из замечательных русских консервативных либералов П. А. Столыпин сказал о крайне правых и крайне левых: «Им нужны потрясения, нам нужна великая Россия». Конечно, правым (под «правыми» здесь разумеются силы, которые сопротивлялись реформам или даже пытались отменить либо ослабить действие уже осуществляемых реформ) нужны были не потрясения, а собственное благополучие, но инстинкт смерти и разрушения жил в них не в меньшей степени, чем в тех, кого Шафаревич окрестил общим понятием «социалисты». Только таким инстинктом смерти и разрушения можно объяснить упорное нежелание русских государей в XIX и XX веках прислушиваться к предостережениям либеральных советников. Когда-то еще архиепископ Вассиан советовал Ивану IV: «Не держи около себя мудрейших и лучших людей, аще хочешь самодержцем быти». И кажется, что чуть ли не все русские цари, убирая, например, Сперанского и ставя на его место Аракчеева или заменяя Витте и Столыпина в своем окружении Горемыкиным и Распутиным, последовали этому совету, а не рекомендации кн.

Курбского: «Царю достойто быти яко главе и любить мудрых советников своих, яко уды своя».

Само понятие самодержца (по-гречески, автократа) русские цари склонны были истолковывать более в смысле самодурства, чем самодержавия: ведь Иван-то III, первый назвав себя автократом, имел в виду не безграничную внутреннюю власть, а свою независимость от власти внешней — от ордынских ханов. (Иван III, как пишет летописец, любил «встречи», то есть возражения своих советников.) А Иван IV уже определял понятие «самодержец» в духе одного из героев А. Н. Островского, заявлявшего, правда, о своей дочке, а не о государстве: «Хочу так ем, а хочу — масло пахтаю». Сторонники известной триоремы настаивали (и настаивают), что самодержавие — это и есть неограниченная власть монарха и что это чуть ли не истинно русская форма государственной власти, как будто новгородское вече, Соборы XVII века, государственные Думы XX века — выдумки иностранцев, а государи Александр I в начале своего царствования или Александр II, поставившие под сомнение принцип самодержавия в его трактовке Иваном IV и заботившиеся о благе населения, а не только о государстве, отошли от русских национальных основ. Все же Нил Сорский не меньше, чем Иосиф Волоцкий, выразил дух русского христианского гуманизма, и можно было бы сказать, что идея абсолютистской, или самодержавной власти родственна именно западноевропейской государственности XVIII века. И как раз абсолютизм как на Западе, так и в России готовил почву для якобинцев всех национальностей. Потому-то ко многим русским правителям можно отнести слова Карамзина, сказанные им об Иване Грозном: «Он был мятежником в собственном государстве».

И не только декабристы, но и сам... Александр I готовил переворот. Перед Александром I, как и перед Иваном IV, стояло два типа советников. Роль архиепископа Вассиана при Александре I парадоксальным образом играл тот же Карамзин с его запиской «О древней и новой России и ее политическом и гражданском состоянии», а роль кн. Курбского исполняли декабристы. У Александра был выбор. Или: «Зло, к которому мы привыкли, для нас чувствительно менее нового добра, а новому добру как-то не верится... требуем более мудрости хранительной, нежели мудрости творческой» (Карамзин), или предложения ранних декабристов, довольно точно переданные Пьером Безуховым в эпилоге «Войны и мира»: «...чтобы завтра Пугачев не пришел резать и моих и твоих детей и чтобы Аракчеев не послал меня в военные поселе-

ния — мы только для этого беремся рука с рукой, с одной целью общего блага и безопасности». Декабристы предлагали руку правительству. Молодой царь давал повод для веры в возможность такого союза власти с либеральной интеллигенцией. Не без оснований заявлял на следствии декабрист барон Штейнгель: «При начале царствования в Бозе почившего Государя открылось вождеденное намерение Его просветить Россию и уничтожить в ней рабство». Молодые дворяне, стремившиеся к либерализации страны, имели право полагать, что царь с ними солидарен. Им было известно, что Александр трижды поручал составить Конституцию: Розенкамффу в 1804 году, Сперанскому в 1806 году и Новосильцову даже в 1817 году. Вероятно, не было скрыто от них, с каким гневом царь отверг «Записку» Карамзина.

Но все либеральные намерения Александра остались без осуществления: впечатления от послереволюционной Франции привели его более к страху перед революцией, чем перед судьбой Людовика XVI, который своей самодержавной властью эту революцию спровоцировал. После 1815 года Александр как будто делает все, чтобы оттолкнуть от себя либералов и превратить их в революционеров-заговорщиков. Он удаляет Сперанского, приближает Аракчеева и Голицына, дает согласие последнему на создание военных поселений, а на протесты офицерства отвечает, что поселения «будут во что бы то ни стало, хотя бы пришлось уложить трупами дорогу от Петербурга до Чугуева». Университеты отдаются под контроль обскурантов Магницкого и Рунича, цензура доходит до обнаружения следов якобинства в «Отче наш».

Такой поворот Александра вправо вызвал радикализацию тайных обществ. Начав с желания укрепить Россию, они кончили бунтом. Пестель показал на следствии, как изменялись его настроения: «Начали во мне пробуждаться, почти совокупно, как конституционные, так и революционные мысли. Конституционные были совершенно монархические, а революционные были очень слабы и темны. Мало-помалу стали первые определеннее и яснее, а вторые сильнее». То есть даже Пестель был готов на укрепление монархии с помощью конституции, а не на разрушение ее. Но царь сделал все возможное, чтобы лучшие люди того времени превратились в подготовителей бакунизма и большевизма. Николай Бестужев писал из Петропавловской крепости новому царю, объясняя этот переход от либерализма к бунту: «Солдаты роптали на истому учениями, чисткою, караулами; офицеры на скудность жалования и непомерную строгость... Люди с дарованиями жаловались, что им заграждают доро-

гу по службе, требуя лишь безмолвной покорности; ученые на то, что не дают учить, молодежь на препятствия в учении. Словом, на всех углах виделись недовольные лица; на улицах пожимали плечами, везде шептались — все говорили, к чему это приведет».

И вот результат. Бывший либерал А. Бестужев-Марлинский заявляет: «Творить божественно, но и разрушать тоже божественно; разрушение — тук для новой жизни», воззрение, выраженное позже Бакуниным («страсть к разрушению есть творческая страсть»); представитель аристократического течения в декабризме Каховский, полагавший укрепить монархию с помощью усиления наследственной аристократии, стреляет в генерал-губернатора Петербурга Милорадовича. Политическая глухота Александра I привела к тому, что те, кто хотел укрепления государства, превратились в его разрушителей. Рылеевы, Муравьевы, Бестужевы, Пушкины... Чацки кричали на всех углах о бедствиях России, а правительство отвечало подобно Фамусову: «Добро, заткнул я уши» — и умилялось скалозубовским островам о фельдфебеле, долженствующем заменить Вольтера. В это-то время и рождались такие, как Якушкин, который «молча обнажал цареубийственный кинжал».

В свою очередь выступление декабристов (маятник влево под влиянием раскачивания маятника вправо) породило николаевскую реакцию — маятник рванулся вправо.

Но не все общество пошло вправо, не все русские мыслящие люди сделали тот вывод, который им приписывает Белинков, анализируя последекабрьскую ситуацию. 30-40-е годы прошли под знаком не только подлости, о чем справедливо говорит Белинков, но и под знаком развития, углубления русской мысли. Это время возникновения важнейших течений в русской философии — западников и славянофилов, — время до сих пор до конца не уясненного взлета пушкинской мысли, время развития университетского либерализма, связанного с именами Грановского, Станкевича, Редкина, а главное — время подспудной подготовки к великим реформам, ставшим торжеством русского либерализма.

И теперь уже, в 60-70-е годы, революционеры-террористы срывают конституционное, либеральное развитие России, тоталитарные тенденции слева пугают правительство, и оно, вместо того чтобы и впредь твердо проводить политику реформ, направленных на благо личности, в страхе перед кучкой революционеров начинает притормаживать либеральное развитие страны. Своим выстрелом Каракозов убивает великие намерения Валуева и вел. кн. Константина Николаевича; использование подсудимыми гласного суда в ка-

честве трибуны для пропаганды революции также пугает правительство, оно ищет способы ограничить независимость суда. Все же Лорис-Меликов еще пытается выработать твердую либеральную политику, однако это настораживает революционеров, в среде которых к тому времени возникает бесчеловечная и циничная теория «чем лучше, тем хуже» и которые справедливо считают, что либеральная политика для них опаснее реакционной. И вот бомба, брошенная в царя-освободителя в 2 часа 15 минут 1 марта, убила и царя, и — буквально — русскую Конституцию: ведь за два часа до этого взрыва Государь одобрил конституцию Лорис-Меликова и решил представить ее на рассмотрение совета министров. А новое правительство сдалось перед этими актами вандализма, царь Александр III призвал к трону не людей типа Милютина, Валуева, а Д. А. Толстого, И. Д. Делянова и К. П. Победоносцева. Взойдя на престол, он заявляет: «Глас Божий повелевает Нам стать бодро на дело правления с верою в истину самодержавия, которую Мы призваны охранять для блага народного от всяких на нее поползновений». Так отпрыгнулись все эти прокламации вроде «Молодой России», с ее призывами не верить даже самым лучшим помыслам правительства, бессмысленные убийства Мезенцева, Кропоткина (харьковского губернатора), нечаевско-бакунинская пропаганда. На все это Александр III ответил таким усилением государственной власти, таким отступлением от либеральных идей отца, что, кажется, сознательно начал подготовку к новому, еще более страшному революционному взрыву.

В деревню направляются земские начальники, имеющие право суда над мужиками, узаконивается применение розог, увеличивается количество смертных приговоров за политические преступления, резко усиливаются гонения за веру. Русская литература становится все мрачнее и мрачнее. В обществе воцаряется безнадежный пессимизм, выразителем которого стал Н. Щедрин. Деревня нищает вследствие увеличения налогов во время русско-турецкой войны и из-за катастрофических недородов 79 и 80 годов, а также из-за низкой производительности общинного хозяйства (за которое, кстати, одинаково цеплялись и реакционеры, и революционеры). Все тяготы русской экономики несут на себе крестьяне, на что указывают и либеральный народник Энгельгардт («Письма из деревни»), и писатель Г. Успенский. А дворянство и купечество, пользуясь безграничной поддержкой государства, благоденствует. В одном письме Лев Толстой пишет: «общий ход дел, то есть предстоящее народное бедствие голода, с каждым днем пугает меня больше и больше... У

нас за столом редиска розовая, желтое масло, подрумяненный хлеб на чистой скатерти.., а там этот злой чёрт голод делает уже свое дело, покрывает поля лебедой, разводит трещины на высохшей земле и обдирает мозольные пятки мужиков и баб». Начинается наступление и на интеллигенцию, сильнейший удар наносится по автономии университетов, этих «рассадников» революционной мысли (хотя революционное студенчество составляло ничтожный процент по отношению к общему числу студентов), усиливается цензура. Гонению подвергаются не только революционные «Отечественные записки» (чья революционность тоже весьма относительна) и «Дело», но и либеральные «Порядок» Стасюлевича и «Земство» Скалона и Кошелева. Редактор либеральных «Русских ведомостей» В. М. Соболевский писал: «Я думаю, существование «домов терпимости» более обеспечено и охранено элементарными требованиями законности, чем прозябание этой жалкой разновидности этого рода заведений, которую из приличия называют до сих пор 'либеральной прессой'».

Так готовились революционные кадры в среде крестьянства и интеллигенции. Одновременно начался процесс усиленной русификации национальных окраин. На русский язык были переведены все канцелярии в Прибалтике (так возбуждалась ненависть к России будущих латышских стрелков), сужена полоса оседлости для евреев и введена для них процентная норма в гимназиях и университетах (так воспитывались будущие красные комиссары еврейского происхождения).

Эпоха правления Александра III и Николая II была роковой для России: определился раскол страны на власть и революционные партии. Власть стала таким хозяином русского дома, который и сам дом не чинит и другим мешают. А революционные партии начали создавать планы сожжения этого дома. Власть кричала «тащить и не пущать», а революционные партии, прежде всего радикально-марксистские, на основании абстрактных, имеющих весьма далекое отношение к реальности русской жизни математических выкладок собирали силы для проведения страшного эксперимента над Россией. Когда этот эксперимент начал осуществляться, Максим Горький писал: «Народные комиссары относятся к России, как к материалу для опыта, русский народ для них — та же лошадь, которой ученые-бактериологи прививают тиф для того, чтобы лошадь выработала в крови противосыпозную сыворотку. Вот именно такой жестокий и заранее обреченный на неудачу опыт производят народ-

ные комиссары над русским народом, не думая о том, что измученная полугодом лошадь может издохнуть».

И все же либеральные идеи глубоко были укоренены в сознании русских людей. Как после Крымской, так и в результате русско-японской войны в обществе возникают новые реформаторские импульсы. В правительстве нашелся человек, который понял необходимость обращения к общественному мнению: это был кн. П. Д. Святополк-Мирский. Заговорила либеральная пресса. Она критиковала бюрократизм, выставляла конституционные требования, поддержанные в ноябре 1904 года совещанием земцев. Создаются профсоюзы, один из них — профсоюз лиц интеллигентных профессий — призывает к введению народного представительства. В этот начальный период революции 1905 года революционно-разрушительные партии еще не имеют серьезного веса. Россия мечтает о реформах, о народном представительстве — Думе. 9 января рабочие идут к Зимнему дворцу, к своему царю, просить его улучшить условия их труда, предложить созвать Учредительное собрание. Как же отвечает власть на это движение? Безумным, непростительным кровавым воскресеньем. И опять, по уже надоевшему правилу русской истории, тоталитарные силы власти оказывают неопределимую услугу тоталитарным революционным партиям, толкают в сторону революции умеренные элементы этих партий, а также широкие народные массы. В городах возникают баррикады, в деревнях — аграрные беспорядки, сопровождаемые варварскими разрушениями дворянских усадеб, этих центров русской культуры (а не только источников угнетения народа)*, против государства бунтует флот, офицеры которого на броненосце «Потемкин» были воплощением отношения власти к матросам как к деталям военного механизма. В Петербурге создается Совет рабочих депутатов (в очень незначительной степени представляющий этих самых рабочих), профсоюзам удается провести всеобщую забастовку. Страна находится на грани хаоса.

Но на этот раз гибель России была предотвращена, и спасли страну не силы, поддерживавшие идею самодержавия — «Союз русского народа» с императором в качестве почетного члена, — и не революционные партии, а либеральные силы страны. Они добились издания манифеста 17 октября, означавшего начало новой эры в

* Значение дворянской усадьбы в развитии русской культуры прекрасно раскрыто в книге Н. С. Арсеньева «Из русской культурной творческой традиции», Посев, 1959.

истории России, эры плюралистической демократии. В Думе воплотились идеи парламентаризма, которые разрабатывались не только в Западной Европе, но всегда жили в русских людях как память о новгородском вече, о Соборах XVII века, о земствах 60-х годов. Идея народного представительства разрабатывалась и правительством Александра I, член которого Сперанский еще в 1809 году создавал закон о передаче законодательной власти Думе.

Ни один мало-мальски разумный либерал не считал парламент выходом из всех сложностей запутанной жизни. Но любой из них мог сказать то, что через много лет скажет Уинстон Черчилль: очень плоха система парламентской демократии, но лучшей еще никому не удалось выработать.

Благодаря манифесту и изменившемуся вследствие его распределению власти в верхах, к руководству страной пришли такие крупные либеральные деятели, как С. Ю. Витте, П. А. Столыпин, возникла партия кадетов, представленная такими либералами, как П. Б. Струве, И. И. Петрункевич, Ф. И. Родичев, А. И. Шингарев, П. Н. Милюков, С. А. Муромцев. Это именно они поставили Россию на естественный для нее путь, на котором благо личности стало пониматься как необходимая предпосылка блага государства, это за период их руководства страной в течение почти десяти лет Россия находилась в таком расцвете народного благосостояния и культуры, которого она не знала за всю свою историю.

Кто же свернул Россию с этого пути?

Опять те же силы правой реакции, пользовавшиеся поддержкой царя, и левые экстремисты, возглавляемые большевиками.

Война против Германии показала силу власти и одновременно бездарность правых, которые, подчиняясь вот этому инстинкту смерти, повели Россию к гибели. И сама война, и то, как она велась, привели Россию к такому состоянию, когда левым экспериментаторам не нужно уже было никаких усилий, чтобы взять власть в стране, и уже не находится ни одной сколько-нибудь значительной группы населения, которая — в марте — поддержала бы рухнувшую монархию, и никого, кто бы защитил назначенное Думой Временное правительство в октябре.

Восторжествовала одна из многих тенденций русской истории — тенденция тоталитарная, этот плод сознательного и бессознательного сотрудничества тоталитарных элементов в системе власти и в рядах ее противников.

А вместе с тем, Россия могла пойти и по пути либеральному, основным признаком которого является персоналистический подход

к проблемам общественного устройства: корни либерализма в России были не менее мощными, чем корни тоталитаризма.

V

Здесь, кажется, пришло время определить понятие либерализма, столь часто употребляемое в этих заметках и содержащееся в их названии.

Либерализм понимается в этих заметках не как партийность, принадлежность к какому-либо определенному политическому движению. Либералы могут быть в любой партии, в любом политическом направлении. Либерализм понимается здесь как способ политического мышления, определяемый самим корнем слова: свобода. В сущности, любая партия, любое политическое учение объявляет себя теперь защитником свободы, свободу — своей целью.

Если обратиться к колесу идеологий, начерченному А. Амальриком, то такие суперидеологии, как национализм и марксизм (лучше было бы сказать социализм), тоже стремятся к осуществлению свободы. Национализм исходит из необходимости свободы для нации, определяя эту свободу в терминах религии, культуры и государственности. Борясь, например, за свободу русской нации, русские националисты требуют религиозной, культурной и государственной идентификации России, таким образом, естественно, ограничивая свободу других наций, входящих в состав России, просто отдельных людей, не причисляющих себя к русским, но живущих в России. Даже русский человек как отдельная личность не получает гарантии свободы в ее националистической концепции, если живет не национальной, а какой-либо иной, например, социальной идеей. Для националиста личность — это сама нация, и поэтому, сравнивая хотя бы положение в дореволюционной России с теперешним, представители националистически трактованного понятия «свобода» редко акцентируют свое внимание на рабском положении и нищете отдельных русских, полагая, что национальная свобода (для русских), национальная определенность русской государственности и не ограниченное ни другими религиями, ни тем более атеизмом господство православной Церкви — не только необходимое, но и достаточное условие торжества свободы. Исторические же и политические деятели, которые покушались на устои русской государственности и русской религии, видя в них виновников нищеты и беспра-

вия народа, причисляются представителями национализма вообще к нерусским или к изменникам национальной идеи.

Вторая суперидеология — социализм, исходя из идеи свободы трудящихся классов, естественно, ограничивает свободу лиц той же национальности, не подпадающих под (подчас произвольное) определение понятия «трудящийся элемент». Целые общественные классы, необходимые для нормального функционирования политического, экономического, религиозного, культурного отделов национального организма (предприниматели, землевладельцы, духовенство, беспартийная интеллигенция), в процессе социалистической революции уничтожались, причем такая же участь ожидала (и ожидает) любого представителя трудящихся классов, которого идеологи и вожди социализма причисляют к опасным для трудящихся элементам общества.

Либералы — это люди, которые начинают отсчет проблемы свободы не с каких-либо общностей (национальных или социальных), а с отдельных личностей, составляющих эти общности. С националистами их роднит понимание невозможности свободы личности во вненациональном или инонациональном существовании, стремление к свободе нации, к ее культурному, государственному и религиозному самоопределению; с социалистами — понимание невозможности свободы личности в условиях материального и социального быта, не достойных человека, унижающих его и принуждающих поэтому служить чуждым тотальным объектам с целью просто физического выживания.

К тому же для либералов неприкосновенна идея права, формального законодательства, нейтрального по отношению к идеологиям, к социальным и национальным группам.

Таким образом, в этих заметках либерал понимается как идеолог или политический деятель, который предлагал, а подчас и сам разрабатывал (Александр I, Александр II, Милютин, Столыпин, Сперанский, некоторые декабристы, народники, кадеты, меньшевики) способы укрепления национального русского государства путем расширения свободы и увеличения благосостояния возможно большего числа жителей России без ущемления прав и лишения материального благосостояния каких-либо групп общества (исключая, разумеется, уголовный элемент). Метод либерала — не уничтожение одной из конфликтующих в стране групп, а достижение компромисса между ними, борьба за уравнивание интересов.

Отсюда преодоление тоталитаризма видится в реализации либерального мышления, в революции духа в направлении либера-

лизма как предпосылки стабильности государства, нации, классовых взаимоотношений.

Русским в той же степени, как и другим европейским народам, свойственно было всегда и тоталитарное и либеральное мышление. Стоит лишь обратиться к конкретным фактам истории русской мысли и политической жизни России за последнее тысячелетие, чтобы увидеть, что в России либерализм имел не меньшие шансы на успех, чем тоталитаризм.

Огромную роль в развитии русского либерализма сыграло крещение Руси. С того времени почти все русские либералы, отстаивая позицию индивидуализма, ссылались на моральные принципы христианства. Владимир Мономах говорит в своем «Поучении» детям: «ни права, ни крива не убивайте, ни повелевайте убить его, аще будет повинен смерти, а душа не погубляйте никакая же хрестьяны». Он наставляет своих детей, ссылаясь на заветы Христа: «Особенно бедных не забывайте, но по мере сил кормите их, и сироту одарите, и вдову защитите сами, и не позволяйте сильным губить человека». Помещик XVI века Матвей Башкин, проникнувшись христианской верой, открыл для себя: «Христос всех братьий нарицает, а мы рабов у себя держим», — и порвал все кабальные записи, отпустив на волю своих холопов. Иван Пересветов в XVII веке писал: «Бог не велел друг друга поработать. Бог сотворил человека самовластным (свободным) и повелел ему быть самому себе владыкой, а не рабом». Влияние таких христианских подвижников, как Нил Сорский в XV веке, митрополит Макарий в начале царствования Ивана IV, Серафим Саровский в начале XIX века, не может быть не учтенным, когда мы думаем о становлении и развитии русского либерализма. Это не исключает необходимости признать, что борьба тоталитарных и либеральных тенденций раздирала и русскую Церковь так же, как русское общество вообще. Достаточно вспомнить о многовековой трагедии русских раскольников.

Одна из ранних форм русской государственности — новгородское, псковское и вятское вече — сильнейший аргумент против теории о врожденной склонности русских к рабству и безликому коллективизму. Вече — этот Гайд-парк древней Руси — представляло картину борьбы личностных интересов, борьбы, никем не подавляемой и не ограничиваемой. Более трех веков (XII-XV) существовала в Новгороде и Пскове гордая республика свободных людей. Они понимали необходимость разделения власти для сохранения свободы личности: вся система правления в этих республиках не допускала возможности узурпации власти князем. Князь имел стро-

го регламентируемую исполнительную власть. Законодательная же власть находилась у вече (в этом его отличие от Гайд-парка). Страницы летописи, на которых рассказывается о Новгороде, пестрят сообщениями о том, как новгородцы «изгнаша», «выгнаша», «позваша» такого-то и такого-то князя. Князь не мог ничего предпринять без указания и согласия народного избранника: «Без посадника ти, княже, суда не судити, ни волостей раздавати, ни грамот не давати». Вече было прообразом буржуазно-демократической республики, этого европейского изобретения XIX-XX века. Нечто подобное возникало и в итальянских городах, но лишь в XIV и XV веках, да притом народное представительство в них было значительно более ограниченным в своих правах по сравнению с Новгородом и Псковом XII века: во Флоренции семейство Медичи разрешало участвовать в выборах городского совета только людям своей партии, Лоренцо Медичи был настолько безграничным правителем, что мог вмешиваться в личную жизнь граждан, устраивая и расстраивая браки (что было исключено в русских республиках); в Венеции дож избирался на всю жизнь, а посему в хрониках венецианских нельзя найти сообщений, что дожа кто-то «прогнаша» или «изгнаша». Местá в Большом Совете города передавались по наследству, а суд Совет десяти чинил тайно, скоро и безжалостно, в то время как в Новгороде и Пскове суды были открытыми и милостивыми, а князь находился в полной зависимости от населения республики. Он целовал крест на верность ей. На что уж был уважаем кн. Александр Невский, а также не мог начинать войну без согласия вече. Да и того согласия было мало — важные решения должны были быть благословлены Святой Софией — Церковью.

В Новгороде было такое равенство классов, которого не знала Западная Европа в те времена: не было, например, такого закона, чтобы крестьянин не имел права стать тысяцким, все жители города: купцы, черные люди (ремесленники), бояре, смерды — имели право голоса (точнее, крика) на вече. Все классы были равны перед судом.

Разумеется, Новгород и Псков не представляли собой такого царства абстрактной справедливости: при равенстве юридическом не было в этих буржуазных республиках равенства состояний, отсюда — богатые люди нередко решали вопрос в свою пользу, ущемляя права смердов и тех же черных людей. Что же касается иронических описаний новгородского вече с его ором и кулачными боями, то они лишь свидетельствуют о несовершенстве системы, но не о порочности ее по существу. (Надо сказать, что в Пскове вече про-

ходило, в общем, без таких драк и такого крика, как в Новгороде.)

Простой новгородец и псковитянин как личности были намного привлекательнее, чем, скажем, люди николаевской поры; достаточно сравнить впечатления де Кюстина от русских людей начала XIX века с уважением к псковичам, которое сквозит из каждой строчки заметок путешественника Гербертштейна, посетившего Псковскую республику. Гербертштейн говорит о благовоспитанности, открытости, честности псковитян вообще и в торговых операциях в частности. Крепкие Новгородское и Псковское государства были замешаны на духе индивидуальной предприимчивости и сознании свободы «мужей вольных».

И другой стала бы история России, если бы Новгород или Псков, а не Москва, получившая власть от татар, стали зернами, из которых выросла русская государственность.

Выше уже говорилось о причинах возникновения тоталитарных тенденций в княжествах на северо-востоке Руси. Позорное и унижительное татарское владычество, казалось бы, должно было убить всякое самоуважение в русском человеке, погубить в нем человеческую гордость, сделать его рабом по натуре. Московские князья и цари немало сделали для воспитания такого человеческого типа. Однако либеральные воззрения, поддерживаемые верой в Христа как Учителя свободы, никогда не умирали в русских.

Даже правление Ивана IV могло стать примером либерализма, если бы удалось утвердиться при троне первым советникам молодого царя дворянину Адашеву, священникам Макарию (автору «Четьих Миней») и Сильвестру,¹ князю А. Курбскому. Они уже начали проводить реформу судопроизводства, собираясь вырвать суд из-под власти неконтролируемых бояр и передать его целовальникам, которые должны были бы целованием креста клясться на верность закону. Сам этот закон «Судебник» (1550) запрещал наместникам арестовывать кого-либо из местных людей, «не явя» их целовальникам, которым они должны были давать объяснение причин ареста. С помощью «избранной рады» царь Иван составил ряд уставных грамот, одна из которых, например, передавала местное управление посадскими людьми «головам», «которые были бы добры и прямы и всем крестьянам любы».

Но случайность — болезненный характер, психопатия царя Ивана — свела на нет все либеральные начинания. Именно в это время отчетливо выявилась вся опасность самодержавной монархии. Убедительно звучит в этой связи мысль Ключевского: «Свойства

царя Ивана, если бы не устройство монархическое, могли бы послужить материалом не для историка, а для психолога или психиатра».

Все же в XVI веке созывались на Руси земские Соборы. Правда, они имели черты поразительного сходства с нынешним Верховным Советом: на них съезжались с мест представители земель, назначенные туда царем, так что на Соборах XVI века правительство совещалось с самим собой.

Смертельная опасность, нависшая над русскими как нацией в период смутного времени, вызвала к жизни великий Собор 1613 года. Он показал, что московским царям не удалось задушить в русских людях чувство ответственности за страну, что они всегда где-то в глубине своего сознания относились к царям не как к хозяевам земли, а как к слугам ее: через два века после падения Новгорода вновь собрание русских людей «позвала» правителя, теперь царя. При Михаиле Романове Соборы уже созывались более десяти раз, они стали органом, по значению не меньшим, чем боярская Дума. В Собор избирались лучшие люди, «добрые, умные и постоянные» (то есть умевшие «постоять» за избирателей). Соборы XVII века были определенно плюралистические: каждый депутат защищал интересы пославшей его социальной группы или земли.

XVII век дал и целый ряд мыслителей либерального направления, таких, как боярин Ртищев, создатель русских филантропических организаций, утверждавший необходимость человеческого обращения с крестьянами («Они нам суть братья»), как Гр. Котошихин, выдвинувший либеральную идею свободы передвижения, как Ю. Крижанич, выступивший против «крутого владения» и «злого законоставия» и сформулировавший одну из основ либерализма: «где бо суть черняки многи и богаты, тамо и краль и властелин да боляры есуть богаты и сильны».

Время Петра I — время торжества государственной идеи и подавления всякого либерализма. И не Петра надо восхвалять, а тех русских деятелей, которые в угаре государственного и научно-технического энтузиазма сумели сохранить в себе свободу суждений, имели смелость думать не только о государстве, но и о человеке. При Петре это был автор «Книги о скудости и богатстве» крестьянин И. Посошков, который, даже будучи поклонником Петра, все же выступал за облегчение крестьянских повинностей, за уменьшение налогов, за обучение крестьянских детей, за создание равного для всех сословий суда; при преемниках Петра это «верховники», добившиеся (правда, более из эгоистических соображений) пусть на

короткий срок осуществления идей ограниченной монархии в период правления Анны Иоанновны, Анисим Маслов, начавший работать над проектом освобождения крестьян в период усиления крепостничества, и др. К ним должны были бы историки привлекать умиленное внимание русских патриотов, а не к Петру I, превращавшему Россию в прообраз тоталитарного государства и сделавшему один из самых опасных шагов в этом направлении, подчинив государству и Церковь, на что обращает внимание историк русской православной Церкви А. В. Карташев: «Идеология просвещенного абсолютизма, — пишет он, — тоталитарно покоряющего своему контролю и Церковь, стала адекватной государственному правосознанию быстро перевоспитавшегося в европейском духе по имени православного правящего класса».

Екатерининская эпоха, со всеми ее противоречиями, с удивительной непоследовательностью императрицы, — все же важнейший этап в развитии русского либерализма.

Сама Екатерина II, написав «Наказ», дала импульс размышлениям о законности, о правах личности в самодержавном государстве. В статье 35 «Наказа» говорится: «Надлежит быть закону таковому, чтобы один гражданин не мог бояться другого, а все боялись бы одних законов». И хотя «Наказ» писался под влиянием западных работ о праве («Духа законов» Монтескье и «Преступлений и наказаний» Боккариа), тот отклик, который «Наказ» получил у русского общества, свидетельствует об органичности для России либерализма. Выступления депутатов, приглашенных императрицей на обсуждение «Наказа» (а это были 28 членов комиссии по составлению нового Уложения, среди них горожане, крестьяне — не крепостные, казаки), говорят о зрелости либерального сознания мыслящих русских людей. Так, депутат Коробьин говорил: «Тогда только процветает или в силе находится общество, когда составляющие его члены довольны». Он же понимал, что свобода и благосостояние нераздельны, и требовал: «Крестьянин... известную часть своего имения почитать должен не за свою, а за помещицью, а прочее имение за свое собственное, то есть за такое, которое он может без опасения пустить в обращение, как-то: заложить, продать, подарить и оставить после себя, кому хочет, не думая, что она когда-нибудь отнята будет его помещиком, и, кратко сказать, за такое, над которым он полный господин». Все депутаты приветствовали отмену пыток, провозглашаемую в «Наказе», а также призыв к веротерпимости. Любопытно, что французская цензура запретила во Франции печатать «Наказ» императрицы Екатерины II.

Именно в екатерининское время родилась русская интеллигенция, давшая в конце XVIII века таких деятелей либеральной мысли, как Никита Панин, Фонвизин, Пнин, Новиков, Радищев.

Век Екатерины не стал временем торжества идей либерализма, высвобождения личности. Царица была более занята игрой ума, чем действительной заботой о либерализации русской государственной системы. Работа над «Наказом» не помешала ей закрепить Украину, варварски искоренять в Крыму татар, заточить в крепость слишком ревностных и искренних либералов вроде Новикова и Радищева. Но уже со времени Екатерины II никогда не прервутся в русском обществе мысли об освобождении крестьян, о свободе личности, и великие реформы 60-х годов, можно утверждать, начали подготавливаться именно в екатерининское время.

Деятели новой эпохи, которую Пушкин обозначил как «дней Александровых прекрасное начало», развивали либеральные идеи предшествующего поколения. «Негласный комитет» при императоре Александре I приступил к реализации тех проектов, которые оставались при бабке молодого императора лишь предметом салонных бесед. Новосильцов в 1809 году составил «Уставную грамоту», нечто вроде русского хабеас корпус. Главная мысль этого устава — гарантия свободы личности. Декабристское движение как типично либеральное возникло как раз под влиянием начинаний «Негласного комитета» при императоре Александре, а в Конституции Никиты Муравьева можно встретить целые пассажи, заимствованные из «Уставной грамоты» Новосильцова.

Благодаря реформаторской деятельности М. П. Сперанского, составившего уже в царствование Николая I первый свод законов Российской империи, либеральные идеи, выработывавшиеся в екатерининское и александровское время, воплотились частично в формальное законодательство. Так, 47 статья Основных законов гласила: «Империя Российская управляется на твердой основе положительных законов, учреждений и уставов, от самодержавной власти исходящих». В этой формулировке самодержавие в его прежнем истолковании переставало быть таковым, ибо права императора ограничивались здесь законом. Русская литература николаевского времени показала, как на практике исполнялись эти законы. Достаточно тут свидетельства Гоголя («Ревизор», «Мертвые души») и Герцена («Былое и думы»), но для нашей темы существенно подчеркнуть органичность идей законности для русского правового сознания.

Весь XIX век до 60-х годов определялся таким взлетом либерального сознания, таким углублением в проблему личности, что русская мысль через посредство великой русской литературы поднялась высоко над всей европейской мыслью.

И хотелось бы пересмотреть утвердившийся в историографии исключительно материалистический подход, согласно которому реформы 60-х годов были следствием, главным образом, экономических потребностей России, а не всего развития русского либерального сознания, не выражением торжества общественного мнения, глубоко укорененного в России со времен новгородского веча, Соборов XVII века, законодательных предложений екатерининской и александровской эпох.

Деятели великих реформ Д. Блудов, С. Зарудный, Н. Милютин, Кошелев, Ю. Самарин, Вел. Кн. Константин, Валуев, ободряемые императором Александром II, довершили дело, к которому двигалась несколько столетий русская либеральная мысль.

Реформы 60-х годов поражают непредубежденного историка тем сочетанием смелости и осмотрительности, решительности и осторожности, которое свойственно лишь мероприятиям опытных либеральных политиков. Существовавшее около трех веков крепостное право было отменено без всяких потрясений, без бессмысленного пролития крови, без уничтожения целых классов общества, без замены власти одних тиранов властью и произволом других, в общем, без побочных явлений, которыми сопровождалось крушение феодализма в странах Западной Европы. Русское общество, подготовленное гуманистической русской литературой, сразу признало естественным видеть в крестьянине гражданина, не менее достойного, чем другие подданные империи, а сам русский мужик, обретя юридическую свободу, не бросился грабить и убивать, а довольно быстро приспособился к новой системе отношений. Количество крестьянских бунтов после отмены крепостного права было не меньше и не больше, чем в дореволюционный период XIX века. Советский учебник истории меланхолично признает: «Всенародное восстание, за которое боролись революционеры-демократы, осуществить не удалось». Либералы, проводя реформу, руководствовались тем же положением, что и декабристы: «Надо чистосердечно признать необходимость коренного преобразования и совершить его правомерным порядком; это лучшее и единственное средство обессилить и победить коммунизм», — писал один из деятелей реформ 60-х годов. Вопреки утверждениям советских историков, либералы не хуже революционеров понимали необходимость наде-

ления освобождаемых крестьян землей, но — в отличие от авантюристических планов революционеров — такая передача земли крестьянам должна была быть осуществлена, по мысли либералов, без разоренья помещичьего землевладения. Если юридическое освобождение крестьянина, его гражданскую идентификацию возможно было осуществить за один день, то нельзя было сразу, без ущерба для страны, ломать сложившиеся за века экономические отношения, а потому экономическое освобождение крестьян было реформами 60-х годов лишь начато, а завершено почти через 50 лет реформами Столыпина. Деятели 60-х годов продемонстрировали, что не экономические ломки приводят к политическим свободам и справедливости, а как раз наоборот: только страна, делающая шаги вперед в направлении освобождения личности, обеспечивает себе экономический подъем. После реформ 60-х годов в России без потрясений и человеческих жертв, которыми сопровождались, например, петровские преобразования и сталинская индустриализация, совершилась промышленная и техническая революция. Так, выплавка чугуна за 35 лет после реформ возросла более, чем в четыре раза, выплавка железа и стали — в пять раз, добыча каменного угля — более, чем в десять раз. Продукция хлопчатобумажной промышленности увеличилась почти в пять раз, протяженность железных дорог выросла с одной тысячи километров в 1856 году до 23 тысяч в 1880 году, и, что очень показательно, вывоз продукции из страны превысил ввоз более, чем на 20 миллионов рублей, что обычно свидетельствует о здоровье экономики. Все это стало возможным не благодаря насилию над народом, а как раз наоборот — благодаря резкому расширению сферы личных свобод. Помимо самого существенного в реформах — освобождения крестьян, — необходимо упомянуть расширение прав местного самоуправления (земства, городские думы), — резкое сокращение обязательной военной службы с 25 до 6 лет, значительное смягчение цензурных правил (большое количество книг было разрешено печатать вообще без цензуры), приобретение университетами элементов автономии. Была проведена важнейшая реформа суда. Впервые в России суд стал соревновательным и гласным. Русская судебная система после 60-х годов стала самой демократической в Европе, возможности защиты подсудимого в условиях гласности и независимости суда от государства были такими, что суд не раз оправдывал даже государственных преступников. В результате реформ 60-х годов в России не воцарилось царство либеральности, не бросились в объятия друг другу богатые и бедные, обиженные и обидчики, не потекли мо-

лочные реки в кисельных берегах. Утопии оставались на страницах всяческих «Что делать?» — жизнь человеческая, жизнь общественная, жизнь государственная не подчиняются благим пожеланиям утопистов. Реформаторы 60-х годов были людьми мудрыми, они руководствовались убеждением, что одинаково опасны для страны и стагнация, и ускорение процесса, который должен развиваться естественно. Один из умнейших деятелей того времени Ю. Самарин сравнивал развитие общества с родами: «Беременная женщина стонет и мечется, но кто вздумает, из сострадания, ускорить роды, тот получит, вместо здорового ребенка, выкидыш». Создатели русского тоталитаризма старались или задушить ребенка в чреве матери-истории (тоталитаристы у трона), или ускорить роды «из сострадания» (тоталитаристы-революционеры).

Попыткой ускорить развитие русской свободы стала террористическая деятельность народовольцев, которая привела, как говорилось выше, к приостановлению процесса реформ, к прекращению прогресса свободы, а в некоторых областях и к движению назад. «Воскресенье» Толстого показывает этот процесс ужесточения русской жизни в 70-80 годах, показывает, к чему вели Россию политики, которые хотели «устроиться без Христа» (Достоевский), одни формально поклоняясь Ему, другие Его откровенно проклиная.

Но работу русского либерального сознания уже невозможно было остановить.

Революция 1905 года, прошедшая, в основном, под знаком либерализма, завершилась октябрьским манифестом 1905 года, поставившим Россию в ряд с западноевропейскими демократиями. И опять русский народ показал себя вовсе не тем чудовищем крайностей, «бездн», как это иногда представляется; в первой Думе (март 1906 г.) радикально-левые (социал-демократы) и радикально-правые («Русское собрание») получили вместе всего 45 мест, в то время как либеральная партия кадетов получила 170 мест. Противодействие реформам со стороны двора, его попытки ограничить права народного представительства привели по известной схеме к победе крайних элементов, и вот во второй Думе крайне левые и крайне правые получили более половины мест. Возник парадокс: Дума, созданная в результате Октябрьского манифеста, этот самый манифест подвергла атакам как справа, так и слева, а социал-демократическая (большевистская) фракция Думы вообще начала создавать «военные организации» для переворота, и сам вожь большевиков Ленин прямо заявляет, что задача социал-демократических депутатов не в том, чтобы конструктивно работать в Думе, а в том,

чтобы работу эту разваливать. Какой же вывод делает царская власть? Да опять тот же, что всегда в подобных ситуациях: разгоняет Думу (переворот 3 июля), изменяет избирательный закон таким образом, чтобы посеять в народе недоверие к парламентской системе, а на национальных окраинах — вызвать взрыв сепаратистских настроений. Но даже в этих условиях в Думе не взяли верх крайние элементы — победил центр: октябристы и кадеты. Опираясь на этот центр, Столыпин и провел свои реформы: аграрную и народного образования (значительное увеличение ассигнований на школы и университеты).

Правда, Столыпин и поддерживающие его партии не проявили в отношении к национальным окраинам такой гибкости, как во внутрирусской политике. Столыпин осуществлял прежний имперский курс, чем внес печальный вклад в дело возбуждения ненависти к русским в Финляндии, Польше, на Кавказе, в Средней Азии. Не смог найти Столыпин и альтернативу террору слева, противопоставив ему правительственный террор.

Время Думской монархии (1907-1914) определилось поразительным улучшением благосостояния народа, укреплением русской экономики, расширением прав личности, взлетом духовной энергии («серебряный век» русской литературы и русского искусства). Долго после октябрьского переворота будут говаривать в России старики: «Хороша была жизнь перед войной» (1914 года). И есть даже то ли анекдот, то ли быль, как престарелая русская актриса уже в 40-м году на занятиях политкружка на вопрос, как она представляет себе жизнь при коммунизме, перечислила все возможные блага, о которых только может мечтать простой человек, а в заключение прибавила: «Ну, совсем как перед революцией».

Почувствовав огромную силу России (а сила эта была результатом деятельности либеральных политиков), правые круги решили ее использовать не для дальнейшего продвижения России в экономической, культурной, правовой сферах, а для наступления на Думу и для увеличения внешнеполитической активности, которая и привела Россию к катастрофической для нее войне. После солженицынского «Августа» нечего прибавить к картине того вреда, который монархия принесла русской армии в период русско-германской войны. Гибель миллионов русских людей, разорение сельского хозяйства, лишившегося работников и лошадей, начавшийся в городах голод, кризис в промышленности и, в связи со всем этим, рост эффективности большевистской пропаганды — таков итог войны к началу 1917 года.

И хотя февральская революция, ставшая впервые после Собора 1613 года выражением почти общенациональных чаяний, привела к власти правительство, назначенное народными избранниками, это последнее уже не в состоянии было найти выход из кризиса.

А. И. Солженицын в интервью с И. Сапиемом правильно говорит, что «Временное правительство существовало, математически выражаясь, минус два дня, то есть оно полностью лишилось власти за два дня до своего создания»; однако никак нельзя согласиться с нашим писателем и историком, что в поражении Временного правительства выразилось ничтожество и бездарность либерализма. Дело представляется иначе: слишком непропорциональны были силы разрушения, запущенные за три года до возникновения Временного правительства, и личные возможности довольно заурядных людей, взявших на себя непосильное бремя спасения России. В условиях мирного развития между 1905 и 1914 годами руководимая либералами Россия и добилась тех успехов во всех областях жизни — экономической, культурной, правовой, — о которых сам же А. И. Солженицын неоднократно (и справедливо!) упоминает во многих своих публицистических и художественных вещах. А вообще-то не хотелось бы определять даровитость политиков лишь на основании результатов борьбы: победитель не обязательно мудрее побежденного. Сам же А. И. Солженицын писал М. П. Якубовичу: «...не могу признать за даровитость — искусство перегрызть горло, за ум — низкую, ловкую хитрость». Этими словами Солженицын возражал против мнения тех, кто склонен считать Сталина «за ум и талант».

В политике есть и такое явление, как гангстеризм. Демократическое Временное правительство именно вследствие своей либеральной сущности не могло действовать гангстерскими приемами. В то время как оно искало оптимальных способов решения кризиса без нарушения законности и демократических принципов, правые и особенно левые гангстеры обещали измученным войной и ее последствиями массам сиюминутное царство Божье, только бы они согласились отвергнуть демократию то ли в пользу самодержавия, то ли в пользу коммунизма. Демократическое правительство, совершенно не имеющее того опыта лавирования, который имеют нынешние западные демократии, а главное — не имеющее историей отпущенного времени, растерялось, осталось в трагическом одиночестве и пало. Оно пало, по словам А. Ф. Керенского, сваленное «большевиками справа и слева». Может быть, и прав А. И. Солженицын, пришедший к выводу, что мятеж Корнилова не представлял собой

правой угрозы (хотя есть авторитетное свидетельство А. И. Деникина, что Корнилов шел к организации военной диктатуры), но все же в словах Керенского о большевиках справа и слева мы найдем большую долю истины, если под большевиками справа понимать не только корниловцев, но те элементы русского общества, которые со времен великих реформ делали все, чтобы оттолкнуть массы от либерализма в сторону левого экстремизма. Либеральные деятели, желая именно добра династии, предупреждали ее от опасности ограничения свобод. П. Б. Струве писал в открытом письме Николаю II, что «режим погубит себя, если будет настаивать на управлении страной бюрократическими методами». Если бы монархия вняла этому и подобным предупреждениям, если бы она согласилась сделать правительство ответственным перед Думой, которая ведь никак не ставила целью свергнуть царя (думцы еще в 1916 году встречали появление Николая II в зале заседаний криками «ура!»), то не было бы не только октябрьского переворота, но и февральской революции. А Временное правительство не оказалось бы в положении человека, который пытается остановить летящую с огромной скоростью глыбу.

* * *

Создание на территории России тоталитарного государства не было фатально предопределено. Русская персоналистическая, анти-тоталитарная мысль, выражавшая представления русского человека о свободе выбора несвободы от надперсональных структур, имеет глубочайшие исторические и психологические корни.

Как бы сильны ни были в дооктябрьской России тоталитарные тенденции, в ней на протяжении ее тысячелетней истории можно считать не более пятидесяти лет господства законченно тоталитарных режимов (Ивана IV, Петра I и Павла I). После же 1917 года впервые в истории русского народа возникла система, определяемая тоталитарной идеологией, с помощью дезинформации и насилия навязывающая народу определенный тотальный объект.

И потому-то борьба за права человека, развернувшаяся ныне в СССР, не просто один из видов оппозиционной деятельности, но выражение глубочайшей потребности человека — потребности индивидуальной свободы, не искоренимой в русском человеке.

СОЮЗ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ В ИЗРАИЛЕ

Тель-Авив, ул. Каплан 6

СОЮЗУ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Москва

ОБРАЩЕНИЕ

Русские писатели Израиля возмущены арестом нашего коллеги Игоря Губермана. Он арестован в связи с тем, что подал заявление на выезд в Израиль и отказался сотрудничать с карательными органами. Это неприкрытый акт мести. Мы требуем немедленного освобождения Игоря Губермана и выдачи ему разрешения на выезд в Израиль.

Подписи: *Ицхак Мерас · Давид Маркиш · Давид Дар · Феликс Кандель · Рут Зернова · Нина Воронель · Рафаил Нудельман · Майя Каганская · Наталия Рубинштейн · Виктор Перельман · Зиновий Шохин · Феликс Розинер · Савелий Гринберг · Владимир Глозман · Леонид Гиршович · Лев Меламид · Михаил Шульман · Светлана Шенбрун · Феликс Дектор · Зеев Гительман · Юрий Милославский · Борис Камянов · Аркадий Цетлин · Михаил Генделев · Анри Волохонский · Рина Левинзон · Александр Воловик · Евгений Цветков · Мирьям Бахрах · Гита Бахрах · Рахель Баумволь · Наум Вайман · Лия Владимирова · Яков Хромченко · Александр Верник · Эли Люксембург · Григорий Люксембург · Леонид Вайнштейн · Мирра Блинкова · Ефрем Баух · Александр Фельдман · Моше Ландбург · Борис Векслер · Ася Абрамова · Леон Лиор · Софья Тартаковская · Израиль Змора · Авраам Белов · Юлиус Телесин · Илья Бокштейн · Юлия Шмуклер · Авраам Гердон · Татьяна Цейтлина · Ривка Рабинович · Александр Радовский · Яков Цигельман · Александр Розен · Леонид Йоффе · Залман Дубнов · Зиновий Зиник · Дора Штурман · Израиль Шамир · Игорь Борисов*

ИСТОКИ

Роман Днепров

«ВЛАСОВСКОЕ» ЛИ?

Возьму на себя сказать: да ничего не стоил бы наш народ, был бы народом безнадежных холопов, если бы в эту войну упустил возможность хоть издали потрясти винтовкой сталинскому правительству, упустил бы хоть замахнуться да матюгнуться на «Отца родного».

А. Солженицын. «Архипелаг ГУЛаг»

В последние лет десять, а особенно после появления на свет Божий солженицынского «Архипелага ГУЛаг», как-то уже повелось именовать Освободительное движение времен Второй мировой войны — «власовским». Что, конечно, и неверно по сути, и является неким историческим упрощением.

Причин для этого неожиданно появившегося наименования несколько. С советской стороны — это явная (и довольно успешная) попытка приклеить ярлык с презрительным суффиксом «щина» к многомиллионному движению и связать его с именем одного человека, казненного за государственную измену в Москве 1 августа 1946 года. Дескать, был один главный предатель и изменник, и было несколько тысяч или десятков тысяч соблазненных им слабых или же беспринципных людей. Отсюда и «власовщина» и «власовцы». Этот термин бездумно повторяется и теми из недавних советских граждан, которые, попав в так назы-

ваемый Свободный Мир, не берут на себя труд как следует познакомиться с тем безусловным в истории нашей Родины феноменом, который представляет собой Освободительное Движение Народов России (ОДНР) времен Второй мировой войны.

В то же время сами «власовцы», т. е. участники ОДНР, особенно его вооруженных формирований всех мастей и оттенков, по вполне понятным причинам не желают отказываться от этого наименования: мученическая смерть Командующего Вооруженными силами КОНР (Комитет Освобождения Народов России) и его ближайших соратников сделала для нас наименование «власовец» названием почетным. (Хотя большинство бывших участников ОДНР, с кем автору этой статьи приходилось на эту тему беседовать, согласны с исторической неточностью этого названия.) В этой ограниченной размерами статье делается попытка, возвращаясь к событиям, которые происходили более 35 лет назад, поставить кое-что на свои места.

Ряд историков Второй мировой войны придерживается мнения, что Гитлер проиграл свою войну против Сталина еще до начала военных действий, где-то между 10 ноября 1940 года и 22 июня 1941-го, т. е. между тем днем, когда возможный план наступления на Советский Союз, носивший до того времени кодовое название «Фриц», был переименован в план «Барбаросса» и война против Советского Союза стала делом решенным, и началом военных действий. Эти историки (к которым относит себя и автор) считают, что война Германии с Советским Союзом 1941-45 гг. была проиграна политически, что Гитлер заставил советский народ защищать своих угнетателей: Сталина и ВКП(б).

Казалось бы, спорить с этим трудно, однако все же большинство историков придерживается мнения иного и продолжает искать решения вопроса в неожи-

данных остановках и загибах клиньев 2-й танковой армии Гудериана и неправильно выбранных направлениях немецкого главного удара.

Никто не отрицает чисто военных ошибок уверовавшего в свою миссию ефрейтора. Взять хоть ту же совершенно ненужную гибель 6-й немецкой армии под Сталинградом. Но нет возможности найти документ или же документы, которые бы давали наступающей немецкой армии указания, как обращаться с населением оккупированных советских областей. Нет таких документов и никогда не было. Имеются лишь бредовые или полубредовые разговоры Гитлера за кофейным столом, которые дошли до нас в мемуарах, например, Альберта Шпеера или же в недавно вышедшей третьим изданием книге «Hitlers Tischgespräche» («Разговоры Гитлера за столом»). Там рассказывается, как между запикиваемыми в рот кусками торта вождь Третьего Рейха предсказывал будущее России, с немецкими рыцарскими замками в плодородной полосе, с полуграмотным местным населением и прочими нацистскими прелестями. Но обо всем этом мы узнаем сейчас. А тогда, летом 41-го года, что греха таить, достаточный процент советского населения, еще помнивший немцев 1918 года, переживший лишь десять лет назад коллективизацию и лишь четыре года назад ежовщину, ждал немцев как освободителей. Включая и тех евреев, которые, не желая верить советской пропаганде, отказывались бежать на восток в неизвестное будущее и заплатились за это Бабым Яром.

Однако вернемся к ОДНР.

Прежде всего, название это вымученное. Родилось оно после долгих споров с различными немецкими учреждениями, как, например, Восточное министерство Альфреда Розенберга или Министерство пропаганды Иозефа Геббельса, в дискуссиях с различными национальными группировками и, наконец, было признано всеми: Освободительное Движение Народов

России и потом КОНР, Комитет Освобождения Народов России. От этого названия открещиваются и открещивались лишь крайние сепаратисты, типа обоих ОУН: ОУН(Р) Степана Бандеры и ОУН(С) Мельника, — да крайние русские националисты, которым не только термин «Народы России», но и понятие «российский» или «россияне» кажутся каким-то предательством Вечной России.

Вооруженную борьбу ОДНР времен Второй мировой войны можно достаточно четко разделить на три периода.

Первый период. От 22 июня 1941 года до опубликования так называемого «Смоленского манифеста» генерала А. А. Власова весной 1943 года. Период этот самый длинный, самый неорганизованный и, к сожалению, оставшийся менее всего изученным.

Второй период. От весны 43-го года до 14 ноября 1944 года, когда в Праге был обнародован и принят «Пражский манифест» с его 14 пунктами. Различные историки ОДНР — главным образом, иностранные, — рассматривая этот период, больше всего концентрируют свое внимание на переговорах А. А. Власова и его окружения с различными немецкими учреждениями и их руководителями. Бои и гибель отдельных добровольческих подразделений, крупных и мелких, как на Восточном, так и на Западном фронтах обычно ускользают от внимания этих историков.

Третий период. От 14 ноября 1944 года до капитуляции Германии в мае 1945-го. Писательница Ирина Сабурова в одном из своих произведений назвала это время «трагической феерией РОА». Лучшего названия, пожалуй, не придумаешь. Период этот, частично из-за его краткости, частично из-за того, что к ноябрю 44-го года территория, на которой оперировало ОДНР, свелась лишь к самой Германии, изучен лучше всего. Но, на мой взгляд, он наименее интересен, хотя бы потому, что в это время и исход всей Второй мировой вой-

ны, и судьбу ОДНР можно было уже предугадать. Хотя никто не мог предугадать глупости и безжалостности западных союзников в их отношении к бывшим советским гражданам — как участникам ОДНР, так и просто военнопленным или же «остарбайтерам».

К этим трем периодам борьбы ОДНР следует, конечно, добавить и ее *Эпилог*, насильственные выдачи руководителей ОДНР и его рядовых участников. Однако об этом писалось много, и эта тема, несмотря на ее трагичность, а может быть, именно вследствие ее трагичности, выходит за рамки этой статьи.

Совершенно невозможно установить, когда, при какой немецкой части, был создан первый добровольческий отряд из бывших советских военнослужащих. Известно, что в августе 1941 г. советский полк под командованием донского казака майора Кононова перешел на сторону немцев и на его основе было создано добровольческое подразделение. Однако есть основания думать, что уже до этого имели место случаи перехода на сторону немцев советских подразделений, которые выражали желание воевать против большевиков и которых немцы не разоружали. Зависело такое от того или иного командира той или иной немецкой дивизии, действовавшего на свой страх и риск. А риск был немалый: в те месяцы немцы шли на восток как по ровному месту, брали сотни тысяч военнопленных и были уверены, что конец войны на носу. Формирование добровольческих частей легко могло рассматриваться как неверие в мощь германской армии со всеми последующими административными выводами.

В городе Фрейбурге (Западная Германия) помещаются военные архивы Федеративной Республики Германии, в которых сосредоточено все то, что не погибло при отступлении и не попало в руки частей Советской Армии. В Вашингтоне, в американских Национальных Архивах, находятся микрофильмы захвачен-

ных союзниками немецких документов, в том числе и военных, почти все то, что находится в Военных архивах во Фрейбурге.

Только тогда, когда потратишь несколько недель, работая в одном из этих архивов (автор этой статьи работал в обоих), становится ясным, какой огромный размах приняло добровольческое движение в первые два года советско-германской войны. Буквально в каждой немецкой дивизии, находившейся на Восточном фронте, был минимум один, а то и несколько добровольческих батальонов, охотничьих сотен, разведывательных батальонов и взводов и так далее. Это те, кто носил оружие, — безоружные помощники, так называемые «хильфсвиллиге», или же сокращенно «хиви», здесь не в счет. Некоторые из этих частей — они редко превышали численность 300-500 человек — так прямо и называются «добровольческий батальон номер такой-то», «разведывательная добровольческая команда номер такой-то», или, в тех случаях, когда тот или иной немецкий генерал, командир дивизии или корпуса был поосторожнее, часть именовалась «боевая группа такого-то», и давалось ей имя какого-либо немецкого фельдфебеля или же лейтенанта. Позже, когда советские охотники за живыми черепами бросились копаться в этих документах, разыскивая еще оставшихся в живых и невыданных участников ОДНР, эта немецкая осторожность (или чванство?) пошла на пользу. В документах — их надо искать по разделу «Eins Caesar», по штабному коду отдела немецкой военной контрразведки, — находится мало фамилий, свойственных народам Советского Союза, — эти люди погибли безымянно. Иди ищи, кто был в «Кампфгруппе лейтенанта Гамфе»!

Командиры немецких дивизий не спешили отпустить от себя эти группы и группочки добровольцев, когда после опубликования Пражского манифеста в ноябре 1944 года стали создаваться вооруженные силы

КОНР. Да их к тому времени и немного осталось. Большинство полегло, прорываясь из окружений, стреляя до последнего патрона, когда надежды на прорыв уже не было. Добровольцы знали, что их ждет в плену. Иной раз встретишь в советской художественной литературе осторожные строчки о таких обреченно отстреливавшихся, обреченных людях. И когда читаешь у того же Солженицына об идущих, как шквал, на прорыв бойцах какой-то безымянной добровольческой части, то становится тепло на душе у нашего оплеванного брата. Хорошо дрались, до конца! Русский человек всегда любил и уважал боевую доблесть. Даже, может быть, особенно в гражданских войнах. Но это так, сентиментальные отступления. Пусть читатель извинит за них автора.

Немецкие статистики военного и послевоенного периода считают, что различного типа добровольческие соединения в немецкой армии, так называемые «ост-фербенде» всякого рода, насчитывали в свои лучшие времена от 900.000 до 1.500.000 человек. Это лишь носившие оружие — «хиви» в счет не шли. При обычной немецкой точности такая приблизительность — туда-сюда 30% — показательна уже сама по себе. В немецкой армии до 43-го года не было центрального места, куда сходились бы данные о таких подразделениях и частях. А когда это добровольческое управление под командованием престарелого кавалерийского генерала Кёстринга и было создано, то все же ряд добровольческих частей им охвачен не был по причине индивидуальных соображений того или иного немецкого генерала, главным образом. К «своим» добровольческим частям они относились ревниво, как к своей вотчине!

Какого типа добровольческие соединения? Это были батальоны РННА, о которой речь будет впереди, казачьи сотни и полки и самые различные национальные части: грузинские, армянские, северокавказ-

ские, среднеазиатские и даже идель-уральские легионы — пусть мне объяснят, что это такое, — калмыцкие полки и различные украинские части, вплоть до созданной в 44-м году дивизии СС «Галичина». Пусть ретивые обвинители «фашистских приспешников», попавшие на эту сторону, не спешат приписать этой дивизии «подвиги», в которых обычно обвиняются войска СС. Эта была нормальная, пусть отборная, добровольческая часть украинских националистов, одетая в форму СС. Не следует забывать, что *снабжение* большинства добровольческих соединений было в руках управления СС. Необходимо также различать фронтовые дивизии «Ваффен СС» — их было к концу войны свыше 20 — и части так называемого «Альгеймайне СС», которые и занимались концлагерями, расстрелами и т. д. и из рядов которых и выходили «Зондер-» и «Айнзацкоманды» всякого типа и назначения.

Ранней осенью 1941 года в районе Локоть Брянской области возникает уникальное явление, все еще ждущее своего объективного историка. Там создается — представителями советской интеллигенции и невоеннослужащими Воскобойниковым и Каминским — некий самоуправляющийся край, с собственной десяти-тысячной армией, РОНА (Русская Освободительная Народная Армия), и соответствующими управлениями. Немцев там нет, за исключением нескольких связных от 2-й танковой армии, нет и партизан, которые ищут мест, где оперировать легче.

Из этой пары Воскобойников был явно человеком более высоких моральных качеств, но зимой 41-42-го года он гибнет. Партизаны забрасывают гранатами его штабной дом. У А. Н. Сабурова, знаменитого советского брянского партизана, в его двухтомных мемуарах «Отвоеванная весна» это происшествие описывается в тонах драматических. Задание партии, подготовка рейда, тяжелый бой и гибель предателя. Все это, говоря вежливо, брехня. Несколько отдельных парти-

зан сумели пробраться через посты «каминцев», как их впоследствии называли, и бросить в дом, где ночевал Воскобойников, несколько гранат. Сам Воскобойников и, если не ошибаюсь, секретарша штаба погибли. Бронислав Каминский, бывший до этого помощником Воскобойникова, принимает начальствование и сразу же вешает нескольких захваченных в этой ли, иной ли операции — это не установлено — партизан. Вот и весь героический рейд сабуровцев.

О Каминском, который после боев на Курской Дуге вел свою «армию» и пятидесятитысячный обоз мирного населения на Запад и, выделив небольшой отряд из своих частей для подавления Варшавского восстания 44-го года, был осенью того же года расстрелян немцами, написано довольно много и довольно плохо. Человек он был, действительно, выражаясь мягко, сложный и страшноватый. Но не все было в нем так черно, как об этом пишут. Его главный биограф, американский историк Александр Далин, сын известного меньшевика Давида Далина, — кстати, вместе с другими известными меньшевистскими лидерами «принявший» власовское движение — то ли случайно, то ли сознательно прошел мимо ряда документов в немецких архивах, которые выставляют Каминского в несколько ином свете. Например, письмо Каминского Гитлеру, которое, будь оно отправлено немцами по адресу, принесло бы Каминскому смерть значительно раньше осени 44-го года.

Самоуправляющийся район Локоть мог существовать почти полных два года из-за крайне доброжелательного к принципу русского самоуправления и к самому Каминскому отношения командующего немецкой 2-й танковой армией генерал-полковника Рудольфа Шмитта. Шмитт сменил Гудериана на этом посту после отставки последнего, вызванной поражением немцев под Москвой. Но когда генерал-полковник Шмитт предложил Берлину, чтобы вся Брянская область,

включая сам город Брянск, были выделены в самоуправляющуюся русскими область, он был немедленно отстранен от командования и, так сказать, «выжат» в отставку. Уже после конца войны Шмитт в поезде из Западного Берлина в Западную Германию был обыскан чинами восточногерманской полиции. В его чемодане был обнаружен генеральский мундир, с которым прусский служака не пожелал расставаться. Шмитт был немедленно задержан, и после этого его следы теряются: советские власти, естественно, не спешили с освобождением генерала, который ратовал за русские самоуправления. Может, кто из новоприбывших встречал на островах «Архипелага ГУЛаг» этого друга Национальной России?

42-й год можно, пожалуй, считать годом, когда формирование добровольческих частей достигло своего кульминационного пункта.

В Осинторфе, в Белоруссии, с помощью приехавших из Германии трех офицеров-эмигрантов, генерала Иванова, полковника Кромиади (он же полковник Санин) и полковника Сахарова, формируются батальоны РННА (Русская Народно-Национальная Армия). Однако вскоре в Осинторфе появляются бывшие советские офицеры, ставшие впоследствии видными деятелями ОДНР, Жиленков и Боярский. Между ними и офицерами-эмигрантами сразу же, на основе досадных недоразумений, возникают трения. Немцы же, увидев, что Осинторфовская акция идет совсем не в нужном им направлении, быстро прикрывают ее, и РННА распадается на отдельные батальоны, которые действуют против местных партизан.

Впоследствии, в 43-м году, эти батальоны перебрасываются на Запад, на Атлантический вал. Ряд критиков ОДНР и лично Власова упрекают последнего за то, что он во время этой переброски обратился к добровольцам этих батальонов с личным письмом, в котором-де оправдывал эту переброску, фактически

превращавшую добровольцев-антикоммунистов в немецких наемников, которым все равно, где и против кого драться. Этим историкам и не историкам, не вдаваясь в разбор положения, в котором тогда находился сам Власов, следует посоветовать повнимательнее прочитать это, в значительной степени написанное эзоповским языком, письмо. Начиналось оно словами: *«По приказу германского командования»*... Умеющий читать да прочитает...

В 42-м году летом начинается победный марш немцев на Восток на южном фланге Восточного фронта. Поражения советских войск этого времени уже принципиально отличаются от страшных поражений лета 41-го года. Если тогда немцы в устроенных ими котлах захватывали сразу по миллиону пленных или около того, а это лишь свидетельствует, что советские солдаты драться не хотели, ибо миллионную армию к сдаче не принудишь, — то летом 42-го года имел место страшный *военный* разгром. Разгром, вызванный «гениальным» сталинским весенним контрнаступлением под Харьковом, в ходе которого полегло несколько советских армий. Покончив с ними, немецкие дивизии рванулись на Сталинград и Северный Кавказ. Военные специалисты недоумевают и по сей день от такого стратегического плана Гитлера, после поражения под Москвой принявшего на себя верховное командование. Но в задачи этого повествования не входит разбор стратегических ошибок Гитлера и Сталина: в этом, как во многих других аспектах, они, безусловно, стоили друг друга.

Поздней осенью 41-го года немцы на южном фланге дошли до Ростова-на-Дону и закрепились там. С началом наступления 42-го года немцы пошли по казачьим землям, сначала по областям Всевеликого Войска Донского, а потом по областям Кубанского и частично Терского Войск. Уж кому-кому, а казакам было за что считаться с советской властью! Заходя в

казацкие станицы, передовые немецкие части нередко встречали там уже готовые казацкие сотни, вооруженные брошенным советской армией оружием, иногда даже тяжелым. Если немецкий генерал, командующий такой дивизией, относился с симпатией к национальному российскому делу, то этим сотням давалась возможность сразу же присоединиться к немецким частям и гнать вместе с ними советские армии на Восток. Если нет, то они оставались в тылу, а иногда, реже, разоружались и отпускались по домам. О возможности возвращения советской власти ни казаки, ни немцы в то время не думали.

Лживые строки произведений советского писателя Анатолия Калинина об этом времени пора, наконец, назвать своим именем. Главнокомандующий немецкой армейской группой «Юг», генерал-фельдмаршал фон Клейст к идее создания в массовом порядке русских добровольческих соединений относился положительно. К тому же, сам Гитлер со своими бредовыми расистскими идеями считал казаков не россиянами, а какой-то особой нацией. Необходимо признать, что тут ему вторили многие из казацких деятелей-сепаратистов. Во всяком случае, за «унтерменшей» казаков в те времена не считали, да и зима 41/42 гг. послужила солидным уроком немцам: формирование ограниченного, я подчеркиваю, *весьма ограниченного* количества казацких частей было разрешено. Еще кое-кто жив из помнящих те времена. Формировка казацких частей происходила приблизительно так: в сопровождении нескольких немцев казацкие офицеры, иногда из «старых» эмигрантов, иногда из советских граждан, посылались в несколько станиц с целью сформировать казачий дивизион. Обычно уже в первой, много — во второй станице дозволенное число добровольцев набиралось в течение нескольких часов, причем многих желающих приходилось отвергать. Скрежеща от злости зубами, вербовщики проклинали немецкую глупость,

но поделаться ничего не могли. Похожее положение происходило и в лагерях военнопленных, откуда тоже брались добровольцы, причем вербовщики не обращали внимания на происхождение. Так, в казачьи части попало немало эвакуированных на Северный Кавказ ленинградцев, среди которых — правда, их были единицы — иногда попадались и евреи. Случаи выдач немцам таких добровольцев автору неизвестны.

Сколько казачьих сотен, дивизионов и полков было таким образом сформировано? Число их Ты, Господи, веши. Шестая немецкая армия с ее архивами и штабами, как известно, погибла бесславно и ненужно в Сталинграде. Известно лишь, что в ее составе было немало казачьих сотен и батальонов. В Соединенных Штатах в настоящий момент находится офицер этих добровольческих частей, дошедший с 6-й армией до Сталинграда, тяжело раненный в первых городских боях и поэтому своевременно эвакуированный. Он считает, что в рядах шестой армии было чуть ли не несколько десятков тысяч казаков, которые, естественно, и бились до последнего патрона. Этот офицер приехал в США в качестве поляка и в таковых ходит до сегодняшнего дня. О своих военных переживаниях говорить не любит, разве что осенью в дни Покрова, казачьего праздника, за очень уж объемистой чаркой и в очень уж проверенном обществе. Выдачи 45-го года и последовавшая за ними многолетняя «охота» всех, кому не лень, за добровольцами, не забываются и через тридцать лет...

Когда немцы после сталинградского разгрома покатались обратно на Запад, с ними в снег и распутицу зимы 42/43 гг. пошло и мирное население. Немцы никого с собой не гнали — всё это сказки, — но и не отгоняли, зная, что ждет людей или их родных, которые подняли оружие против Сталина. Многие тысячи погибли в дороге, много пало в боях. Немногие добрались до Центральной Европы. Из них потом в Север-

ной Италии был образован так называемый казачий стан и 2-я, «домановская», казачья дивизия. Именно о выдачах этих частей англичанами так много и так трогательно теперь пишут. Через тридцать лет.

Самые же боевые части казаков, сильно потрепанные в боях в Млаве, в Восточной Пруссии, осенью 43-го года были объединены в 1-ю казачью дивизию, развернутую потом, в конце 44 года, в 15-й казачий кавалерийский корпус, насчитывавший в конце войны около 50.000 клинков. Командовал сначала дивизией, потом корпусом немецкий кавалерийский офицер, Гельмут фон Панвиц, получивший дубовые листья к рыцарскому кресту, командуя лишь дивизионом. Эта часть была единственной добровольческой частью, которая в одиночку сходилась грудь на грудь с крупными советскими частями. И била их. В декабре 44-го года в Югославию, где находился тогда казачий корпус, прорвалось несколько советских дивизий. В Словении, у большого села Питомача, полки Второй бригады корпуса разнесли в пух советскую 233 стрелковую дивизию, взяв более тысячи пленных. Советские солдаты в казаков почти не стреляли, даже тогда, когда исход войны уже был ясен для всех. Многие из советских пленных вошли в казачьи части и разделили их судьбу. 15-й казачий кавалерийский корпус был выдан «под чистую». О нем написано немного, просто потому, что на Западе почти никого из его рядов не осталось. Сохранилось лишь — много-много — несколько сотен, бывших в то время в госпиталях и чудом уцелевших. И они предпочитают помалкивать, даже теперь, по прошествии более чем тридцати лет.

Что же касается самого фон Панвица, то он, будучи большим другом казаков и Национальной России, первым послал телеграмму Власову после обнаружения Пражского Манифеста, отдавая себя и свой корпус в подчинение главнокомандующего Вооруженными Силами КОНР. За что чуть не был расстрелян

своим начальством, но отделался лишь несколькими днями домашнего ареста. Побоялись немцы раздражать в ноябре 44-го казаков, обожавших своего немецкого командира. Весь этот инцидент может подтвердить бывший начальник личной канцелярии генерала Власова полковник К. Кромиади (Санин), находящийся еще в добром здравии, несмотря на свой преклонный возраст.

Весной 45-го года казаки 15-го корпуса выбрали Панвица своим походным атаманом. И он не обманул их доверия. Он вывел потрепанные в непрерывных боях полки 15-го корпуса в распоряжение англичан в Австрии, откуда, предварительно разоружив их и усыпив всякими обещаниями, англичане их и выдали. И вместе с ними тогда уже генерал-лейтенант Панвица.

Осенью 46-го года Сталин косвенно признал походное атаманство Панвица, повесив его, единственного немца, вместе с казачьими генералами Красновым, Шкуро и другими через несколько недель после казни (может быть, все-таки точнее — убийства?) генерала Власова и его соратников. День рождения генерала Панвица совпадает с казачьим праздником Покрова Пресвятые Богородицы. В корпусе он отмечался всегда торжественно. Да и теперь уцелевшие его военнослужашие, кто в одиночку, кто маленькой группкой, поднимают в этот день чарку за упокой странного человека, немца, считавшего себя казаком и доказавшего это своей смертью.

12 июля 1942 г., приблизительно в те дни, когда Сталин подписывал свой знаменитый приказ о создании штрафбатов, на Волховском направлении был взят в плен, подчеркиваю, взят в плен, а не сдался, генерал-лейтенант А. А. Власов, которого весной Сталин послал наводить порядки на северном участке фронта и, в частности, взять на себя командование 2-й ударной армией. Однако это командование заключалось в выполнении приказов сверху, большей частью

бездарных и безграмотных в военном отношении; в результате вторая ударная армия была разбита, а ее уцелевший личный состав разбежался, что было делом вполне обычным в те времена.

Вскоре после своего пленения Власов попал в специальный лагерь Высшего немецкого командования для советских пленных около Винницы. Там он получил возможность обменяться мыслями с рядом советских высших командиров и генералов. Эти разговоры, которые впервые в жизни Власов мог вести *свободно*, без опасения последствий, перевернули его мировоззрение.

Да, лично Власова советская власть не обидела. Но разве это так уж важно? Не следует забывать, что если до 35—36 года в Советском Союзе люди в положении Власова еще могли как-то беседовать друг с другом, то с этого времени такой разговор стал совершенно невозможным. Впервые за эти годы Власов мог высказать все, что у него накопилось за годы советской власти в России, лишь в немецком плену. Высказать и выслушать других.

В Винницком лагере, организованном, кстати, графом Клаусом Шенком фон Штауффенбергом, тем самым, что 20 июля 1944 года поставил свой портфель с бомбой под ноги Гитлера, Власов особенно сблизился с полковником Владимиром Боярским, командиром 41-й гвардейской дивизии, который был взят в плен раненым. Боярский прямо заявлял, что ненавидит советскую власть и готов сотрудничать с немцами, однако лишь на основании полного равноправия и в том случае, если планируется освобождение, а не завоевание.

В частных разговорах Боярский иногда рассказывал, как в битве под Москвой ему с его частью, впереди которой шли танки, нужно было пересечь шоссе,

по которому на восток шел сплошной поток гражданских беженцев, покидавших Москву. Остановить этот поток возможности не было. Боярский запросил начальство по радио и в ответ получил трехэтажный мат с глумливым вопросом: что у тебя, танков нет? Пустить вперед танки!

Этот самый Боярский в последние дни существования РОА, вернее, поправлюсь, вооруженных сил КОНРа, когда части первой дивизии отходили от спасенной ими Праги, попал вместе с генералом Трухным в руки чешских партизан. Говорят, что, когда мальчишки-партизаны срывали с него погоны, Боярский, так сказать, «развернулся». Его тут же на первом суку и повесили. Правда эта история или нет, сейчас установить невозможно, но на Боярского это было похоже, да и в списке повешенных в Москве от 1 августа 1946 г. имени его нет.

Весной 43-го в одном из зданий главного командования германской армии, в Берлине, на Викторияштрассе 10, размещался отдел, который, по замыслу, должен был превратиться в штаб уже признанного Освободительного Движения Народов России. Одной из красочных фигур этого времени был майор Мелентий Александрович Зыков, по слухам — еврей, по слухам же — один из сотрудников Николая Бухарина в бытность его заведования в полуопале «Известиями» и, безусловно, один из идеологов ОДНР. С ним всегда неразлучен был его адъютант Валентин Ножин, не расстававшийся с крамольным томиком Антуана де Сент-Экзюпери. Потом, если не ошибаюсь, уже осенью того же 1943 г., работники германской службы государственной безопасности вызвали Зыкова с квартиры на деловое свидание, и после этого он исчез. Несомненно, его убили — то ли за то, что был евреем, то ли за то, что был бухаринцем, то ли за то, что был русским патриотом. Кто знает? Заодно убили и Валью Ножина. А убив, начали потихоньку распускать

слушки, что Зыков-де, кажется, с самого начала являлся агентом советской разведки!

Тут, забегаю несколько вперед, пожалуй, к месту сказать несколько слов об отношении «власовцев» к евреям. Прежде всего, следует знать, что в первые месяцы войны немцы евреев и «комиссаров» сразу пристреливали на месте, если тем не удавалось скрыть свою национальность. Потом комиссаров убивать прекратили, евреев же — продолжали. Пресловутый «комиссарен бефель» был не отменен, но больше не применялся. Когда же пришло время опубликования в ноябре 1944 г. так называемого Пражского манифеста, «ублюдочного», как его, явно не подумав или по недостаточному знанию, кое-кто называет, то немцы долго и безуспешно настаивали на включении туда антиеврейского пункта. Власов наотрез отказался, заявляя неоднократно, что отношение ОДНР к евреям не отличается от отношения к какому-либо другому народу России или, если хотите, Советского Союза. Это упорство бывшего советского генерала, так никогда и не надевшего ни немецкой формы, ни немецких погон, стоило несколько таких, да простят мне может быть излишний пафос, судьбоносных месяцев. Кстати, в рядах частей ОДНР было известное количество офицеров и солдат — евреев, о которых многие знали, но которых никто не выдал. Пусть это послужит некоторым поводом для раздумий тем, кто уже давно твердит, что советской власти-де удалось превратить российский народ в народ поголовных предателей. Кое-кто из этих евреев, носивших форму РОА, жив и до сих пор. Фамилий называть не буду: рассказывать или не рассказывать о своем прошлом — личное дело каждого.

На протяжении 1943 и 1944 гг. немцы, терпя поражение за поражением и на Востоке и на Западе, торговались с Власовым, упорно настаивавшим на том, чтобы договоренность немцев с руководителями

ОДНР не была бы договоренностью коллаборантов, которым, как выражался в свое время Владимир Ильич Ленин, на Россию было наплевать. Об этих переговорах, куда, наконец, включился и сам глава СС Гиммлер, очевидно, лучше своего хозяина понимавший, что песенка, пожалуй, спета, и цеплявшийся поэтому за каждую соломинку, уже написаны книги и при желании можно было бы написать новые.

Сейчас некоторые знаменитые и менее знаменитые критики упрекают Андрея Андреевича Власова и его окружение за то, что они-де не проявили нужной твердости, не стукнули кулаком по столу, не крикнули немцам «нет» и не заставили их либо пойти на настоящее соглашение, либо отправляться ко всем чертям.

Рекомендую этим критикам почитать многочисленные книги, написанные и в академическом духе, и в виде мемуаров о том, как польские представители договаривались — нет, не со Сталиным, а с западными союзниками — о создании новых польских дивизий и как такие действия обуславливались тем, возьмут ли польские части в Италии монастырь Монте Кассино, где оборонялись немецкие парашютисты, прозванные за боевую доблесть «зелеными чертями». Об этом бое сложена превосходная песня, которая начинается словами «Червонэ маки на Монте Кассино замяст росы пили польску крэв», под которую так приятно пьется старым солдатам, не важно, где и как они дрались! А это были не бесправные, объявленные вне закона добровольцы безымянных русских частей, а представители законно признанного правительства страны, из-за неприкосновенности территории которой формально началась Вторая мировая. И как этих представителей и Иден, и Черчилль, и Рузвельт буквально гнали договариваться со Сталиным, который, естественно, имел свои особые планы насчет Польши.

Власов, конечно, мог стукнуть кулаком по столу, что он неоднократно и делал. Мог и послать немцев

ко всем чертям. Что ж! Его бы без шума расстреляли где-нибудь в подвалах большого дома на Принц-Альбрехтштрассе, где в Берлине помещалось Главное Управление Имперской Безопасности. Смерти Власов не особенно боялся, даже такой смерти. Но он знал то, что сейчас забывают его критики. В немецких частях в то время уже служило около миллиона добровольцев, которых в те времена немецкое командование тыкало во все дырки, где особенно сильно стреляли. Этим людям надо было дать что-то, дать какую-то объединяющую идею, дать возможность хотя бы их детям, выросшим на Родине, правительство которой их предало, сказать, что нет, простыми коллаборантами их отцы не были. Что умерли они не за Гитлера, а за Россию, что боролись они не за «Тысячелетний Рейх», а против Сталина и коммунистов, против — вот, полюблилось мне это определение — «зловонных корней социализма» на русской земле. И Власов и его окружение дали им Пражский Манифест, буквально с кровью вырванный у немцев.

Если у кого-то создается впечатление, что я здесь занимаюсь апологетикой, то это отнюдь не входит в цели моей очень схематической статьи. Конечно, что-то, очевидно, можно было сделать иначе. Но следует рассматривать историю ОДНР только в контексте его времени. И не забывать, что его участникам, а особенно вождям со всех сторон грозил лишь один выход — пуля. И не случайно, выражая настроение того времени, один из лучших поэтов России — Иван Елагин — писал уже после войны:

За то, что руку досужую
Не протянул к оружию,
За то, что до проволок Платтлинга
Не шел я дорогою ратника,
За то, что не пал под трехпламенным
Мученическим знаменем —

За это в глаза мне свалены
Всех городов развалины,
За это в глаза мне брошены
Все, кто войною скошены,
И вместо честной гибели
По капле кровь мою выпили
Тени тех самых виселиц,
Что над Москвою выселись.

После опубликования Пражского Манифеста начали создаваться первые дивизии вооруженных сил КОНРа (Комитет Освобождения Народов России). Надо отдать немцам справедливость: они саботировали создание войск КОНРа, как могли. Десятки тысяч заявлений добровольцев, поданные и из лагерей военнопленных, и из лагерей «ост-рабочих», и буквально отовсюду, оставались без ответа. Вооружать этих людей было нечем, а формировать их части — негде. Немцы вместо этого продолжали пытаться создавать различные сепаратистские соединения, которые не признавали Власова, назначенного командующим вооруженных сил КОНРа.

Считаю, однако, необходимым оговориться. Когда я пишу «немцы», я, естественно, подразумеваю гитлеровское правительство или его последышей. Сотни и тысячи офицеров германской армии — главным образом, фронтовики, но не только они — как могли поддерживали идеи ОДНР и всячески помогали Власову. Перечислять их здесь, к сожалению, не время и не место. Многие из них заплатили за свою веру в будущую Свободную Россию жизнью. Имена их когда-нибудь вспомнят с благодарностью.

Наконец, полторы дивизии, первая и частично вторая, были сформированы неподалеку от швабского местечка Мюнзинген. Но немецкий восточный фронт — это уже было после начала Жуковского весеннего наступления на Берлин 1945 года — трещал по всем

швам, как, впрочем, и западный. Первую дивизию бросили на фронт, отдавая ее в подчинение генерал-фельдмаршалу, мяснику Шорнеру. Вместо этого командир первой дивизии Буняченко решил поддержать восставших против немцев пражан и спасти от разрушения город, где был подписан Пражский Манифест. Власов, насколько известно, к принятию этого решения, которое многие офицеры ОДНР до сих пор считают ошибочным, отношения не имел. Потом капитуляция, выдача генералов — Малышкин и Жиленков явились к американцам уже в их глубоком тылу и все-таки были выданы, — выдача офицеров и солдат. История, естественно, продолжает искажаться, и не с одной советской стороны. Так, в большинстве американских учебников по истории Восточной Европы черным по белому стоит, что Прагу освободили советские войска. О «власовцах», конечно, ни слова.

Эта статья рассчитана, в основном, на читателя из так называемой «третьей эмиграции», в своей массе либо относящегося к ОДНР враждебно, либо ничего об этом движении не знающего. Да еще на тех на Родине, кому в руки попадет номер «Континента» с этой статьей. Поэтому заключительные строки статьи хотелось бы занять перечислением тех изданных на Западе книг, по которым, в случае желанья, можно познакомиться с историей ОДНР поближе. О напечатанном в свое время в «Новом мире» «В час дня, ваше превосходительство» как об историческом источнике говорить, естественно, не приходится.

Во-первых, лет десять назад, а может, и больше, при американском Колумбийском университете была напечатана подробная и обширная, правда, сегодня уже не полная, библиография материалов по истории ОДНР, составленная М. Шатовым.

На русском языке вышли в разное время и в разных издательствах: А. Казанцев «Третья сила», В. Штрик-Штрикфельдт «Против Сталина и Гитлера»

(вышла она также по-немецки и по-английски), С. Стеенберг «Власов» (вышла тоже по-немецки и по-английски), В. Артемьев «Первая дивизия РОА», полк. В. Поздняков «Андрей Андреевич Власов» и «Рождение РОА», о. Александр Киселев «Духовный облик генерала Власова».

По-английски имеются: Д. Фишер «Советская оппозиция против Сталина» (одна из первых) и книга А. Далина «Немцы в России» — о немецкой оккупации времен войны, но в ней много и об ОДНР. По-немецки вышла самая первая книга о Власове и об ОДНР, написанная на Западе, «Кого Боги хотят наказать» Юргена Торвальда. Эта книга явилась неким родоначальником обширной литературы об ОДНР Второй мировой войны и написана она была с помощью Карлы Стеенберг, дочери германского офицера-фронтовика и друга России. Она же, выйдя впоследствии замуж за Свена Стеенберга, балтийского немца, провоевавшего на восточном фронте всю войну, вдохновила и его написать книгу «Власов», которая, по мнению автора этой статьи, является самым лучшим и наиболее объективным освещением событий того времени.

Все перечисленные выше книги — список далеко не полный — рассматривают ОДНР Второй мировой войны, в общем, со вполне положительных позиций.

Если кто интересуется отрицательными отзывами об ОДНР, то их следует прежде всего отослать к книге Ройтлинджера «Дом, построенный на песке», вышедшей по-английски. Однако эта книга как серьезный исторический источник рассматриваться из-за ее явной предвзятости не может.

В конце сороковых годов, уже после окончания войны, заграничная делегация РСДРП, как себя называли меньшевики-эмигранты, раскололась из-за своего отношения к «власовскому движению». Три «кита»: Р. Абрамович, Д. Далин и Б. Николаевский, так сказать, «признали» вместе с другими меньшевиками,

рангом поменьше, это движение. Группа же Аронсона, Двинова и Сапира заняла по отношению к «власовцам» открыто враждебную и осуждающую позицию. Ряд их статей с критикой власовского движения можно найти в номерах «Нового Журнала» тех лет.

И теперь последнее. Александр Исаевич Солженицын, отношение которого к «власовцам» — от первого тома «Архипелага ГУЛаг», через «Вестник РСХД», до третьего тома того же «Архипелага ГУЛаг» — заметно меняется, в третьем томе «Архипелага» пишет:

«Тут приходит нам пора снова объясниться о власовцах. В 1-й части этой книги читатель еще не был подготовлен принять правду всю (да всюю не владею я, напишутся специальные исследования, для меня это тема побочная)».

Вот тут мне приходится в словах почитаемого мною Солженицына усомниться. Напишутся ли «специальные исследования»? Кем и когда?

О советской власти говорить не приходится, там, действительно, готовятся «специальные исследования» и иногда даже публикуются, уж такие «специальные», что прямо диву даешься, а не проспал ли я тех лет?

Что же касается Запада, то и тут надежда слабая. «Власовцы», или же ОДНР времен Второй мировой войны — тема-то скользкая. Хотя бы из-за тех самых насильственных кровавых выдач, о которых писали и Юлиус Эпштейн, и Николас Бетелл, и совсем недавно, в книге «Тайное предательство», Николай Толстой. Да и вполне понятная ненависть к Гитлеру и тем, кого часто по простому незнанию с ним связывают, ослепляет даже историков, кому уж сам Бог велел, по крайней мере, *стараться* быть объективными.

При Колумбийском университете на протяжении более чем десятка лет существовал так называемый «проект меньшевики». Молодые и не очень молодые историки годами разбирали, что в свое время сказал

Ленин Мартову и наоборот и кто руководил ВИКЖЕЛем, а кто ВИКЖЕДОРом. Для изучения же — тщательного, поверхностные-то предпринимались в конце 40-х — начале 50-х годов — небывалого в русской истории феномена, когда миллиона полтора граждан бывшей российской империи надели форму злейшего врага, только чтобы стукнуть как следует по «родной власти», — на это денег ни у Колумбийского, ни у иных западных университетов не нашлось. А попытки заинтересовать, создать проект такого изучения предпринимались, и неоднократно, пока люди, их предпринимавшие, не устали и не махнули рукой.

Мне представляется, что происходит такое вполне сознательно. Имеются тысячи захваченных немецких документов, относящихся к истории ОДНР, о которых я уже упоминал в начале этой статьи. Но это сухие армейские бумаги, написанные далеко не друзьями, к тому же, имевшими основания то ли из боязни своего начальства, то ли из извечного немецкого презрения к русским искажать или утаивать действительность. Написано с десятков книг — или иностранцами, или изложений мемуарного типа. Написано несколько сот статей, обычно в иностранных же газетах. Вот с чем придется работать будущим историкам. А свидетели, живые свидетели тех событий к тому времени перемрут, не оставив своих свидетельских показаний: солдаты, как известно, писать, как правило, не умеют и не любят. И они умирают, эти свидетели. За последние года два — перечислю лишь очень немногих — ушел в иной мир личный адъютант Власова капитан Ростислав Антонов; умер полковник Владимир Поздняков, правда, оставив после себя перечисленные выше две книги, но мемуаров своих так и не успев написать; погиб в Австралии полковник Игорь Сахаров, прошедший с ОДНР в его различных стадиях, как говорится, «от звонка до звонка». А сколько ушло тех простых солдат и офицеров, показания которых были

бы особенно ценны! Недалек тот час, когда мы услышим о смерти «последнего корнета» Белого Движения. Вскоре после этого закроет глаза и последний «власовец». А советская власть, да и кое-кто на Западе ждет не дожидается этого времени. Вот тогда-то мы и напишем историю ОДНР! По любому заказу!

История ОДНР должна, по моему разумению, состоять из минимум трех тяжеловесных томов, по одному на каждый перечисленный мною в начале статьи период. Для ее написания должна быть собрана группа квалифицированных историков — такие в эмиграции имеются, — как русских, так и иностранных, как свидетелей событий того времени, так и лиц, к ним не причастных. Но участники ОДНР в этой группе должны быть, хотя бы чтоб иметь возможность объяснить, что и как. При этой группе должны быть люди, которые могли бы поехать с магнитофоном и записать показания свидетелей, которые согласятся эти показания дать. Что тоже будет совсем нелегко — выдачи до сих пор сидят у людей в костях. Опыт работы с такими показаниями у западных историков есть: почти во всех университетах существуют сейчас отделения «устной истории», работающие с пленками. Не надо далеко ходить, вспомним пресловутые мемуары Никиты Хрущева.

На выполнение всего этого нужны деньги, и немалые. В эмиграции таких сумм не найдешь. Частные меценаты что-то перевелись. Остаются либо западные правительства, либо западные частные фонды. На них, по-моему, надежда слабая. Да и кого это все интересует в общей кровавой каше двадцатимиллионных потерь нашего народа во время Второй мировой войны? Разве что самих «власовцев», которые ждут не дождутся услышать о себе правду, и, может быть, их выросших без отцов детей. Словом, садитесь писать мемуары, боевые товарищи!

ДНЕПРОВ Роман (Рюрик Дудин) — родился в 1924 г. на Украине. Среднее образование получил в Киеве. Во время Второй мировой войны — участник ОДНР, служил в казачьих частях. Окончил Гейдельбергский ун-т. Получил степень магистра истории в Иельском ун-те США, там же преподает. Сотрудничает в ряде русских периодических изданий.

Господин Тито!

Обращаюсь к Вам, считая это своим святым долгом перед «Паскалисом» (партийная кличка Христоса Диметресоса). В час расставания на Воркуте мы торжественно поклялись: кто из нас останется жив — донести до Вас, и пока мы будем живы, разыскать и помочь друг другу. Пусть мировая общественность узнает истинную правду советской действительности из глубин архипелага ГУЛаг времен сталинского произвола.

Вам хорошо известно поражение греческой коммунистической партии в перевороте сороковых годов. После поражения, под водительством Маркоса, Диметресоса и других, по горам отступили в Албанию. Там же вскоре состоялся коммунистический съезд, с которого по указке из Москвы коварно выкрали и доставили в московские тюрьмы руководителей греческой компартии. Долгие годы Диметресос сидел в одиночке без суда и следствия, после чего его выслали на Воркуту, где я и познакомился с ним в 1951 году. Он много рассказывал о Вас и часто повторял: «Если бы обо всем этом знал Тито!» Потом нас развезли по разным лагерям, его на шахту 5—6, меня на шахту 7, но нелегально мы знали друг о друге.

В 1953 году произошло восстание на Воркуте. 7 шахта, где я находился, была очагом, и я принимал активное участие в первом десятке. Штаб восстания возглавлял полковник Войска Польского Кинзирский. После расстрелов и подавления восстания особо опасных для них преступников свозили на штрафной лагерь 62, где я снова встретился с Паскалисом-Христосом Диметресосом. Со своими новыми друзьями, бывшими офицерами русской армии, он решил во что бы то ни стало бежать из лагеря, и вот их теперь отправляли в закрытую тюрьму на два года. Мы долго были вместе на штрафняке. Однажды их четверых

вызвали на этап, холодной зимой, и я один провожал их до вахты. В ожидании конвоя мы по-братски прощались, и последнее, что он сказал, было: «Доведется тебе остаться в живых и вырваться, *ПЕРЕДАЙ ЭТИ СЛОВА ТИТО*». Их увезли спустя несколько часов. Почти одновременно вызвали на этап и меня с Казимиром Тиса, и мы на рассвете тоже покинули штрафной. Все знали братскую дружбу нашей пятерки и были уверены, что я ушел на этап вместе с ними, то есть с Диметресосом.

Спустя два года, после закрытой тюрьмы, меня вывозят в Сибирь, Тайшет, трасса. И когда я попал в лагерь, все было страшно удивлены: «Как, ты жив, а мы похоронили всю вашу пятерку». Вот здесь только я и узнал, что по пути из Ленинграда в закрытую тюрьму Кресты они пытались обезоружить конвой и погибли. Погибли: Саша Гражданов, офицер-танкист; Саша Никитенко, офицер-артиллерист; Вася Крылов, летчик; и еще один неизвестный офицер, примкнувший к ним, — в лагере считали, что это был я. Но, как я выяснил позже, беседуя с очевидцами, ехавшими в этом же вагоне в других камерах, перед нападением на конвой Христоса Диметресоса ошибочно посадили в карцер, вместо грузинского князя Чекоидзе, вступавшего в пререкания с конвоем. После расстрела четверых Паскалиса увезли отдельно в тюрьму, и дальше его следы теряются. Больше я о нем ничего не слышал, и не знаю, жив ли он.

Вот ввиду всего вышеизложенного, мой долг просить Вас о помощи в розыске, если он еще жив. Я вынашивал надежду увидеться с ним на Западе двадцать пять лет. Теперь мне удалось вырваться из Советского Союза, в ожидании эмиграции в США нахожусь в Риме, при Толстовском фонде. И я должен выполнить мой арестантский долг — обещание, данное когда-то Паскалису. Ведь «никто не забыт, и ничто не забыто!».

С надеждой и уважением к Вам: ПЛАСТАРАС ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ, 1917 года рождения, заочно осужден ОСО к 25 годам под №1-Э-349 по ст. 58 1-А19, 58-II, 58-10 ч. I, 58-10 ч. II, 182 ч. II, как организатор группового побега в 1948 году. Моя профессия — часовой мастер.

Спорт и политика

Фридрих Незнанский
Эдуард Тополь

МИЛЛИОН ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ

Очерк о «беловоротничковой» преступности в советском спорте

В основу этого очерка положены материалы расследований закрытых криминальных дел и судебных процессов над известными советскими спортсменами и руководителями советского спорта. Чаще всего эти дела приводили следствие в высокие сферы советского руководства, и поэтому многие из них были либо прекращены по прямому указанию правительства СССР, либо засекречены.

Тем не менее, факты, изложенные ниже, достоверны. Авторам они известны в силу того, что один из нас 25 лет проработал в советской правовой системе, в том числе был 15 лет следователем основного криминального ведомства страны — Прокуратуры Союза ССР — и лично расследовал большое количество крупных уголовных дел, связанных с преступлениями в советском спорте. А второй 20 лет проработал в советской журналистике и кинематографе и был хорошо знаком с многими ведущими спортсменами и руководителями спорта, их частной жизнью и нравами.

В один из февральских дней 1974 года в банкетном зале ресторана при московской гостинице «Украина» произошла странная история. Зал занимала смешанная компания: пятеро мужчин явно кавказского происхождения — братья Мамедовы, и четверо безусловно москвичей — трое со спортивными фигурами, в отличных импортных костюмах, один постарше, внешне похожий на тренера. Компания поначалу вела себя негромко, и, хотя пили много — особенно москвичи и, главным образом, их «тренер», который глушил водку пол-

Печатается в порядке дискуссии вокруг бойкота Олимпийских игр.

ными фужерами, — никто не хмелел. Разговор был деловой, твердый и трезвый. Официанту могло показаться, что очередные кавказские подрядчики в очередной раз «выбивают» фонды на спорттовары у своих столичных шефов. Так оно почти и было по сути, если не считать, что в разговоре еще мелькали крупные денежные суммы и названия марок автомобилей — «Жигули», «Волга», «Мерседес». Впрочем, провинциальным тузам и на автомобилях приходится выбивать фонды в столице.

Однако после нескольких бутылок коньяка (который пили кавказцы) и водки (которую пили москвичи) обстановка явно разогрелась. Мамедовы требовали «или всё — сейчас, или — деньги на бочку», мол — никаких отсрочек больше не потерпим, «хватит очки втирать» и так далее. Москвичи упорствовали, говорили, что «всё будет в порядке», «клянусь детьми» и показывали телефоны самых именитых столичных организаций, где завтра-послезавтра «будет решен вопрос». «Тренер», залпом опустошив очередной бокал с водкой, совершенно трезво внушал разгоряченным кавказским братьям, что «нужно потерпеть», зря они «волну поднимают» и так далее.

И тогда Рамиз Мамедов-старший вытащил из кармана пистолет и в упор направил его на «тренера». Остальные братья тоже недвусмысленно сунули руки в карманы. Рамиз повторил условие: — Или всё — сегодня, деньги на бочку, или — конец вам.

Такой формы «выколачивания» фондов у начальства администрация ресторана «Украина» еще не видела. Но оказалось, что и это еще не кульминация. Как в самом тривиальном детективном романе или фильме, именно в этот момент дверь в банкетный зал отворилась и вошла группа милиционеров во главе с полковником. Даже не обратив внимания на пистолет, который Мамедов поспешно прятал в карман, они подошли к столичным спортсменам, полковник предъ-

явил свое служебное милицейское удостоверение и объявил, что «вот вы, вы и вы — арестованы, пойдемте с нами». После этого короткого и негромкого приказа милиционеры, уже не церемонясь, оторвали арестованных от стола и стульев и взащей вытолкали из ресторана.

Братья Мамедовы, вспотевшие и ошарашенные, еще посидели с минутку, переглядываясь, а затем Рамиз решительно поднялся и пошел вслед за уведенными арестованными. Братья потянулись за ним. На площади они своими глазами увидели, как милиция затолкала арестованных в черные «Волги» с МОКовскими номерами и машины с профессиональным милицейским шиком рванулись от подъезда к Бородинскому мосту.

Братья, не колеблясь, сели в такси и приказали водителю гнать за этими черными «Волгами». Таксист резонно сказал, что куда уж ему за этими правительственными машинами, у них, небось, и движки форсированные, но братья пообещали ему тройную плату, и он уже молча выжимал педаль газа.

Погоня, однако, продолжалась недолго — прокатив по улице Герцена, «картёж» милицейских машин свернул на улицу Огарева к массивному, занимающему целый квартал серо-желтому зданию с позолоченной вывеской «Министерство внутренних дел Союза ССР». Таксисту здесь останавливаться было нельзя, но и на тихом ходу машины бакинцы видели, как милиционеры вывели из машин «спортсменов» и проводили их в здание министерства.

Сомнений не было — «тренер» и его подручные действительно арестованы.

А теперь наступило время разъяснить происшедшее и представить действующих лиц.

Старший из братьев, Рамиз Мамедов, занимал тогда крупный пост в Азербайджанском республиканском комитете физкультуры и спорта — он заведовал

снабжением, и все спортивное оборудование, одежда и фонды на другие спортивные товары были в его руках. Второй из братьев, Надыр, был директором крупного магазина спорттоваров. Третий, Реваз, работал по автомобильной части, а проще говоря, — спекулировал автомобилями и запчастями к ним, хотя числился тренером по футболу детской спортивной школы «Нефтчи». Младшие из братьев, Эдуард и Тофик, в основном проводили время в лагерях — Эдуард был начальником детского спортивного лагеря, где совершал хозяйственные преступления, а Тофик только что вышел из исправительно-трудового, где отбыл неполный срок за уличную поножовщину. Таким образом, все пятеро братьев жили неплохо, кормились и одевались при спорте и даже имели большие денежные излишки.

Вторую группу действующих лиц — «спортсменов» — возглавлял Виктор Дмитриевич Михайлов, человек довольно молодой, не очень большого роста, но очень больших возможностей.

Первое знакомство братьев Мамедовых с Михайловым произошло за год до описываемых событий, в марте 1973 года. Тогда в Баку с проверкой состояния физкультуры и спорта приехал заведующий сектором ЦК КПСС товарищ Камшалов, в прошлом секретарь Центрального Комитета ВЛКСМ. Среди группы «товарищей из Москвы» приближенностью к Камшалову выделялся человек с большими желтыми задумчивыми глазами — Виктор Михайлов. Камшалов не отпускал его от себя ни на шаг, и бакинцы видели, что ни одного важного вопроса он не решает без своего «консультанта». И еще спортивные деятели Азербайджана подметили, что группу Камшалова—Михайлова постоянно опекает второй секретарь ЦК КП Азербайджана, а это верный признак того, что у них далеко идущие связи в самом ЦК КПСС.

Значимость Михайлова как важной персоны подчеркивалась еще и тем, что он имел свою собственную

свиту из шести помощников, в том числе: доцент института физкультуры бывший чемпион Москвы по боксу Андрей Родионов, старший преподаватель военно-политической академии капитан Советской Армии Юрий Егоров, заслуженный тренер РСФСР Эдуард Лапинский, директор московского парка культуры и отдыха «Сокольники» Юрий Зинкович, главный редактор журнала «Легкая атлетика» Виктор Абдулаев и отпетый уголовник Лев Смирницкий.

И пока Михайлов в составе высокопоставленных спортивных и партийных деятелей республики ездил по высокогорным азербайджанским шашлычным и другим правительственным приемам, его свита активно контраговала незадачливых любителей зарубежных командировок, высоких спортивных должностей, покупателей дефицитных в СССР легковых автомобилей импортного и отечественного производства и т.д. «Вы видели, с кем имеет дело Михайлов? Он всё может! — был девиз этой группы. — Если нужен автомобиль — будет, нужна должность тренера — будет, фонды на спорттовары — будут! Только имейте в виду, долго разговаривать ему некогда, поэтому как придет — за пять минут в машине решит все вопросы. Приготовьте деньги и получите расписку!»

И действительно, прямо в машине или в ресторане Михайлов принимал по списку «страждущих», в течение пяти минут обещал одному автомобиль «Волгу» или «Форд» из резерва Управления по обслуживанию дипломатического корпуса, другому — дополнительные фонды, третьему — должность директора стадиона и т.д. Тут же принимал деньги и выдавал расписки. Чаще всего эти расписки писались на листках, наспех вырванных из блокнота, или же на ресторанных салфетках. Так, позже в следственном деле фигурировало несколько десятков таких расписок на клочках бумаги или ресторанных салфетках, в том числе расписка братьям Мамедовым в получении с них 26 тысяч рублей.

Братья Мамедовы были только одними из десятков, если не сотен одураченных бандой Михайлова людей. Они отдали деньги сразу и за дополнительные спортивные фонды, которые потом могли превратить в левые товары, и за автомобиль, о котором так мечтал Рамиз Мамедов-старший.

Прождав несколько месяцев и видя, что нет ни обещанных фондов на спорттовары, ни автомобиля, Мамедовы стали наведываться в Москву, теревить своих покровителей. И, наконец, спустя год после заключения сделки, терпению братьев настал конец. Они явились в Москву, поселились все пятеро в «Украине» и вызвали сюда Михайлова и его подручных для «окончательного разговора». Михайлов уже хорошо знал терминологию своих кавказских и среднеазиатских клиентов, братья Мамедовы были далеко не первыми, кто грозил ему окончательным разговором, физической расправой или судом, и посему в этих экстремальных ситуациях вступала в дело еще одна группа михайловской мафии — не переодетые, а подлинные полковники милиции и другие высокопоставленные сотрудники МВД СССР. Так, в гостиницу «Украина» для «ареста» Михайлова и его людей явились тогда старший инспектор Управления кадров МВД СССР майор внутренней службы мастер спорта СССР по боксу Валерий Сургучев; полковник милиции, начальник отделения особой инспекции того же министерства Олег Ржанов; старшина милиции Василий Калашников и еще несколько младших милицейских работников.

Система мнимого ареста была хорошо отработана. Михайлов и его свита были своими людьми в здании МВД СССР на Огарева, 8, и подчас — уже при других ситуациях — Михайлов или его помощники сами привозили своих «клиентов» прямо в зал пропусков этого всесоюзно известного здания, и здесь по внутреннему телефону клиент мог свободно поговорить с «самим» полковником Ржановым, полковником С. Кич-

киным или еще пятью-шестью закадычными друзьями Михайлова. Вальяжными начальственными голосами они успокаивающе обещали: «В следующем месяце обязательно всё сделаем, машины будут, не беспокойтесь, ждем партию с горьковского завода». Если же попадался более настойчивый и нетерпеливый, к нему спускался тот же Ржанов или Кичкин и прямо говорил жалобщику, что здесь, в министерстве, хорошо осведомлены о его левых делишках и махинациях, мол, «только что фельдсвязью получена из вашей республики оперативная разработка на все ваши аферы» и поэтому, разумеется, лучше терпеливо ждать, свою «Волгу» вы получите, если будете вести себя тихо.

И действительно, в руках у «группы прикрытия» Михайлова очень часто был материал на их «клиентов», не зря же они занимали свои посты в МВД СССР! Им ничего не стоило позвонить в республиканское МВД, заказать разработку и получить «компроматериалы» на любого жулика, давшего им деньги...

Только в конце 74-го года после пяти лет активной деятельности группа Михайлова была арестована уже не мнимо, а всерьез. Следствие, которое много месяцев изучало деятельность этой организованной группы, выяснило, что связи этого бывшего секретаря Московского областного комитета комсомола, затем помощника Председателя Спорткомитета СССР, организатора легкоатлетических матчей СССР—США и, наконец, заведомо газеты «Советский спорт», уходили далеко вверх — в аппарат ЦК КПСС и в МВД СССР. А зоной преступной деятельности был спорт. Практически, это была хорошо организованная, отлаженная и прикрытая ведущими правительственными чиновниками мафия. Не случайно в словарях, объясняющих, что такое «мафия», сказано, что это тайное общество, действующее в интересах дельцов путем террористических актов и других крутых мер против общественных сил, прогрессивных деятелей и простых

граждан. Известно из истории, что первая такая организация-«каморра» действовала в Неаполе в XVI—XIX веках и состояла из уголовных элементов. Несмотря на то, что члены мафии занимались бандитизмом и тайными убийствами, «каморра» пользовалась негласной поддержкой правительства, которому она поставляла шпионов и палачей.

В Советском Союзе «мафия» состоит из трех слоев общества: прежде всего, это дельцы всех родов и калибров, во-вторых, должностные лица административных органов и карательных служб, таких, как милиция, прокуратура, суд, и, в-третьих, представители партийной элиты, подлинной властительницы в стране.

Совершенно ясно, что без «белых воротничков», то есть правительственных и партийных чиновников, мафия слаба и легко истребима. Поэтому-то мы и рассказываем здесь не только о дельцах и мошенниках от спорта, но и о «беловоротничковой преступности» лиц, занимающих высокое общественное положение. Они-то и прикрывают работу мафии, помогают преступникам уходить от наказания.

Для примера достаточно оповестить о том, что одна из руководительниц «михайловской мафии», знаменитая советская спортсменка, имя которой мы назовем чуть позже, даже была освобождена из-под следствия по личному указанию самого А. Косыгина.

Прикрывали работу мафии (не без корысти для себя) Первый секретарь ЦК ВЛКСМ, а затем председатель всесоюзного Спорткомитета Сергей Павлов, заведующий спортивным сектором ЦК КПСС Камшалов, бывший председатель Спорткомитета СССР Машин, начальник Следственного управления МВД СССР генерал Мурашов, заведующий спортивным сектором МГК КПСС Сергей Галин и другие.

Нужно сказать, что и сам Михайлов — личность незаурядная. В ходе следствия выяснилась почти романтическая подоплека его стремительного взлета в

самые высокие советские сферы. В юности, будучи студентом Московского библиотечного института, в зале кинотеатра Повторного фильма он увидел в спортивной хронике выступление Ларисы Латыниной. Тогда она была в самом зените своей славы — олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, чемпионка мира и Советского Союза, обладательница международных призов и титулов, кавалер ордена Ленина. Молода, красива, неотразима в своем спортивном блеске. Студент библиотечного института Витя Михайлов влюбился в нее с первого взгляда — прямо в темном зале кинотеатра. Там же он поклялся приятелю, что «Лариса будет моей».

И, получив очередную стипендию, он купил билет до Киева, где жила Латынина с мужем, и поехал к ней объясняться в любви.

Чемпионка выслушала Виктора и сказала примерно так: «Ты посмотри на себя и на меня. Кто ты и кто я? Ты же библиотекарь! И ты хочешь, чтобы я ушла к тебе от мужа?! Вот если бы ты бросил мне к ногам миллион — другое дело! А так... Идите, студент!»

Через несколько лет Виктор Михайлов поехал в Киев еще раз. Теперь это был уже не студент, а первый помощник министра СССР по спорту и глава разветвленной сети спортивной мафии. Он бросил к ногам чемпионки — лидера советского спорта — пресловутый миллион, и Латынина с тем же «достоинством» сдержала свое слово: бросила доселе горячо любимого мужа и вышла замуж за Михайлова.

Свадьба происходила в Москве, в одном из фешенебельных ресторанов столицы — в «Берлине». Под свадьбу были арендованы три зала. Причем в первом, центральном зале столы занимали только министры, генералы госбезопасности и внутренних дел и другие ответственные лица партийного и государственного аппарата. Во втором находились руководители спорта из различных республик, спортивных комитетов и клу-

бов, а также «нужные люди»: директора магазинов, заведующие базами, картежные шулеры. И лишь в третьем, наименее респектабельном, были товарищи по спорту — рекордсмены мира и чемпионы олимпийских игр. Так Михайлов рассадил по заслугам три группы своей мафии. Все они так или иначе были причастны к деятельности михайловской мафии, заинтересованы в нем или он был заинтересован в них. Таким образом съезд и разъезд гостей напоминал дипломатические приемы самого высокого ранга. В качестве свадебного подарка жених преподнес невесте бриллиантовые подвески, принадлежавшие когда-то русской императрице Екатерине Второй.

Гимнастка-чемпионка легко вошла в новую столичную жизнь, вскоре была назначена на ответственный пост главного тренера женской национальной сборной по гимнастике, а также стала правой рукой своего мужа по руководству уже широко разветвленной сетью его спортивной мафии. На всей территории СССР они спекулировали дефицитными автомобилями, спортивным инвентарем и спортивными должностями, руководили группами профессиональных картежников. За громадные деньги мафия Михайлова и Латыниной переводила спортивные команды из класса в класс, продавала тренерские должности, распределяла заграничные командировки, присваивала путем подтасовок крупные выигрыши в спортивных лотереях и т.д. К примеру, за крупную взятку тренер по боксу А. Червоненко был направлен на Кубу на должность старшего тренера кубинской национальной сборной по боксу. При этом, согласно договоренности с Михайловым, тридцать процентов своего регулярного заграничного заработка он должен был отдавать мафии. На тех же условиях получали доступ к заграничным поездкам и международным соревнованиям десятки спортсменов и тренеров. Но самой прибыльной статьей дохода ми-

хайловского синдиката были всё же автомобили. Тут творились просто феноменальные операции. Скажем, с ведома летчика-космонавта генерал-майора Поповича его автомобиль люди Михайлова перепродавали больше десяти раз, а для пушей убедительности иногда издали показывали и самого космонавта. Шутка ли, приобрести машину «самого Поповича!». За появление на людях космонавт получал свои «комиссионные». Михайловы брали с клиента полную стоимость этой машины, а затем под всякими предложениями оттягивали передачу машины. Но, конечно, не всегда операции были чисто жульническими. Для того, чтобы действовать, мафии нужны были и подлинные сделки. Следствие установило, что примерно в одном случае из десяти клиенты получали-таки обещанные им машины. Откуда же брались эти машины?

Эти машины брались, что называется, «сверху» — т.е. крупные правительственные руководители, такие, как, скажем, Председатель Спорткомитета СССР С.Павлов, его предшественник А.Машин, «смещенный» на должность директора крупнейшего авиационного завода, первый секретарь Пушкинского горкома партии член Федерации бокса Н. Аврусин и другие «выделяли» Михайлову, Латыниной или их подручным пяток-другой автомобилей. Небескорыстно, конечно. А однажды к своей «работе» михайловцы привлекли даже Маршала Советского Союза Семена Буденного — с помощью первого секретаря Кисловодского горкома партии они «достали» (а точнее, просто изъяли) на одном из ставропольских конезаводов знаменитого породистого скакуна Икара и подарили его престарелому маршалу, который испытывал всю жизнь страсть к лошадям, а тот, прослезившись, в знак благодарности распорядился продать прямо с тольяттинского завода «ВАЗ» десять дефицитных автомобилей «Жигули», которые, конечно, тут же были перепроданы михайловцами втридорога.

Как известно, бизнес засасывает, увлекает. Человек, который «крутит» большими деньгами, уже не в силах остановиться. Михайлов, человек, безусловно, незаурядный, обладавший даже какими-то почти гипнотическими способностями — его большие чуть навывкате желтые глаза могли смотреть на вас с пронизывающе-кошачьим хладнокровием, — уже перестал следить за своей одеждой, ходил, ездил и летал по стране в одном и том же засаленном костюме. Из потертых карманов торчали пачки денег, завернутые в газеты всех национальных республик. Со всего Союза в редакцию «Советского спорта» «клиенты» привозили ему деньги и типично по-советски заворачивали их перед выездом из дома в газету — «Заря Востока», «Бакинский рабочий», «Вечерний Ташкент», ереванский «Коммунист» и т. д. Когда кто-то из знакомых обращал внимание Михайлова на его костюм, он только отмахивался: «Некогда менять! Деньги делать надо!»

Наконец, в конце 1974 года Михайлов и его группа были схвачены. В ходе следствия не могло не обнаружиться, что в орбиту работы мафии были втянуты самые высокие чины советского правительственного аппарата. В материалах следствия стали мелькать известные имена — Латынина, Камшалов, Павлов, Попович, Машин, инструктор ЦК КПСС Рвачев и еще кое-кто повыше. И тогда в один прекрасный день в следственное управление московской милиции вдруг пришло личное распоряжение самого Алексея Косыгина: Латынину из дела вывести и материалы, связанные с ее именем, прекратить. Что ж, следствие покорилося этому высокому приказу, хотя причина такого благоволения к Латыниной была, видимо, не только в том, что Косыгин был поклонником знаменитой гимнастки, о чем она постоянно твердила на допросах и требовала внести в протоколы заявления о ее личной близости к Косыгину. Не менее важным обстоятель-

ством освобождения Латыниной от уголовной ответственности было и то, что ее сестра была замужем за начальником следственного управления Министерства внутренних дел СССР генералом А. Мурашовым. В ходе следствия произошло еще одно любопытное событие. У всех арестованных помощников Михайлова милиция изъяла при обысках те или иные большие суммы денег. По подсчетам следователя подполковника Н. Артамоновой, которая вела дело Михайлова, только официально заявленная потерпевшими сумма присвоенных лично Михайловым и Латыниной денег составила 700 тысяч рублей. Но где только не искали эти деньги вначале опытные милицейские инспекторы, а потом судебные исполнители! Впрочем, в одном месте они действительно не искали — в квартире свояка Михайлова генерал-лейтенанта милиции Мурашова. И, как говорили тогда в кулуарах Петровки 38, именно поэтому эти деньги и не нашлись...

Но не только имя Латыниной было изъято из этого дела. По распоряжению административного отдела ЦК, которому подчинены все правовые и карательные службы в СССР, предварительное следствие и суд над группой Михайлова были строго законспирированы от общественности, переведены в разряд секретных и переданы в ведение военного трибунала, с тем чтобы судебный процесс происходил не только при закрытых дверях, но даже и на закрытой территории воинской части. Так «советская власть» оберегла своих крупных партийных, административных и спортивных сановников от разоблачений и наказания. Не понес кары ни один из 24-х названных подсудимым А. Родионовым высокопоставленных покровителей шайки Михайлова, хотя он детально изобличил в преступлениях и Павлова, и его первого заместителя Смирнова, и Камшалова, и многих других ответственных работников ЦК и Спорткомитета. Надежда Родионова на то, что чистосердечное признание смягчит его участь и сократит

срок наказания, не оправдалась. Наоборот, в отместку за разоблачения он до сих пор отбывает свой девятилетний срок на мордовских лесоповалах. В то время как Михайлов, проявив воровскую «порядочность» и не назвав на следствии и в суде ни одного имени, из десяти лет, определенных ему судом, отбыл всего два и с помощью все тех же именитых друзей уже вышел на свободу и снова занимается спортом — сегодня он входит в руководство Олимпийского Комитета и занимается подготовкой к приему гостей предстоящей Московской Олимпиады. Но и в тюрьме Михайлов не терял времени даром — написал там документальную повесть о своей жене-сподвижнице — о блистательном пути Ларисы Латыниной к олимпийским вершинам. Повесть была опубликована в журнале «Огонек», автором ее была указана сама Лариса Латынина. В этой повести нет только некоторых эпизодов истории с миллионным приданым во время второго замужества чемпионки, подробностей преступной деятельности Латыниной на спортивном советском Олимпе и адреса, куда она с мужем припрятали как минимум 700 тысяч рублей, нажитых мафиозной деятельностью. Мы предлагаем журналу «Огонек» перепечатать нашу статью, чтобы дополнить повесть Михайлова-Латыниной и создать действительно натуральный портрет советской чемпионки и многих других руководителей советского спорта.

* * *

Теперь мы позволим себе короткое отступление от «сюжетности» нашего очерка и несколько строк рассуждений. Потому что нам хочется притушить ореол незаурядности дела Михайлова-Латыниной. Иначе у читателя может возникнуть ощущение, что две незаурядные личности — талантливый жулик и

талантливая спортсменка, соединив свои дарования, создали уникальную банду, обворовали, водили за нос и использовали в своих аферах самых крупных советских руководителей, вплоть до Буденного и Косыгина.

Дело Михайлова не случайно, не единично и не уникально в советской судебной практике. Один из нас за время работы в советских следственных органах принимал участие в расследовании более чем пятидесяти дел, связанных с преступлениями в советском спорте. В числе обвиняемых в тяжких преступлениях были тогда спортсмены, не менее знаменитые, чем Латынина, — всемирно известные боксеры В. Попенченко, В. Агеев, Б. Лагутин, А. Киселев, чемпионы мира по хоккею В. Старшинов, Н. Кузькин, А. Жлуктов, прославленные футболисты Л. Яшин, В. Воронин, Э. Стрельцов, В. Численко, чемпионка мира по пяти видам спорта А. Чудина, чемпион мира и олимпийских игр по гимнастике, ныне спортивный обозреватель Центрального телевидения СССР В. Муратов, чемпионы по альпинизму братья Красносельские, чемпион СССР по конькам Г. Воронин, старший тренер сборной СССР по хоккею А. Юрзинов, заслуженный тренер СССР по баскетболу А. Гомельский, тренеры сборной СССР по волейболу Ю. Клещев и Ю. Чесноков и десятки других. Переходя из спорта на ответственные руководящие посты в различные спортивные общества и комитеты, именитые спортсмены чаще всего становятся почти безнаказанными хозяйственными и уголовными преступниками. Титулы, громкие звания и международные спортивные награды прикрывают их от разоблачений и судебных преследований. Заодно с ними действуют партийные, советские и другие административные руководители. Практически это одна мафия, которая делит барыши от спекуляции спортивными товарами, спортивной одеждой, строительными материалами, отпущенными для сооружений и ремонта стадионов и других спортивных

комплексов, талонами на питание спортсменов, пропусками и билетами на спортивные зрелища, должностями, призовыми местами и так далее и тому подобное.

Подчас опытные руководители даже опасаются назначать на ответственные посты в спорте слишком именитых спортсменов. Так, однажды при совершенно циничном распределении спортивных должностей в кабинете заведующего сектором спорта Московского горкома партии Сергея Галина хозяин кабинета и инструктор ЦК КПСС по спорту Виктор Рвачев прямо говорили некоторым именитым «претендентам»: «Тебе я не могу дать этот спортивный комплекс — ты сразу там все разворуешь, а нам нужен на этом месте опытный человек».

Таким образом, расставляя на всех ключевых постах своих «опытных» людей, мафия покрывает своей деятельностью все сферы хозяйственного и административного руководства, как говорится, по вертикали и горизонтали. Это помогает членам организации обезопасить себя от разоблачений, предупредить их.

Потому и смогла пять лет безнаказанно действовать группа Михайлова, что все сигналы об их спекулятивных сделках и аферах попадали в руки их же ставленников в ЦК КПСС, МВД СССР и других ведомствах.

Злоупотребления, взятки, хищения, приписки к планам и отчетам, мошенничество, развращение несовершеннолетних спортсменов, вовлечение в проституцию и приобщение к употреблению наркотиков, спекуляция импортными товарами и валютными ценностями — вот что безнаказанно совершается в советском спорте повсеместно и ежечасно. Об этой «беловоротничковой» преступности в советском спорте никогда не говорится в советской печати, хотя материала здесь на целую книгу. По данным закрытых исследований,

которые проводил Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, до пяти тысяч спортсменов и физкультурников ежегодно вступают в конфликт с государством и репрессируются. И это только заурядные, не прикрытые олимпийскими и отечественными медалями и лаврами спортсмены! И уж вообще остаются безнаказанными те, кто руководит спортом, возглавляет спортивные комитеты, федерации, общества. Одним из таких, типичным представителем правящей спортивной элиты в СССР является председатель московского спортивного общества «Зенит» Сергей Гуськов. Мы выбрали его для примера еще и потому, что в ближайшее время, в феврале 1980 года, он как Председатель Федерации бобслея СССР наверняка приедет в Нью-Йорк, в Лэйк-Плэйсид на зимние олимпийские игры.

Позвольте же представить вам этого типичного советского спортивного «босса».

* * *

Сергею Гуськову 45 лет, он среднего роста, черноволосый, улыбочатый и производит впечатление мягкого воспитанного человека. Не одно женское сердце будет покорено его джентльменскими манерами и «открытым» характером. Но заглянем в его московскую жизнь, в будни советского спортивного руководителя.

Как было сказано, Гуськов возглавляет «Зенит» — спортивное общество Министерства авиационной промышленности СССР. Для человека, хоть немного знающего советскую жизнь, название этого ведомства говорит само за себя и описывать материальные возможности спортивного общества такой фирмы уже нет нужды. Но для иностранного читателя скажем, что нет, пожалуй, в СССР более привилегированного министерства, чем то, которое строит ракеты и воен-

ные истребители. Здесь могут всё. Здесь одним телефонным звонком «достають» квартиры, что в условиях жизни в СССР немало, машины, дачи, дефицитные товары, дополнительные фонды и т. д.

Поэтому спортсмены, нанятые этим спортивным обществом, чтобы представлять спорт Министерства авиационной промышленности, переманенные у других клубов за более высокие ставки, квартиры, машины и т. д., — находятся в полной, подчас рабской зависимости от их спортивного шефа — Сергея Гуськова. Он может «дать» (т. е. практически подарить даром) квартиру в Москве, должность тренера или директора какого-нибудь спортивного комплекса, т. е. он может обеспечить безбедную старость и высокую пенсию, а может — просто выбросить на улицу, уволить из спорта. И потому, скажем, самые знаменитые советские хоккеисты из команды «Крылья Советов»: Анисин, Лебедев, да и вся команда — холуи и мальчики на побегушках у Сергея Гуськова.

Возвращаясь из очередного заграничного турне — из США, Канады и Европы, — сразу после приземления в аэропорту «Шереметьево» команда в полном составе и со всеми вещами прямо с аэродрома едет в главную резиденцию Гуськова — Ленинградский проспект, дом 21, где находится штаб-квартира спортивного общества «Зенит». Здесь со всеми своими чемоданами и баулами хоккеисты проходят в ореховый кабинет Гуськова, и двери кабинета запираются. Спортсмены распаковывают свои чемоданы, и Гуськов производит досмотр привезенных импортных товаров — досмотр почище таможенного. Магнитофоны, транзисторы, джинсы, кинокамеры, калькуляторы, шубы, часы «Сейка» — Гуськов отбирает себе все, что хочет, это как положенный оброк. Только после того, как он заберет процентов 30-40 привезенных для спекуляции товаров, мастера спорта могут увезти домой свою импортную добычу.

Назавтра из-за рубежа прилетают гимнасты «Зенита», а послезавтра — волейболисты или пловчихи, и с ними — та же процедура. Некоторым начинающим или строптивым спортсменам, которые удивляются или противятся таким «изъятиям», Гуськов объясняет, что они сумели ввезти в СССР столько импортного «барахла» только благодаря его, Гуськова, связям в Шереметьевской таможне. А если кто-то не желает платить этот оброк, в следующий раз у него просто все товары изымут на таможне и еще обвинят в контрабанде.

И это — правда. Советские спортсмены, как правило, не проходят таможенного досмотра вещей при въезде в страну, сколько бы чемоданов у них ни было, но делается это не только и не столько за их спортивные зарубежные победы. Часть товаров, остающихся в кабинете у Гуськова во время этих изъятий, сама возвращается в руки, в квартиры и на дачи руководителей Шереметьевской таможни.

А остальное реализуется на черном рынке или через комиссионные магазины. Конечно, сам Гуськов этим не занимается, для реализации всех этих кип джинсов, транзисторов, ходовых пластинок, синтетических шуб, обуви и прочего в его спортобществе «Зенит» есть целый штат — инструкторы физкультуры, методисты спортивных клубов, тренеры молодежных команд и т. д. Они реализуют, то бишь спекулируют, где только могут, не только товарами, привезенными спортсменами из-за рубежа, но и остродефицитными в СССР спортивными импортными товарами — олимпийскими костюмами, «адидасовской» обувью — всем тем импортом, который поступает к Гуськову по спецфондам из Спорткомитета СССР или с баз импортных товаров Министерства торговли СССР. Понятно, что и здесь не один Гуськов греет руки на этих операциях, что фонды не приходят сверху только как награда за очередные победы «Зенита» или «Крыльев Советов».

Как и в деле Михайлова, «работа» Гуськова завязывает в один преступный узел самых влиятельных спортивных, правительственных, милицейских и таможенных чиновников столицы. Как говорится в России, «одна шайка-лейка».

Другой статьей дохода Гуськова является распродажа и дележ спортивных должностей. Эта процедура происходит не в кабинете, а в знаменитых московских сандуновских банях. Там Гуськов и его подручные с утра занимают номер с плавательным бассейном, все те же прислужники — методисты, инструкторы физкультуры и прочая мелюзга — привозят сюда ящики холодного чешского пива и армянский коньяк, и в этом бассейне происходят заседания коллегии спортобщества, здесь прибывшим из спортклубов тренерам и спортсменам объявляют об их назначениях на очередные руководящие посты, и здесь же принимаются гонорары за эти назначения.

Любопытно, что следствие по делу Михайлова установило, что порой в Сандунах одновременно «заседали» в соседних кабинетах несколько коллегий нескольких «спортобществ» — в одном бассейне Михайлов, в другом — Гуськов, в третьем — руководство Центрального стадиона им. Ленина.

Кроме этого постоянного номера в Сандунах, в распоряжении Гуськова находится еще весь Дворец тяжелой атлетики «Крылья Советов» в Москве, спортивный комплекс в подмосковном городе Красногорске и плавательный бассейн в Химках. А это значит, что под его опекой — сотни, а то и тысячи юных спортсменов и спортсменок — гимнастки, пловчихи, акробатки.

Гуськов — сластолюбец. Еще в детских спортивных школах своего спортобщества он присматривает «перспективных» девочек, покровительствует их первым шагам в спорте, а затем — развращает, соблазняет перспективами большой спортивной карьеры,

заграничными выступлениями и т. п. Провинциальных спортсменов он соблазняет обещаниями «дать» квартиру в Москве, московских — посулами обеспечить путь к чемпионству. Так, с будущей чемпионкой и рекордсменкой мира по конькам Людмилой Титовой Гуськов сожительствовал около года, прежде чем «дал» ей квартиру в окраинном районе Москвы, в Матвеевском. Обещанием «дать московскую квартиру» он два года принуждал к сожительству первую советскую чемпионку мира по художественной гимнастике Аллу Савинкову. Не помогли ни международные победы, ни высокие спортивные титулы — получить квартиру и прописку в Москве они смогли, только «отбыв свой срок» в постели Гуськова. Уплатив государственной квартирой за «любовь», Гуськов остывает к своим фавориткам и с рук на руки передает их своим друзьям из ЦК ВЛКСМ, ЦК КПСС и Спорткомитета СССР.

Даже в советской печати недавно вдруг появилось, а точнее — прорвалось, сообщение о пьянках и оргиях спортивных «деятелей» г. Свердловска. В газете «Правда» от 6 ноября 1979 года сообщалось о том, что директор спортивного комплекса В. Светиков переоборудовал три комнаты стадиона в роскошную финскую баню, а ключи от нее носил вокруг шеи, «как любовники носят медальоны». В сауну он не пускал простой люд и посетителей спорткомплекса — начальственная обитель была предназначена для утех высшего начальства.

Так что уж говорить о ночных оргиях в столичных и особенно подмосковных дворцах спорта, когда к закрытым для посторонних дверям этих дворцов, плавательных бассейнов и прочим спортивным базам и домам отдыха подкатывают черные «Волги» и ЗИМы, полные спортивного, партийного, милицейского и прочего начальства, и с багажниками, набитыми ящиками с шампанским и водкой. На эти «вечеринки»

и «дни рождения» приглашаются загодя присмотренные юные спортсменки — еще застенчивые, периферийно-робкие. Здесь их просят выступить для начальства, «показать себя», и здесь же их спаивают «до отключки»...

То пьяное беспутство, тот пиво-водочно-коньячный разврат и шабаш, который происходит на таких начальственных гулянках, и не снился самому похабному западному порнофильму.

Соучастие в этих пьянках и гульбищах делает самых высокопоставленных партийных, советских и спортивных чиновников соратниками в борьбе с законностью и тогда, когда дело доходит до прямых обвинений в уголовных преступлениях. Именно эта круговая порука, которую, возможно, и намеренно создал вокруг себя предусмотрительный Гуськов, помогла ему выйти сухим из воды даже тогда, когда юная гимнастка Н., побывав спьяну в его гареме, покончила жизнь самоубийством. Дело, которое было возбуждено и напрямую вело к Гуськову и всем его правительственным, милицейским и спортивным дружкам, вдруг было прекращено, самоубийство девушки было квалифицировано как «несчастный случай».

Обаятельный советский спортивный босс Сергей Гуськов и сегодня на своем посту и при исполнении своих обязанностей. Как председатель всесоюзной Федерации бобслея, он уже наверняка включен в спортивную советскую делегацию на зимние Олимпийские Игры-80 в Лэйк Плэйсид, штат Нью-Йорк.

* * *

Наш очерк о профессиональной преступности в верхах советского спорта будет неполным, если мы не осветим еще хотя бы один вид этой «беловоротничковой» преступности — так называемые «хозяйственные

преступления»: злоупотребления в области строительства, хозяйствования, администрирования. И тут пример самый наглядный — всесоюзный олимпийский комплекс — Центральный стадион им. В. Ленина, что в Лужниках. Регулярно на протяжении многих лет следователи прокуратуры (в том числе один из нас), ревизоры КРУ (Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов СССР) и работники других ревизионных ведомств вскрывали здесь многотысячные махинации, хищения и аферы, но ни директора стадиона, вначале Борисов, а потом Никитин, ни их заместители Гусев, Мячиков, Боровиков не были привлечены к ответственности.

Что же интересного происходит на этом стадионе в перерывах между футбольными и хоккейными баталиями?

Первым было дело о хищении государственных денежных средств и строительных материалов при производстве капитального ремонта этого главного стадиона страны. Даже все выдавшие на своем веку ревизоры из Министерства финансов всплескивали руками: «Как это можно так нагло красть народные деньги?!» Жульническая механика была, действительно, примитивно-беспардонной. Скажем, директор стадиона Борисов постоянно выплачивал подрядчику, начальнику строительно-монтажного управления Кингольцу суммы вдвое, а то и втрое большие, чем было положено за определенный объем работ. Так, по документам было проведено три покраски всех скамеек и сидений на трибунах стадиона, в то время как, естественно, скамейки были покрашены только раз. При ремонте световых табло этого стадиона были приписаны тысячи лишних метров кабеля, проводки, а сами табло увеличены на бумаге во сто крат. Многотысячные приписки неосуществленных работ были выявлены в теннисном городке, в плавательном бассейне, на Малой и Большой спортивных аренах, на футбольных

полях, в гимнастических, боксерских, легкоатлетических залах, на баскетбольных и волейбольных площадках.

Дошло до того, что директор Дворца спорта, она же председатель Федерации СССР по фигурному катанию Синилкина просто украла многотонное холодильное устройство для заливки льда и за большую взятку продала его другому катку.

А руководитель подрядного СМУ Кинголец, на протяжении ряда лет «списывая» строительный материал, отпускаемый для ремонта всего олимпийского комплекса в Лужниках, из этого кирпича, цемента, железа, шифера, древесины и прочих материалов строил дачи для советской спортивной элиты. Так вырос под Москвой целый дачный поселок, целиком, до последнего гвоздя построенный из украденных со стадиона им. Ленина строительных материалов. Имя этому дачному поселку досталось довольно символичное — «Заветы Ильича».

Через пару лет на том же московском стадионе им. Ленина было вскрыто новое, целое «левозакономическое предприятие». На этот раз обнаружилось, что директор стадиона-гиганта Борисов и директор «комбината питания» при стадионе Иванов создали «левую» пищевую промышленность при этом комбинате. Воруя продукты, предназначенные для питания спортсменов и изготовления обедов, пирожков и пирожных для розничной продажи во время спортивных соревнований, на комбинате питания изготавливали тысячи «лишних» обедов, «лишних» пирожков и «лишних» пирожных. Все это, вместе с поступавшими с Бадаевского пивзавода партиями такого же «левого» пива, легко сбывалось во время крупных спортивных соревнований. Известно, что футбольные матчи команд-фаворитов, происходящие на стадионе в Лужниках, собирают до 100 тысяч болельщиков. Более половины из них обычно питались «левыми» продовольственными

ми и кондитерскими изделиями и запивали «левым» пивом и «левым» лимонадом. Справедливости ради нужно сказать, что «левая» продукция комбината питания стадиона им. Ленина всегда была вкусней и качественней обычной. Еще бы! Ведь начальство было заинтересовано побыстрее сбыть «свой» товар. Деньги с выручки (а это были десятки тысяч рублей) делились всей верхушкой стадиона, и большая толика перепадала при этом начальнику ОБХСС (отдел борьбы с хищениями социалистической собственности) Ленинского района Москвы Л. Федорову и его сотрудникам. Эти многотысячные подачки позволили левозакономическому предприятию просуществовать четыре года, и только после того, как главари комбината не поделили между собой барыши и решили свести счета друг с другом с помощью государства, это дело, как поплавок, всплыло на поверхность. Но и в этом случае под суд пошли мелкие рыбешки, а Борисов, зять крупного партийного работника, остался на своем посту.

Несколько лет тому назад в тех же Лужниках вскрылось еще одно дело. На этот раз героем, а точнее «героиней» была главный бухгалтер стадиона Ольга Андреевна Шадчинова, за которой много лет держалась репутация «самого честного человека в Лужниках». Именно поэтому в течение семи лет сотрудники стадиона выбирали ее председателем поста народного контроля и казначеем месткома стадиона. Не раз на собраниях сотрудников выступала она с речами о честности и добросовестности, о необходимости беречь каждую государственную копейку. Лишь на следствии выяснилось, что в течение этих же семи лет часть денежных средств, которые получал за аренду своих спортивных залов, катков, бассейнов и футбольных полей этот самый крупный спортивный комплекс страны от заводов, институтов и предприятий, — шла не в Госбанк, откладывалась в сберкассе на улице Плющиха под видом профсоюзных средств кол-

лектива стадиона. Рос капитал, росли проценты, и все эти деньги были личным оборотным капиталом руководства стадиона. Они вкладывали эти деньги в спортлото, в строительство финских бань, дач, в увеселительные прогулки и банкеты на лоне природы, в создание новых «левых» цехов при стадионе.

Следствие выяснило, что только по документально подтвержденным данным доля Шадчиновой в этих хищениях составила 186 тысяч рублей. Что может делать в СССР с такими деньгами одинокая пожилая женщина, внешне похожая на строгую монашку с аскетически-пуританским лицом? В ходе расследования этого дела выявился тайный порок Шадчиновой и статьи ее расходов — Шадчинова любила молодых мужчин. Если заместитель директора стадиона Никитин покупал на ворованные деньги драгоценности для своей жены, другой заместитель — Гусев — строил себе шикарную виллу, то Шадчинова буквально покупала молоденьких мастеров спорта СССР.

Только она одна и была осуждена по этому делу. Срок, определенный ей приговором, — восемь лет лишения свободы. В отношении остальных обвиняемых следствие вынесло 22 постановления о прекращении уголовного преследования — конечно же, снова по указанию партийных боссов из административного отдела ЦК КПСС и их прокурорских прислужников. Поэтому сегодня Никитин уже не заместитель, а директор стадиона им. Ленина — основного комплекса летних олимпийских игр 1980 года, Гусев — начальник управления Спорткомитета СССР, Борисов — директор Торговой Палаты СССР, а Мячиков — почетный пенсионер и организатор Спортлото в СССР.

В завершение этого беглого портрета руководства спортивным хозяйством СССР накануне столь знаменательных Олимпийских Игр, которые будут проводиться под их руководством в Москве, мы, пожалуй, дадим еще один короткий штрих — расскажем о том,

как организовываются в СССР самые грандиозные спортивные и праздничные парады в тех же Лужниках и на Красной Площади. Эти парады советское телевидение транслирует на весь мир, все советское правительство стоит обычно на трибунах или на Мавзолее, и буквально у них на глазах и на глазах всего мира расхищаются в это время десятки и сотни тысяч рублей. Дело в том, что около тридцати лет руководил организацией этих спортивных парадов заслуженный мастер спорта СССР В. Серый. При Сталине, Хрущеве, Брежнев — он постоянный режиссер и организатор этих парадов. И все эти годы он регулярно не меньше, чем вдвое, завышал в отчетах число участников парада, а следовательно — количество одежды, спортивного инвентаря, материалов, а затем присваивал и делил со своими покровителями сотни тысяч рублей.

Так даже знаменитые парады и демонстрации на Красной Площади, на которые население выходит в принудительном порядке, помимо политического блефа, являются еще и постоянными хозяйственными аферами все тех же «белых спортивных воротничков».

И тут уж действительно — комментарии излишни.

НЕЗНАНСКИЙ Фридрих — родился в 1932 году. Окончил Московский юридический институт, 25 лет проработал в органах юстиции, в том числе 15 лет следователем в Прокуратуре СССР. Около десяти лет был членом Московской городской коллегии адвокатов. Занимался научной деятельностью в области криминологии и уголовного права в Институте Прокуратуры СССР. Печатался в научной периодике.

В 1977 г. эмигрировал. Живет в Нью-Йорке. В 1980 г. в издательстве «Харпер энд Роу» выйдет его книга «Земля преступлений».

ТОПОЛЬ Эдуард — кинодраматург, писатель, журналист. Родился в 1938 г. Работал в газетах «Бакинский рабочий», «Комсомольская правда», «Литературная газета». В 1965 году закончил сценарный факультет ВГИКа. По его сценариям поставлено семь художественных фильмов. Пьеса «Любовь с первого взгляда» шла в Москве и Вильнюсе. Эмигрировал в 1978 г. Живет в Нью-Йорке.

В американской печати опубликовал отрывки из книги об эмиграции «Еврейская дорога».

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Свыше 1500 титулов на складе.

Требуйте каталоги

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

Subscription inquiries
should be addressed to



A. Neimanis • Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany

Литература и время

Борис Суварин

ПОСЛЕДНИЕ РАЗГОВОРЫ С БАБЕЛЕМ

При жизни Ленина достаточно известные советские писатели и художники довольно легко получали разрешение и средства для поездки на Запад — на несколько недель или на более длительный срок. Наполеон говорил Савари, сменившему Фуше на должности главы политической полиции: «Обращайтесь хорошо с пишущими. Они полезные люди». Коммунистическая власть последовала этому совету, даже не будучи с ним знакома. Привилегированные советские граждане, получавшие выездную визу, нередко употребляли выражение «отправиться в Европу», имея в виду Запад. Так, Ленин советовал Горькому поехать «в Европу лечиться», желая избавиться от надоевшего ему в то время писателя (постоянно за кого-то просившего). Борис Пильняк ездил даже в Америку и в Японию. Такое положение сохранялось в течение нескольких лет и при Сталине.

Сталину нравилась роль покровителя литературы и искусства. Он положительно ответил Михаилу Булгакову на просьбу разрешить постановку его пьесы. Он же разрешил выдать заграничный паспорт Евгению Замятину, которого советские издательства перестали публиковать. Приехав во Францию, Замятин в ней так и остался. И так далее... Но это продолжалось не так долго.

В конце 20-х, в начале 30-х годов в разгар сезона в Париж съезжались «русские». Их можно было видеть в кафе Монпарнаса и в ателье художников — Ан-

ненкова, Пуни, Цадкина. Шесть лет подряд во Франции появлялся, как метеор, Маяковский; по дороге в Америку проехал вместе с Айседорой Дункан Сергей Есенин. Так возникла «среда» — дружеская и мимолетная, симпатичная, культурная, забавная. Здесь я мог встречаться с Замятиным, В. П. Полонским, Кукиковым, Мансуровым, Никулиным — называю лишь нескольких. Здесь я подружился с Бабелем.

Исаак Эммануилович Бабель боготворил свою мать и сестру, которая была замужем за доктором Шапошниковым. Обе жили в Брюсселе — мать с 1924 года, сестра — с 1926 г. Так же нежно любил он и жену Евгению Борисовну, приехавшую в Париж в 1925 г. и твердо решившую остаться в нем, и дочурку Наталью, родившуюся в Париже в июле 1929 г. Поэтому он не упускал ни одного случая, чтобы их навестить, пожить с ними. Бабель пробыл на «Западе» около года — с 1927 по 1928. Вновь он смог приехать лишь в 1932 г., преодолев глухую подозрительность полицейских властей, вынюхивавших его подозрительные мысли: после публикации в 1926 г. «Конармии», принесшей ему славу, Бабель почти ничего не печатал — всего несколько рассказов, появившихся в печати в 1932 г., ради получения паспорта.

Во время наших бесконечных разговоров — у него, у меня, в кафе, на улице, даже в метро, даже во время прогулок — мне никогда не приходило в голову делать заметки (память в то время у меня была слоновая). Мы говорили главным образом о России, о литературе и советской политике. Но я очень любил его размышления о Париже, о Франции, ибо глаз внимательного и веселого наблюдателя обнаруживал то, что старый, закоренелый парижанин вроде меня больше не замечал. И это вызывало у него забавные и пронизательные мысли. В виде исключения, во время трех разговоров в 1932 г. я почувствовал необходимость записать его замечания. В то время я писал книгу о

Сталине, и мне показалось полезным запечатлеть основные моменты коммунистических дел той эпохи. Кроме того, я набросал несколько заметок в 1935 г., во время последнего пребывания Бабеля во Франции.

Дело не идет о буквальном изложении наших слов, но сделанные записи позволяют восстановить разговор. В нем не будет общих идей, анализа ситуации или объясняющих комментариев — мои заметки об этом умалчивают, — будут просто детали повседневной хроники уходящего времени, окрашенные чаще всего юмором, ибо, как он говорил, «без юмора жить невозможно». Все это сопровождалось тонкой мимикой, с интонационными паузами и нажимами, которые после стольких лет трудно передать.

Nabent sua fata libelli... И рукописи тоже. Гестапо и ГПУ в трогательном единодушии в оккупированной Франции 1940-41 годов ограбили мою квартиру, мою библиотеку, мои архивы. Но заметки о Бабеле уцелели, так как находились в деревне у друзей, меня приютивших. Это позволяет восстановить наши разговоры, которые велись то по-французски, то по-русски, в зависимости от того, на каком языке Бабель непосредственно находил точное и краткое выражение, лучше всего передававшее его мысль. Все комментарии его текстов подчеркивают его литературную строгость, сжатость, замечательные и во время бесед, когда речь шла о важных предметах. Моим заметкам, конечно, не достает игры выражений лица, меняющегося тона, выразительного взгляда, неповторимого акцента, которые я вновь вижу и слышу, перечитывая заметки, но не в силах передать.

Чтобы понять нижеследующее, нужно попытаться поставить себя в обстоятельства почти полувековой давности, а это не так-то просто.

Вторник, 18 октября 1932 г.

Сначала, зная об отношениях Бабеля с Горьким, о его знакомстве с Ворошиловым и другими шишками, сравнительно хорошо осведомленными, я расспрашивал его о Сталине. Бабель чувствовал себя в долгу перед Горьким, который поддержал его первые опыты в литературе и помогал своими советами опытному писателя. Кроме того, когда Буденный в 1924 и в 1928 гг. выступил в печати с враждебными, грубыми выпадами против «Конармии» и ее автора, Горький выступил с горячей защитой Бабеля в печати, а Ворошилов — в военной среде. Этим объясняются их отличные отношения.

Вот прежде всего краткое изложение ответа на мой первый вопрос. Бабель отвечал короткими фразами, флегматично.

Бабель: Сталин удаляется от всех. По целым дням никого не видит. Шагает взад и вперед по кабинету, покуривая трубку. Размышляет. Время от времени звонит подчиненному по телефону. Отдает приказания. Отправился на три месяца на Кавказ. В его отсутствие «хозяином» остался Каганович, в политическом отношении второй человек в государстве. В более общем плане вторая фигура — Горький. Знаете ли вы, что говорили шепотом после отъезда Сталина, оставившего в плачевном состоянии государственные дела, в особенности экономику? Насрал и уехал...

Я не знал значения первого слова, которое не фигурирует ни в моем словаре, ни в моей грамматике. Бабель перевел мне его на французский.

Бабель: Сталин хочет, чтобы его желания опережались. Он не любит уточнять своих приказов. Он хочет, чтобы его понимали с полуслова. И оставляет за собой возможность осудить неудачника или даже безупречного подчиненного в случае неудачи. Таким

образом он избегает ответственности. Он трезв, хотя любит спаивать своих собутыльников, чтобы посмотреть, как они выглядят в пьяном виде, и послушать, что они говорят в этом состоянии.

Хрущев в своих мемуарах, опубликованных 40 лет спустя, полностью подтвердил то, что мне рассказал Бабель об обычае Сталина спаивать приглашенных, чтобы заставить их говорить открыто: «Он пригласил к себе Мельникова и Кирпиченко... Он заставил их пить... Он любил спаивать людей... Его целью было приводить их в такое состояние, когда языки развязываются. Он хотел, чтобы они принялись болтать на такие темы, на какие в трезвом виде они дважды бы подумали, прежде чем говорить».

Бабель: Сталин любит МХАТ и балет. И часто туда ходит. Он принимает в своей ложе. Приглашает членов Политбюро. В обычном своем окружении скупает. Он был счастлив, найдя в Горьком собеседника себе под стать. Сейчас его фавориты — Орджоникидзе, Микоян... Говорит он медленно, каждое слово взвешивает пять минут...

Б. С.: Расскажите мне о Горьком.

Бабель: Личность замечательная во многих отношениях. Поразительная память. Широкое и многостороннее знание современных проблем.

Б. С.: Вы только что упомянули Кагановича.

Бабель: Работяга. Быстро схватывает. Ко всем его обязанностям добавили цензуру МХАТа и двух других театров.

Б. С.: Что стало с Пятаковым?

Бабель: В большом фаворе. Пьет...

Б. С.: А Преображенский?

Бабель: Пьет...

Б. С.: А Серебряков?

Бабель: Пьет...

Я глубоко опечален. Мой друг Преображенский, воплощение советизированного марксизма, пьет... Бабель произносил слово *пьет* тоном, не оставлявшим надежды. И мой друг Серебряков,

бывший уральский рабочий, занимавший место секретаря ЦК до Сталина, тоже пьет... Как Пятаков. Их *своеобразный* марксизм, над которым Маркс посмеялся бы, уступил, значит, место *водке* и отчаянью.

Б. С.: Роспуск РАППа, предполагаю, произошел под влиянием Горького?

Бабель: Вы ошибаетесь. Сталин все решает сам, по собственной инициативе. В течение двух недель он принимал у себя и слушал Авербахов, Безыменских и им подобных. Потом он решил: с этими людьми толку не будет. На Политбюро он внезапно предложил свою резолюцию. Никто и глазом не моргнул.

РАПП — Российская Ассоциация Пролетарских Писателей — долгие годы терроризировала писателей, доносила на талантливых людей, «попутчиков» и других. Внезапно, в апреле 1932 г., она была распущена. Рассказав историю РАППа, Бабель оживился, как бы готовясь поведать отличную шутку.

Бабель: Сталин поступает так. Он приглашает к себе нескольких товарищей, предлагает выпить, наливает большой стакан водки или кавказского коньяка и дает его, например, Авербаху со словами: «Пей!» Авербах, ошарашенный, бормочет: — Но... товарищ Сталин... дело в том... я не пью спиртного... Сталин приказывает: «Пей! Ты что, выпить не хочешь?» Авербах, испуганный: — Но, товарищ Сталин... Вы понимаете... Я не могу... Сталин, взбешенный: «Пей! Ты что, отказываешься пить?!» *(Бабель пытается придать лицу злой и страшный вид, чтобы изобразить Сталина, он подчеркивает каждое слово и почти кричит.)* Сталин: «Пей! Ты все еще отказываешься пить! А? Ты боишься! Ты — бо-ишь-ся про-го-вориться!!!»

Авербах, шурин главы ОГПУ Ягоды и секретарь РАППа, один из самых страшных преследователей талантливых писателей, был через несколько лет расстрелян, как его зять, как большинство псевдопролетарских писак.

Б. С.: В печати недавно сообщалось о том, что Ярославский впал в немилость. Что произошло?

Бабель: Его увольнение вызвало всеобщее удовольствие.

Больше он ничего не говорит. Мой вопрос остается без ответа. Я и сейчас не знаю, почему, в какой связи идей, Бабель начинает говорить о каком-то Гугеле, даже имени которого я не знал, неизвестного ни в политике, ни в литературе.

Бабель: Этот Гугель — типичный советский строитель. Он руководит строительством в Магнитогорске. У него прямой провод с Москвой. Ночью он беседует с женой, со Сталиным. В его распоряжении личный самолет...

Это отступление — свидетельство живого интереса, проявляемого Бабелем к некоторым новым явлениям в Советской России, связанным с безжалостным выполнением пятилеток. Его особенно интересовали отклонения, странные случаи. В 1932 г. советский строитель нового типа представлял собою нечто странное. В словах Бабеля слышались нотки восхищения и одновременно удивления, как в некоторых рассказах «Конармии».

Пятница, 21 октября 1932 г.

Вся коммунистическая пропаганда, как в Советском Союзе, так и за его рубежами, без перерыва говорила об опасности империалистической войны, носителями которой были Франция, Англия и их союзники, но никогда — Германия. Только западные демократы, вместе с «Малой Антантой», по своей сущности были врагами «отечества социализма». Естественно поэтому было направить разговор на вероятность такой войны, на Красную Армию и ее руководителей.

Я назвал Тухачевского, только что повышенного в должности.

Бабель: Он получил эту должность, несмотря на упорное сопротивление Клима Ворошилова. Здорово пьет. Бабник. Четыре или пять женщин в Ленинграде, столько же квартир... Член партии, но только формально. Он военный специалист. Герои гражданской войны в немилости. Теперь время специалистов. Только два выдающихся командира: Путна, Федько. Это все. В случае войны рассчитывают на командиров полков. Все проходят через Германию (военные школы).

Путна, бывший троцкист, был советским военным атташе в Лондоне, а затем погиб, как тысячи офицеров и генералов, когда Сталин, начиная с 1937 г., предпринял истребление кадров Красной Армии. Я жадно слушаю Бабеля, ибо знаю, что он очень хорошо знаком с армейскими делами: его высоко ценит — за исключением одного Буденного — высший командный состав и приглашает ежегодно на большие маневры.

Б. С.: Блюхер?

Бабель: Операция в Манчжурии его несколько лишила доверия. К тому же он болен. Видимо, рак.

Б. С.: А наш друг Буденный?

Бабель (со смехом): Не существует. Подчинился. Убил свою жену и женился на буржуйке. Бойтся историй. И Сталин держит его, зная за ним грязную историю. Сталин не любит биографий без пятен...

Б. С. (пораженный): Буденный убил свою жену?

Бабель: Убил.

Б. С. (наивно): За что?

Бабель: Он обвинил ее в троцкизме...

Бабель произнес слово *убил* с безразличным видом, смотря на меня со снисхождением, как бы говоря: Вас это удивляет? У нас такие вещи случаются... Через тридцать лет после этого разговора статья «Смерть Аллилуевой» в журнале «На рубеже» (Париж, № 5, сентябрь 1952 г.) полностью подтвердила слова Бабеля. Кратко говоря: после внезапной смерти Аллилуевой распространилось множество слухов, связанных с «тайной» этой кончины; ее связывали со смертью жены Буденного в ноябре 1927 г., вскоре после ареста

Троцкого. Жену Буденного похоронили без вскрытия, на следующий день после «самоубийства». Буденный рассказывал, что вспыхнула ссора из-за того, что она возмущалась арестом Троцкого. И он обвинил свою жену в троцкизме, уверяя, что он ее только обругал, — до ее «самоубийства».

Б. С.: А Клим?

Бабель: Заслуживает уважения. Потерял свой партизанский дух. За исключением назначения Тухачевского, всегда согласен со Сталиным.

Первая фраза Бабеля о Климе мне не понравилась, но я передаю, что он сказал. Я не выносил этого Ворошилова, и его гнусная роль в убийстве Тухачевского, всей его семьи и в расправе с тысячами офицеров в 1937 г. подтвердила, что я не ошибался.

Б. С.: Что говорят о войне?

Бабель: Не готовы к ней. В особенности Челябинский завод. Армия готова, крестьянская страна не готова.

Б. С.: Знаете ли вы что-нибудь о Мрачковском?

Бабель: Он успешно построил стратегическую железную дорогу в Туркестане. Он строит совершенно секретную дорогу на Дальнем Востоке, в тайге. Полный хозяин жизни и смерти работающих там. Тысячи людей там гибнут.

Б. С.: Что же в конце концов говорят сейчас о Троцком?

Бабель: Очень популярен, даже среди крестьян. Потому что это вождь, герой. Произвел плохое впечатление сотрудничеством с «Дейли Телеграф» и своими «Воспоминаниями». Но в целом его уважают, так как он не сдается (*Бабель сильно подчеркнул эти слова голосом*). В случае войны и критического положения бывшие троцкисты потребуют его возвращения.

Б. С.: Есть ли какое-нибудь представление о политических репрессиях?

Бабель: Приблизительно десять тысяч троцкистов сослано и арестовано. Сейчас их осталось полторы-две тысячи. Всего заключенных примерно три миллиона.

Не забудем, что разговор происходил в 1932 г. Только после убийства Кирова в 1934 г., совершенного по приказу Сталина, массовые аресты и расправа с невинными приобрели фантастические размеры.

Б. С. (не забывающий книги, над которой работает): Вернемся к Сталину?

Бабель: Ему не хватает людей. Он пользуется теми, из которых может что-нибудь вытянуть. Вы знаете, как он испытывает людей: приглашает к себе и заставляет выпить бутылку водки или кавказского коньяка. Восточная игра, чтобы наблюдать за поведением и беспокойством собеседника, который опасается, потерявши контроль над собой, сказать неосторожное слово. (*Бабель мне уже говорил это, но повторяет, ибо считает эту черту характерной.*) С некоторого времени он решил молчать, чтобы не давать возможностей для критики и лучше держать в руках окружение, гадающее о его подлинных намерениях и мыслях. Таким образом, всегда можно свалить вину на подчиненных, виновных в искажении линии, оставив себе право утвердить или отвергнуть уже сделанное.

И Бабель, подмигивая, повторяет уже сказанную формулу: «Насрал и уехал». Не помню уж, какое замечание о Наркоминделе вызывает следующую реплику.

Бабель: Сотрудники Наркоминдела выполняют инструкции Политбюро. Литвинов, Крестинский и К^о веса не имеют.

Б. С.: Почему сняли Уншлихта?

Бабель: Он надоел Сталину.

Б. С.: А Семашко?

Бабель: То же самое.

Б. С.: А Луначарский?

Бабель: То же самое.

Я забыл, каким образом снова всплыло имя Буденного. Бабель рассказывает мне об эпизоде гражданской войны — о Думенко, которого Троцкий хотел расстрелять. Буденный, говорит Бабель, всегда на стороне сильного. Этот эпизод я плохо помню. По поводу жестоких атак Буденного Бабель с широкой улыбкой говорит: «У меня оказались неожиданные защитники — например, Калинин, Мануильский». Пользуясь этим упоминанием, я расспрашиваю о Мануильском.

Бабель: Приличен.

Я другого мнения. Слишком хорошо знаю этого типа. Но я цитирую.

Б. С.: Почему Трилиссер попал в опалу?

Бабель: В связи с серией неудач. Дело Беседовского в Париже было последней каплей, переполнившей чашу.

Б. С.: Как Агранов?

Бабель: Блестящая карьера. Полная власть в Московской области. Значит, в его руках охрана правительства. Это не шутка.

Ягода, Трилиссер и Агранов были руководителями ГПУ. Позже все они были расстреляны, как и их окружение, вследствие склонности Сталина к параноидальным человекоубийствам. Покончив с чекистами, которых я в свое время знал, называю с вопросительной интонацией человека иного рода, Каменева.

Бабель: Он осуществил великолепное издание Герцена с замечательным предисловием. Работает для издательства «Academia».

В этом месте я записал у себя: «Дом писателя» в Москве. Не знаю, почему.

Бабель: Клоака.

Разговор окончен. Бабель встает. Провожая его, я подвожу итог, как делал уже много раз после бесед с Бабелем и другими.

Б. С.: В общем, никаких возможных изменений в ближайшем будущем?

Бабель: Война.

Б. С.: В этом случае — кому будет вручено верховное командование?

Бабель: Путне.

Читатель понимает, какой интерес представлял для меня этот разговор, ибо я знал, что Бабель выражает не свое личное мнение, а взгляды высшего командного состава, среди которого у него были знакомые и друзья, такие, как командующий киевским военным округом генерал Якир. И опять хочу напомнить, что разговор происходил в 1932 году.

Воскресенье, 23 октября 1932 г.

Снова мы говорим о Сталине. Как избежать этого? Чтобы иллюстрировать личность чудовища, Бабель рассказывает советский анекдот, который распространяется шепотом к печальной радости москвичей. Я его уже знаю, но с удовольствием слушаю в передаче Бабеля.

Бабель: Сталин, взбешенный враждебными чувствами, которые питает Крупская к его личности и политике, вызывает ее к себе, чтобы изругать и пригрозить: — Вы долго еще будете в оппозиции? Если это будет продолжаться, я назначу Артюхину вдовой Ленина.

Эта грубая шутка, придуманная ловким оппозиционером, проникла за границу, и некоторые американские «советологи» приняли ее всерьез, действительно подумав, что Сталин хочет объявить вдовой Ленина другую женщину. Они называли при этом различных женщин — известных деятельниц, преувеличивая неправдоподобие, а между тем именно внешность Артюхиной придавала соль анекдоту.

Потом Бабель, по-прежнему, чтобы иллюстрировать «гениального секретаря», рассказал мне случай,

происшедший с видным чиновником, членом коллегии Наркомнаца, совершившим — не помню теперь, какой — проступок. Решение Политбюро: исключить из коллегии, из Комиссии контроля, предложить исключить из партии. Сталин вызывает его к себе, объявляет об опале, отбирает один за другим членские билеты вышеуказанных учреждений, резко отсылает его, а когда разжалованный, отчаявшийся, жалкий человек подходит к дверям кабинета, Сталин возвращает его: — Возвратите мне пропуск в кремлевскую столовую!

И Бабель смотрит на меня саркастически, его вид выражает: — Как вам это нравится? Какой тип! Обо всем думает.

Б. С.: По-вашему, кто напишет лучшую книгу о Сталине?

Бабель: Горький!

Б. С.: Кто лучше всех осведомлен о нем?

Бабель: Ягода!

Б. С.: Бухарин во время своего знаменитого разговора с Каменевым, о котором сообщили троцкисты в 1929 г., сказал, что Сталин ленив.

Бабель: Перестал быть ленивым. Много работает. Он даже устает от все растущей нагрузки, которая лежит на нем.

Б. С.: Что вы знаете об Иване Никитиче Смирнове?

Бабель: Он построил завод комбайнов в Саратове. Об окончании работ сообщил точно в назначенный срок телеграммой, которая произвела сенсацию своей лаконичностью.

(Я не записал текста.) Я расспрашивал моего собеседника о людях менее значительных, неизвестных на Западе. Потом мне приходит на память имя Яна Гамарника.

Бабель: Сделал прекрасную карьеру. Теперь он в командном составе армии. Он очень болен. Диабет.

Зам. наркома обороны Ян Гамарник официально «покончил самоубийством» в 1937 г.; в действительности же был убит палачами Сталина во время расправы с Красной Армией. Следует добавить, что, за исключением двоих-троих, все, кого мы упоминали в разговорах, были затем убиты Сталиным.

Б. С.: Что известно о Чичерине?

Бабель (широко улыбается и оживляется): Бальзаковский персонаж! У него не работает лифт, поэтому он живет сейчас в квартире Лили Брик. Никого не хочет видеть. Ненавидит Литвинова. Пишет иногда письма по двадцать страниц. Работает над книгой о Моцарте. Неврит причиняет ему ужасные страдания. Пьет...

Б. С.: Что говорят о Бубнове?

Бабель: Завел военные порядки в Наркомпросе. Возможно, его переведут в ГПУ.

Б. С.: Что случилось с Куйбышевым?

Бабель: Пьяница.

Б. С.: А Менжинский?

Бабель: Очень болен. Самый культурный и самый поэтичный (!?) среди правителей. Знает тринадцать языков. Особенно интересуется персидской литературой.

Зная, что Бабель провел несколько месяцев в Киеве, в котором я прожил несколько дней в 1922 г., я расспросил его о судьбе многих наркомов, с которыми там познакомился. Все они, по словам Бабея, разжалованы и топят свой пессимизм и свое отчаяние в пьянстве.

*
*
*

Тем не менее, Бабель смог вернуться «в Европу» в 1933 г. Он провел некоторое время в Италии у Горького, затем в Париже и Брюсселе у родных и в сентябре вернулся в Москву. На следующий год (в августе

1934 г.) состоялся первый съезд Союза советских писателей, созданного высшей властью, когда Сталин ликвидировал РАПП. На этом съезде был провозглашен обязательным метод «социалистического реализма», введение которого приписывается обычно Жданову, бывшему в действительности лишь послушным орудием Сталина.

Как писал мой друг Тибор Самуэли: «Пять лет между 1929 и 1934 годами были решающими в процессе развития Советского Союза; он вышел из этого периода преобразенным, к лучшему или к худшему, но неузнаваемым... Была установлена единая социально-политическая система». Преобразование было, конечно, к худшему, и это почувствовалось на съезде писателей.

Принадлежность к этому государственному и полицейскому союзу была для Бабеля, Пастернака и других еретиков обязательной, несмотря на их внутренние убеждения. В стране «социализма» (?) работник умственного или физического труда не может избежать полной необходимости состоять в профессиональной организации: иначе он не может жить. Бабель не мог не принять участия в съезде писателей — его уже подзревали в «недобрых мыслях»: в условиях духовного террора и доносительской подозрительности молчание было признанием вины. Почему он ничего не печатает? Человек, подобный ему, не мог высказаться, но не имел права молчать.

Бабель обязан был — самому себе и ГПУ — выйти на трибуну съезда. Прирожденный хитрец, он виртуозно вышел из положения, произнес небольшое поучение, отточенное по форме, ничем его не обязывающее и не дававшее пищи для коллег-стукачей, озадаченных и разочарованных. Он сказал, например: «Я... испытываю (к читателю) такое беспредельное уважение, что немею, замолкаю... В искусстве молчания я признан великим мастером этого жанра...»

Но это не рассеяло подозрительного к нему отношения, ибо сомнения относительно его подлинных мыслей остались. Поэтому он не был включен в советскую делегацию, посланную в 1935 г. в Париж на Конгресс писателей в защиту культуры (?!). Отсутствие Бабеля подразумевало невысказанное отношение к нему.

И тогда произошло нечто необычное: известные писатели, собравшиеся в Париже, обратились в Москву с телеграммами, требуя участия Бабеля. Он был известен со времени публикации «Конармии» по-французски (1928); многие из рассказов, составляющих сборник, печатались еще раньше в журналах. Известен не среди широкой публики, но в среде интеллигенции, интересы которой устремлялись к социализму и революции. В 1931 г. маленький журнал учителей «Лез Юмбль» (тетрадь № 5) напечатал три других рассказа под заголовком «Три истории». Это были реалистические картинки, которые старик Гюго бы назвал «Увиденные вещи», но им подошло бы и название «Из пережитого». Это определение подходит и к главам «Конармии», написанной языком разговорным, иногда очень метафоричным, часто очень грубым, живописным.

Короче говоря, в 1935 г. отсутствие Бабеля на конгрессе в Париже было непонятно. Сталинский деспотизм в то время еще не достиг своего пароксизма. И Бабель *в последнюю минуту* получил визу (в последний раз). Он прибыл как раз к началу конгресса. Снова мы могли свободно вести разговоры на заботившие нас темы «...с тем взаимным пониманием, которое позволяет свести речь к коротким фразам, к незаметным переменам выражения лица». Моя книга о Сталине была к этому времени закончена, я не думал больше о том, чтобы делать подробные заметки, как в 1932 г. Тем не менее, я отметил несколько наиболее важных пунктов, позволяющих восстановить запись.

Помню, что речь шла о хронике повседневной жизни, не было разговора о проблемах высокого порядка.

Я спрашиваю: Вы думаете, что у вас существуют ценные литературные произведения, которые не могут появиться из-за политических условий?

Бабель: Да! В ГПУ.

Б. С.: Как так?

Бабель: Когда интеллигента арестовывают, когда он оказывается в камере, ему дают бумагу и карандаш и говорят: «Пиши!».

Это скоро прекратилось, ибо последовавшие бесчисленные аресты заполнили тюрьмы несчастными, которые не могли даже двигаться, не то что писать.

Б. С.: А вы? Вы пишете в расчете на более счастливое время?

Бабель (с озорством в глазах): Конечно! Я пишу книгу о лошадях...

Чтобы переменить тему, мы заговориваем... о Сталине. В ноябре 1932 г. произошло «самоубийство» Надежды Аллилуевой, жены деспота. По официальной версии смерть была результатом «аппендицита», но никто этому не верил, зная, что все сведения из сталинских источников лживы. Наоборот, версия о том, что Сталин был причиной самоубийства своей жены, казалась как нельзя более правдоподобной. Позднее стало известно, что версия об убийстве, подобном тому, какое совершил Буденный, распространялась по Москве среди посвященных. А позднее, когда накопились факты и свидетельства, не было уже сомнения, что Сталин убил свою жену так же, как и Буденный — свою, после ссоры. Так же, как по его приказу был отравлен Горький. Как по его приказу был убит Киров, «лучший друг» — по выражению Светланы Аллилуевой, его собственной дочери. Как погубил он Мдивани и Енукидзе, друзей юности, своего близкого това-

рища Орджоникидзе, который «покончил самоубийством», и столько еще других.

В книге о Сталине, законченной в 1935 г., пользуясь лишь доступными в то время сведениями, я допускал, что Аллилуева покончила самоубийством, что Кирова убил экзальтированный человек (чуть позже — что Горький умер своею смертью), — свидетельство того, что я отнюдь не хотел добавлять черных красок. В последующие годы, в свете новых данных, полученных после войны, я должен был пересмотреть свои взгляды и установить прямую и личную ответственность Сталина в этих трагедиях*.

Бабель мне сказал, что во время похорон Аллилуевой тысячи чекистов были расставлены вдоль всего пути от Кремля к Новодевичьему монастырю и на крышах всех домов, в которых было запрещено открывать окна. (Я уже не помню, кто мне сказал, что Сталин покинул по дороге траурную процессию и вернулся к себе). Бабель описал мне Сталина после семейной трагедии еще более одиноким, чем раньше, более мрачным, более замкнутым в себе и добавил:

Бабель: Нужно было найти ему женщину. Это было нелегко. В конце концов ему нашли Розу Каганович.

Б. С.: Почему нелегко?

Бабель (колеблясь, как если бы он искал и взвешивал слова): А, но... понимаете... в общем... короче говоря... на-до бы-ло с ним с-па-ть!!!

Он делает испуганный вид, глаза его расширяются от ужаса при мысли о Розе Каганович, отданной кремлевскому Минотавру. Эта зловещая картина производит и на меня впечатление, мы на мгновение замолкаем, а потом вместе взрываемся нервным, про-

* В журнале «Le contrat social», Paris, 1967, Б. Суварин опубликовал статьи: «Убийство Надежды Аллилуевой» (№ 3) и «Сталин и его близкие» (№ 6). — Прим. переводчика.

должительным, облегчающим смехом. Смехом не очень милосердным. Но тем хуже для Розы, обитающей в этой подозрительной среде, кишасей преступниками.

Светлана Аллилуева в одной из своих двух книг, столь ценных по многим причинам, отрицает эту связь своего отца и даже само существование Розы. Но она ничего не знает, поверив словам Жемчужиной-Молотовой, закоренелой сталинистки, а следовательно, неисправимой лгуни. Адам Улам, биограф Сталина, повторяет написанное Светланой, но и он ничего не знает. От себя он добавляет, что Роза — выдумка «эмигрантов». Это, во-первых, неправда, во-вторых, нелепо: слухи на этот счет шли из Москвы, и непонятно, почему это должно было интересовать эмигрантов. Во всяком случае, Бабель эмигрантом не был, напротив, а его связи с верхами позволяли ему говорить со знанием дела. Позднее я получил подтверждение его слов из очень серьезного источника.

В номере журнала «Иллюстрасьон», вышедшем после смерти Сталина, была помещена фотография Сталина и Розы, но это явная фальшивка: мужеподобность этой женщины исключает всякую возможность «с-па-ть» с ней, по выражению Бабеля. Это несомненно, фотография какой-нибудь передовой доярки или «пятисотницы». Но в книге Монтгомери Хайда о Сталине (Лондон, 1971) воспроизведена приемлемая фотография Розы, однако приемлемая условно, ибо источника автор не указывает.

Во время последнего пребывания Бабеля в Париже Дриё Ларошель* попросил меня организовать встречу. Они встретились у меня, в моем немом присутствии. Дриё, всегда взволнованный, одержимый перспективой войны, в страхе за будущее Франции и Европы, колеблющийся интеллектуально между фашизмом и коммунизмом, в поисках окончательных аргументов,

* Дриё Ларошель, Пьер (1893-1945) — французский писатель, участник I мировой войны. В 20-30-е гг., одержимый «ностальгией по Порядку» и страдающий от «французского декаданса», он последовательно принадлежит ко всем основным литературным и политическим движениям эпохи, остановившись в конце концов на «фашистском социализме». Во время оккупации это привело его к коллаборантству. В 1945 г. покончил с собой. — Прим. ред.

которые позволили бы избавиться от сомнений, настойчиво задавал вопросы, на которые Бабель отвечал с исключительной осторожностью, с тонкой и неуловимой сдержанностью. Ибо он не был человеком, который перед буржуа-иностранцем мог произнести хотя бы одно слово, позволявшее сделать вывод о неодобрительном отношении к его родной стране или даже режиму, установленному «историей». Я чувствовал растерянность Дриё, нетерпеливо ждавшего ясного ответа от этого необычного советского гражданина, который решил держаться лояльной линии поведения по отношению к власти, ведавшей его паспортом. Я не пробую даже привести здесь хотя бы одну фразу из диалога: уклончивая тонкость Бабеля перестала быть осязаемой после почти полувека. Быть может, в бумагах Дриё сохранились какие-нибудь следы его?

*
*
*

В этом году лето было очень жарким. Я отправился к Бабелю в Плесси-Робенсон. Евгения Борисовна (Женя — для друзей) жила с дочкой в домике на улице Пруда Слушающего Не Идет Ли Дождь. Я вижу в моей памяти очень ясно сцену этого последнего посещения Бабеля.

По-соседски пришла Наталья Парэн, жена моего друга Бориса Парэна (она жила в Со). Женщины, усевшись рядом, говорили между собой по-русски, шили и вязали. Бабель, развалившись в кресле, отдыхал, блаженно улыбаясь; иногда по его лицу, казалось, проходило облако. Какие мысли приходили ему в голову накануне возвращения домой? Можно лишь догадываться.

Внезапно ворвалась со смехом Татьяна, дочка Парэнов, и Наталья, дочка Бабеля, запыхавшиеся, шумные, раскрасневшиеся. Они примерно одного воз-

раста и забежали передохнуть. Матери пытаются их успокоить, но девочки не слушают. Бабель смотрит на свою дочку с большим любопытством. Он прозвал ее «Махно» — по имени украинского монархиста из Гуляй-Поля, доставившего столько неприятностей белым Деникина и красным Троцкого. Для Бабеля имя Махно означает непримиримый задор, боевой темперамент. Внезапно обе девочки, Таня и Наташа, как подброшенные пружиной, выбегают из комнаты с детскими криками. Бабель с сияющим лицом удовлетворенно качает головой. Мы выходим с ним пройтись, оставив Женю и Наталью Парэн с их шитьем и открытыми разговорами.

Я стараюсь скрыть свои предчувствия, свое тайное волнение при мысли, что на этот раз Бабель уезжает, по всей вероятности, навсегда. Это 1935 год. Приходящие из Москвы новости нас тревожат, приводят в отчаяние. Нэп кончился еще в 1930-м. Мы знаем, что коллективизация сельского хозяйства, проведенная с неслыханной жестокостью, стоила миллионов жертв. Не было сомнения, что Сталин не остановится ни перед чем.

В 1925 г. покончил самоубийством Сергей Есенин, в 1930-м — Маяковский. И тот и другой — подавленные отвращением, разочарованием*. Мы знаем о судьбе Пильняка, Мандельштама и многих других. «Само-

* См. письмо Сергея Есенина Александру Кусикову, написанное 7 февраля 1923 г. на пароходе, шедшем из США во Францию. Поэт писал, в частности: «...а как вспомню про Россию, вспомню, что там ждет меня, так и возвращаться не хочется. Если б я был один, если б не было сестер, плюнул бы на все и уехал бы в Америку или еще куда-нибудь...» Мотив среди прочих: «Теперь, когда от революции остались только клюнь да трубка...» (Опубликовано в «Le contrat social», Париж, декабрь 1968, и в «Новом журнале», № 95).

· Художник Юрий Анненков, выдавший в последний раз Маяковского в Ницце в 1929 г., вспоминает, что поэт сказал ему: «А я — возвращаюсь... так как уже перестал быть поэтом». А потом, раздавшись, Маяковский прошептал, едва слышно: «Теперь я... —

убийство» Аллилуевой было выразительным свидетельством. Беспощадно избиваются сторонники Троцкого, и не только они. Все это были предвестники кровавого, непрерывно нарастающего и ширившегося террора. За убийством Кирова в 1934 г. последовали аресты, бесчисленные ссылки, ужасающие репрессии.

Я не принадлежал к тем, кто советовал Бабелю остаться во Франции. Ибо я знал его неизменный ответ на подобные дружеские советы: «Я русский писатель; если бы я не жил среди русского народа, я перестал бы быть писателем, стал бы рыбой, выброшенной из воды». Я много раз слышал от него этот основной мотив. Сердце сжималось, когда я расставался с ним, с трудом скрывая свои чувства.

Мои предчувствия стали еще тяжелее на будущий год. 18 июня 1936 г. умер Горький: у Бабеля не стало такого высокопоставленного покровителя, который, к тому же, и до того потерял все влияние на Сталина. Эта смерть предшествовала множеству других. «Ищите, кому выгодно преступление». Освобожденный от «горького» вмешательства того, кто, тем не менее, долгие годы был его сообщником, Сталин мог удовлетворить свою жажду мести без удержу: Зиновьев и Каменев были расстреляны через два месяца после смерти Горького, а вместе с ними большое число их сторонников, подлинных или вымышленных. Невидимая связь между этими смертями очевидна. Бухарин и его друзья вступили уже на роковую наклонную плоскость. Стало ясно, что Сталин решил «ликвидировать» в крови партию Ленина. Он верит в то, что

чиновник» (он хотел сказать — слуга). Анненков вспоминает потом поэта Владимира Пяста, «повесившегося на подтяжках», Велемира Хлебникова, «умершего от голода, без жилья», Марину Цветаеву и Андрея Соболя, покончивших самоубийством; Николая Гумилева, Сергея Третьякова, Адриана Пиотровского, Бориса Пильняка, Бруно Ясенского, которые «были расстреляны». И других, упомянутых выше.

только мертвые молчат и не могут возбуждать подозрений.

Вскоре Сталин найдет в Ежове, заместившем Ягду, полицейского-палача, готового выполнять самые чудовищные человекоубийственные работы, даже опережавшего садистские желания Хозяина. Период ожесточенного террора, отражавшего убийственную ярость Сталина, ошибочно называют *ежовщиной*. Но словцо это вошло в обиход в советской стране. После гекатомб начала 30-х годов из Москвы стали проникать за рубеж все более отчаянные известия. Со все возроставшей тревогой я следил за судьбой немногих оставшихся там друзей.

В 1936 г. Эренбург, который легко ездил из Москвы в Париж и обратно, слишком легко для честного человека, снова приехал во Францию; Женя Бабель условилась о встрече с ним на Сен-Жермен-де-Пре, чтобы в разговоре узнать что-нибудь о своем муже. Ибо Бабель время от времени писал короткие загадочные письма, в которых успокаивал семью и, странное дело, настойчиво повторял приглашение приехать в Советский Союз, зная, что жена его совету не последует. Это писалось, конечно, для цензуры, читавшей письма, и было необходимо ради избранного им поведения. Эренбург, как и полагалось настоящему сталинисту, обошелся с Женей по-хамски. Он сказал ей грубо: «У Бабея другая жена, вы для него не существуете, между вами все кончено». Расстроенная Женя ушла от этого хама и вся в слезах пришла ко мне (я жил рядом), чтобы рассказать о разговоре и найти поддержку.

Я утешал ее и объяснял, как мог, говоря все, что в таких случаях говорят: что Бабель очень хорошо понимает, что она никогда не вернется в Советский Союз, тем более с ребенком, которого следует воспитывать в наилучших условиях, избавить от страданий и болезней; неизбежных при терроре и советской ни-

щете; что он пишет спокойные письма, ибо не хочет беспокоить близких, которых любит, но без надежды увидеться, зная, что он больше не сможет выехать из страны, а предвидеть конца нынешних кошмаров никто не может; что если у него есть связь, то это в порядке вещей, но ничего не меняет в его верности чувствам, которые он питает к семье, счастливо спасшейся в цивилизованной стране; что Эренбург — сталинец, а следовательно лжец и свинья; и т. д. Женя — женщина очень умная, понимающая и мужественная. У нее долг по отношению к Наташе, которой исполнилось тогда семь лет. Сила души поможет ей выдержать испытание.

Много позднее стало известно, что произошло. В 1932 г. Бабель подружился с молодой культурной женщиной, инженером по профессии, — Антониной Николаевной Пирожниковой. С конца 1935 г. (дата неточная) они жили вместе. В 1937 г. у них родился ребенок, девочка Лида, признанная Бабелем. В книге «И. Бабель. Воспоминания современников», вышедшей в Москве в 1972 г., есть фотография Пирожниковой: красивая женщина, милая и скромная. Бабель, следовательно, основал новую семью, что в его условиях нельзя назвать странным. Он по-прежнему писал своим в Париж безобидные, успокаивающие письма, полные внешнего оптимизма по поводу всего происходившего на советской земле. В них, конечно, не было никаких намеков на то, что происходит в политических и литературных кругах.

После расстрела обвиненных в процессе Зиновьева и Каменева в 1936 г.; затем Пятакова и Радека, окруженных мнимыми «сообщниками», — в 1937 г.; затем, в том же 1937 г., — Тухачевского, Путны, Якира и других генералов и высшего командного состава Красной Армии; наконец, Бухарина, Рыкова, Ягоды и т. д. в 1938 г., после резни, сопровождавшейся массовыми ссылками, террор достиг апогея, охватив низы совет-

ского общества. При бдительности сталинского всемогущего ГПУ каждый невинный был виновен — не зная, в чем. И каждый мог ждать, что «мясорубка» (выражение Хрущева) втянет его, если не сегодня, то завтра.

Но об этом нет даже намек в воспоминаниях Антонины Пирожниковой «Бабель в 1932-1939 гг.», вошедших в сборник «Воспоминания современников».

Ни слова о друзьях, точно провалившихся сквозь землю; о других писателях, о военных, которых знал Бабель, не упоминается даже генерал Якир; ни малейшего намека на миллионы жертв голода. Пирожникова работала инженером на строительстве московского метро; безжалостные условия работы там были причиной многочисленных жертв среди рабочих: ни одним словом не упоминаются эти несчастные.

В «Воспоминаниях», хронике их совместной жизни на протяжении семи лет, все идет к лучшему в этом лучшем из миров. У супругов нет никаких трудностей, ни жилищных, ни с питанием, ни в городе, ни в деревне. Оба они путешествуют без всяких препятствий, выезжая на Кавказ, в Крым, на Украину. Они ходят в театр, в кино, на концерты. И часто на конные заводы и ипподромы. Часто навещают Горького, а многочисленные друзья приходят к ним. Бабель хорошо зарабатывает, работая главным образом для кино (редактирует сценарии). С большим интересом наблюдает жизнь и условия труда в колхозах. Ему дают дачу в Переделкино, в писательском поселке, по соседству с Пастернаком...

Именно в Переделкино Бабеля арестовали по распоряжению ГПУ 15 мая 1939 г., и он исчез навсегда. И его поглотила «мясорубка». В *воспоминаниях* Антонины Пирожниковой об этом нет ни слова. И вообще нигде ни слова, по сталинским правилам. Гробовое молчание спускается на Бабеля, на его имя, его память, его книги.

Наконец, 5 марта 1953 г., Сталин умер. Спустя четырнадцать лет после исчезновения Бабеля. 25 февраля 1956 г. Хрущев выступил со своим тайным докладом, в котором была раскрыта ничтожная доля преступлений, совершенных при Сталине. Но еще раньше, 18 декабря 1954 г., Бабель без всякой огласки был «реабилитирован» убийцами. В четырех строчках «реабилитации» без каких-либо объяснений указывалось лишь, что 20 января 1940 г. был вынесен приговор (какой?). Несколько лет спустя в энциклопедиях была раскрыта дата его смерти (какой смерти?) — 17 марта 1941 г.

Зная об ужасающих методах, применяемых сталинским ГПУ для того, чтобы сломить душу и тело несчастных, неповинных ни в чем, я не могу без содрогания думать о судьбе моих замученных друзей и товарищей, в особенности о судьбе Бабеля между маем 1939 г. и мартом 1941-го. Приспешники Сталина, сменившие его у власти, осмеливаются назвать «реабилитацией» краткое сообщение, в котором нет ни слова о причинах ареста, об условиях заключения, о мотивах приговора, обстоятельствах смерти, месте погребения — если предположить, что погребение было.

После чисто формальной — лучше сказать, непристойно формальной — реабилитации в 1957 г. производится литературная псевдореабилитация: переиздается «Конармия» вместе с «Одесскими рассказами», некоторыми другими рассказами и двумя пьесами. Публикация (И. Бабель. Избранное, М., 1957) была опорочена предисловием Эренбурга. По текстам прошлась цензура, вычеркнуты все упоминания о Троцком и... неприличные слова (вычеркивание имени Троцкого из рассказов о гражданской войне и польско-советской войне можно считать подлинным достижением «соцреализма»; нужно увидеть собственными глазами,

чтобы в это поверить). В 1966 г. вышло новое издание «Избранного», обогащенное «Автобиографией», статьями, воспоминаниями и письмами, на этот раз предисловие написано Л. Поляк. Но где другие тексты Бабеля, конфискованные сталинским ГПУ и хранимые (или сожженные?) хрущевским и брежневским КГБ?

Где книга о лошадях, о которой он мне рассказывал? Где роман о коллективизации «Белая Криница»*, о котором вспоминал Леопольд Лабедз в журнале «Сервей»? Физик Александр Вейсберг, автор воспоминаний о советских тюрьмах, навестил Бабеля в Москве в 1932 г. Он рассказал мне, что спросил писателя: «Почему вы больше не пишете?» На что Бабель ответил: — Кто вам сказал, что я не пишу? — и показал на полке десяток переплетенных томов. Но это были рукописи. Бабель сделал ироническое замечание о возможной судьбе этих текстов, если бы он предложил их издательству. Где эти неизданные произведения?

Многие другие тексты упоминаются в разных местах. Так неизбежный Эренбург (снова он), на этот раз говоря несомненно правду, сообщает, что Бабель долго работал над романом под названием «Коля Топуз», названном по имени главного героя, бывшего вора, которого исправил физический труд («Литературное наследство», № 70, М., 1963, с. 40). Совершенно очевидно, что ГПУ конфисковало все это и что «реабилитация» не реабилитирует произведений писателя, безвинно замученного насмерть.

«Литературная газета» сообщила 28 апреля 1956 г. о создании секретариатом Союза писателей, т. е. КГБ, ибо все советские учреждения слиты с полицейской властью, «Комиссии по литературному наследству

* На публикацию двух сохранившихся отрывков из романа указывает Г. Свирский («На Лобном месте», Overseas Publ., Лондон, 1979). — Прим. ред.

Бабея», возглавляемой Константином Фединым. В нее вошли все тот же Эренбург, Л. Леонов, Л. Славин, А. Пирожникова. Но все нити в руках КГБ, и, следовательно, мы не увидим неизданных произведений Бабея (если только они сохранятся), пока сталинизм будет свирепствовать на «верхах» советского государства.

И не скоро, должно быть, нам станут известны обстоятельства ареста и смерти Бабея. Лжец Эренбург сказал, что Бабель пал жертвой «доноса»: чепуха, ибо доносы заказывались ГПУ, которое их использовало или отвергало в зависимости от своих нужд. Сталинский писатель Константин Симонов не постыдился заявить, что Бабель был японским шпионом (всего лишь) и в связи с этим искупал в лагере свою вину. Известно, что все соратники Ленина, убитые в 30-е годы во время «охоты за ведьмами», всегда служили английской, французской или японской разведкам и были «агентами мирового империализма» — если верить ГПУ и его западным подручным, перодетым в экзистенциалистов, сюрреалистов и других дипломированных «левых интеллигентов». Что касается разного рода слухов, ходивших по поводу гибели Бабея без указания источника, то они не заслуживают доверия, придя из страны, где все должны лгать.

* * *

В своей «Автобиографии» Бабель пишет, что он был солдатом на русско-румынском фронте во время первой мировой войны, а потом «служил в ЧК». Это вызвало неодобрение добродетельных лиц, плохо осведомленных по этому вопросу. Даже Женя Бабель не хотела этому верить и объясняла «признание» шуткой своего мужа, любившего мистифицирующие парадоксы. Она ошибалась. В Совдепии не шутят с авто-

биографиями: автобиографии строгойше проверяются профессиональными и добровольными цензорами, немедленно доносящими о малейшей ошибке. Дело, однако, в том, что «служба в ЧК» имела целый ряд значений.

Для широкой, неосведомленной публики слово ЧК ассоциируется только с понятием красного террора, вызывает в памяти подвалы Лубянки, где осужденным пускали пулю в затылок. Но это значение слова выражает лишь часть деятельности органа, полное название которого звучало: «Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем», который включал и контрабанду. Это было нечто вроде нового министерства, со множеством задач, бравшего на службу самого разного рода людей для самого разного рода вспомогательных работ. В ту эпоху, которую Ленин задним числом назвал «военным коммунизмом», в эпоху голода и бедствий, основным словом для простых смертных — жителей городов было слово *паек*. Есть паек или нет — вот в чем был вопрос, и это был вопрос жизни и смерти.

ЧК, совершенно новое учреждение, набирало со всех сторон сотрудников: новых чиновников, секретарей, переводчиков, счетоводов, машинисток, курьеров, канцеляристов и множество других людей, которые ничего не делали, но... получали паек, т. е. возможность выжить. Я подозреваю, что Бабель принадлежал к этой последней категории. Во всяком случае, я могу заверить, что он никогда никому в затылок не стрелял.

Другая претензия, предъявляемая Бабелю со стороны интеллигентов-ригористов, но плохо разбирающихся в деле, — его отношения с Ежовым, чудовищным исполнителем всех приказов Сталина. Эта претензия значительно более серьезна, чем первая. Но только на первый взгляд. В действительности, так называемые отношения имели место не с Ежовым, а с

его женой, Евгенией Соломоновной, другом детства Бабеля, одесситкой, как и он. Их дружба ничего общего с ГПУ не имела. Она руководила журналом «СССР на стройке» и поручила Бабелю провести анкету о колхозах для редактируемого ею иллюстрированного журнала (работа эта давала Бабелю заработок, необходимый для содержания семьи, и сочеталась с его работой над колхозным романом).

Включали ли эти дружеские отношения с Евгенией Соломоновной, установившиеся еще с одесских времен, и отношения с ее мужем? Вполне возможно, что он бывал иногда дома, когда приходил писатель. Вряд ли это случалось часто, ибо Ежов, конечно, все время проводил у себя в кабинете на Лубянке или у Сталина. Но какие-то отношения между ним и Бабелем представляются мне вполне объяснимыми без ущерба для репутации писателя.

Каждый читатель произведений Бабеля знает, как внимательно он приглядывается к необычным, странным, из ряда вон выходящим событиям и персонажам, к аномалиям, жестокости, чудовищности. У Евгении Соломоновны он встречал чудовище. Случай свел художника и его модель. И вполне возможно, что Бабель, исключительный наблюдатель, думал о красочном портрете, который он в свое время напишет. Возможно, что, придя к себе, он делал заметки для этой будущей работы. Может быть, это и есть причина, по которой его «литературное наследство» оказалось под спудом.

Вопрос отношений с супругами Ежовыми очень важен не по моральным, а по совершенно иным причинам. Вполне возможно, даже вероятно, что они были прямой причиной ареста и гибели Бабеля. Я получил это объяснение из очень верного источника, который мне хотелось бы сначала объяснить. Источник этот — коммунистический писатель Лев Никулин, единственный сталинец, с которым я вел разговоры на

протяжении полувека. Быть может, блюстители пуризма упрекнут меня за эти безобидные разговоры. Пусть серьезный читатель рассудит.

Много лет подряд Никулин, друг Бабеля, приезжал во Францию лечиться на водах. Это свидетельствует о том, что при Дворе к нему относились хорошо. После войны эта привилегия вызывала разговоры среди его коллег, видевших в Никулине чекиста. Обвинение неопределенное, ибо в тоталитарном государстве, где правительство и тайная полиция слиты воедино, конформистское соглашательство уже означает подчинение власти, т. е. КГБ, наследнику ГПУ. Проезжая через Париж, Никулин не упускал случая навестить своего старого друга Анненкова, который приглашал и меня присоединиться к разговору.

Разговор никогда не касался политики (к чему?), беседа велась на литературные и художественные темы; мы, совершенно естественно, расспрашивали о наших общих знакомых. Как не говорить о Бабеле? Если Никулин, возвратившись к себе, писал рапорты о наших встречах, нам это было безразлично, скрывать нам было нечего, и ничего интересного в свои рапорты он поместить не мог. Для меня, тосковавшего по России, которую я люблю, главное в этих встречах, редких и коротких, была возможность подышать немного «воздухом оттуда». Анненков и я старались не смущать нашего гостя и потому не затрагивали никаких щекотливых тем. Было нам это тем легче сделать, что никакого желания выслушивать «сталинскую пластинку» у нас не было. Как говорил Сальвадор де Мадарьяга: «С граммофоном не спорят». Но, не рискуя шокировать Никулина, мы могли задать ему вопрос: знает ли он что-нибудь о причинах исчезновения Бабеля? На что мы получили ответ краткий и убедительный: «Бабель был жертвой своих отношений с Ежовым. Вокруг Ежова многих арестовали...»

Это объяснение, данное человеком, «выросшим в гареме и знающим его интриги», меня не особенно удивило и даже показалось вполне возможным. Ибо я принадлежу к небольшому числу тех, кто знает отвратительные методы Сталина и его сеидов, заключающиеся в том, чтобы жертвовать сообщником, знающим слишком много, отправляя при этом в «мясорубку» всю его семью, окружение и бросавшихся в глаза знакомых. Я принимаю, следовательно, объяснение Никулина, пока не появится более обширное или более точное объяснение. Бабель, такой осторожный, погиб по неосторожности в том месте, где он мог, не считая обстоятельств, упомянутых выше, рассчитывать на протекцию в случае опасности. Во всяком случае, раньше или позже, Сталин не оставил бы его в живых.

Евгения Соломоновна спаслась от «мясорубки» самоубийством. В «Политическом дневнике» № 2, редактируемом братьями Медведевыми (Амстердам, 1975), можно прочесть: «Жена Н. И. Ежова была честной и вполне порядочной женщиной, тяжело переживавшей события 1937 г. Она покончила жизнь самоубийством, хотя в газетах сообщалось, что она умерла от гриппа» (это напоминает аппендицит Аллилуевой).

В том же «Политическом дневнике» приводятся некоторые подробности о самом Ежове. Совсем молодым будущий супер-палач жил у Шляпникова. Шляпников был арестован в 1937 г. и исчез навсегда. Его жена, Александра Гавриловна, пошла к Ежову, рассчитывая на помощь. Она была вскоре арестована и навсегда исчезла. Другой красноречивый эпизод: у Ежова был брат; однажды, сильно выпив, они разругались. «Кровопийца, ты залил всю страну кровью!» — кричал брат. Вскоре арестованный, он исчез навсегда. (Комментарии излишни...)

При каких обстоятельствах Бабель был осужден? В некоторых случаях официальные документы называют судебный, военный или гражданский орган, вы-

несший приговор. На XXII съезде партии было раскрыто, что решение о казни маршалов и генералов (Тухачевский, Пугна, Якир и др.) приняло Политбюро. Так записано в официальной стенограмме. Мнимый военный трибунал никогда не существовал, его мнимые члены и судьи, перечисленные в газетах, были в свою очередь расстреляны. И еще один луч зловещего света, освещающий процедуру: Ежов представлял Сталину список лиц, которых предлагалось арестовать; Сталин время от времени вычеркивал какое-нибудь имя; в списке писателей он вычеркнул *имя* Лили Брик, сказав: «Не будем трогать жены Маяковского» (статья Р. Медведева в журнале «XX век», № 2, с. 75, Лондон, 1977).

Другое свидетельство, на этот раз самого Хрущева, относительно подготовленных ГПУ списков «товарищей», заранее осужденных: «Ежов пересылал эти списки Сталину... Только в 1937-1938 гг. Сталину было послано 383 списка с именами многих тысяч работников партии, советов, комсомола, армии и т. д.». Сталин подписывал эти коллективные смертные приговоры. Речь шла, следовательно, действительно о систематическом истреблении некоторых категорий общества, коммунистической «элиты». С цинизмом, который невозможно себе представить, Сталин осмелился сказать авиаконструктору А. Яковлеву: «Ежов был негодяем. Из-за него в 1938 г. погибло много невинных людей. Поэтому мы его расстреляли». Таковы были советская законность и юстиция.

Имя Бабеля, следовательно, могло фигурировать в списке, представленном Сталину Берией, достойным преемником Ежова. Можно таким образом полагать, что т. н. «военная коллегия», упоминаемая в «деле Бабеля», в действительности — маскарад. Жалкий документ, объявляющий об аннулировании приговора, даже не напечатан на официальном бланке. (Этот кусок бумаги, полученный мною в свое время, воспро-

изведен в книге Натальи Бабель «Одинокие годы» — вышла в 1964 г. в Нью-Йорке по-английски.)

* * *

Бабель не был явным диссидентом или открытым оппозиционером. Как Александр Блок, Сергей Есенин, Андрей Белый и многие другие, он с большой надеждой встретил «Октябрьскую революцию». Никто из них не предвидел превращения режима, называющего себя советским, в тоталитарное варварство, вооруженное всей современной технологией. Он никогда не был членом победоносной партии, но вел себя как очень лояльный советский подданный. Не обманываясь официальной ложью ни в главном, ни во второстепенном, он примирился с необходимостью нести тяжесть реальной действительности, охраняя свое «я» тонким юмором, в ожидании лучшего будущего.

Например, в интервью, которое он дал в 1930 г. польскому журналу «Вядомосци литерацке», он вспоминает Гедали, который был «выше Ленина». Ибо «Ленин создал Интернационал людей угнетенных, а Гедали скликает добрых людей: «Добрые люди всех стран, соединяйтесь!»... Привет тебе, Гедали, творец четвертого Интернационала» (см. «Последние новости», Париж, 1930, 13 июня). Скептик Бабель не верил в пользу атаки теленком дуба, по русскому выражению, использованному Солженицыным в качестве заголовка для очень важной книги много лет спустя. Как герой знаменитой комедии, он спешил смеяться или улыбаться, опасаясь, что иначе придется плакать. И все это потому, что как *русский* писатель он не мог жить вне *русского* народа, ибо тогда он чувствовал бы себя, как рыба без воды.

И тем не менее судьба Бабеля была такой же печальной, как и судьба стольких невинных: поэта Клюева,

писателя Сологуба, режиссера Мейерхольда, историков Рязанова, Невского, Стеклова, Платонова и множества других, не говоря о сталинских писателях, тоже пошедших в «мясорубку» (см. «Судьба писателей» Р. Иванова-Разумника). Зато «пролетарский граф» Алексей Толстой и «хамелеон» Эренбург (выражение Иванова-Разумника) — выжили.

Бабель исчез, не проявив себя в полной мере. Никто не знает, хранится ли его «литературное наследство» в архиве КГБ и познакомятся ли с ним когда-либо наши внучатые племянники, или ГПУ сожгло его во время войны. Я не считаю себя вправе оценивать талант Бабе́ля-писателя (для этого нужно знать народный русский язык). Но я могу вполне согласиться с авторитетным мнением нашего общего друга Евгения Замятина, который, прочитав «Иисусов грех», хвалил «элементы народного диалогического языка, нужные синонимы, выбранные очень умело, использованы типичные для народной речи деформации синтаксиса... коротенькая новелла приподнята над бытом и освещена серьезной мыслью».

Последний текст Бабе́ля, прочитанный мной, появился в «Литературной газете» 31 октября 1938 г. Это был ответ на новогоднюю анкету газеты: «Я желаю, чтобы в 1939 г. можно было бы купить в наших книжных магазинах полное и дешевое издание художественных произведений Льва Толстого. Их почти невозможно достать. Их отсутствие очень остро ощущается. Знаю это по себе. С годами растет неудержимое восхищение перед красотой и правдой этих книг». Видно, с какой ловкостью Бабель, морально вынужденный публично выразить новогоднее пожелание, справляется с задачей: отвечать не отказывается, но избегает современности. Он не мог уже больше шутить, как это делал в его «Конармии» комиссар Конкин, шедший в атаку с криком: «Умрем за соленый огурец и мировую революцию!» Бабель искусно ух-

дил от соблазна выразиться открыто, оставляя тень сомнения относительно подлинного направления своих мыслей.

Впустую. Не прошло и пяти месяцев молчания после новогоднего пожелания о Толстом, и он был приговорен к вечному молчанию. Но он любил говорить: «Без юмора жить невозможно», и, оказавшись в ситуации, в которой не было места юмору, он, должно быть, уже задолго перестал жить.

В Одессе, на стене дома №17 на улице Ленина (бывшей Ришельевской), в котором жил Бабель, прикреплена доска с надписью на украинском языке: «В этом доме до 1924 года жил советский писатель И. Э. Бабель, 1894-1941». И это все: и «реабилитация», и надгробное слово.

Читайте в следующем номере «Континента»

«КРУГ РАССКАЗЧИКОВ»:

**С. Глузман, М. Джилас, Е. Любин,
Ю. Милославский**

ПОЭЗИЯ:

И. Елагин, Ю. Кублановский, А. Лосев

ПУБЛИЦИСТИКА:

**М. Михайлов, А. Некрич, М. Поповский,
В. Сокирко, Я. Тесарж, А. Якобсон**

Колонка редактора

ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Имя Андрея Сахарова вошло в сознание современного человека как неотъемлемая часть его общественного бытия. Сахарова можно любить или ненавидеть, но, тем не менее, уже немыслимо представить себе текущей истории безотносительно к позиции и деятельности этого великого ученого и гуманиста, ибо сегодня в нем воплотилась основополагающая идея нашего времени — идея Прав Человека.

Само возникновение «феномена Сахарова» внутри наиболее жестокой тоталитарной системы явилось для окружающих, так сказать, радиоактивным чудом, повседневно очищающим удушливую атмосферу страха и ненависти, вот уже более шестидесяти лет царящую в нашей стране.

Прежде чем решиться на крайность, власти на протяжении нескольких лет пытались поставить его в условия изоляции, лишить той питательной среды, в которой протекала его жизнь и деятельность: под разными предлогами изгонялись за рубеж или репрессировались наиболее близкие ему друзья и сотрудники, пресекались внешние связи, усиливалась официальная и инспирированная травля. Но эта, казалось бы, годами проверенная практика вызвала прямо противоположный результат: все большее число людей тянулось к нему, занимая места ушедших, и влияние его приобретало все больший размах. Закостеневшим в диктаторской спеси советским властям было невдомек, что можно нейтрализовать отдельных оппозиционеров, но нельзя нейтрализовать ход истории.

Неискущенного человека может, на первый взгляд, удивить несоразмерность между степенью обвинений

в адрес Андрея Сахарова, грязным потоком льющихся со страниц советских газет, и сравнительно мягкой высылкой ученого на окраину приволжского города. Но это только на первый взгляд. Истерический тон этих обвинений свидетельствует о том, что в любую минуту, по любому пустяшному поводу он может быть предан не только незаконному суду, но и самосуду, в зависимости от намерений властей. Поэтому защита Андрея Сахарова должна сделаться для нас не временной акцией, а составной частью постоянного общественного процесса во всем мире. Жизнь и судьба Сахарова зависят теперь от воли и усилий каждого честного человека в отдельности.

Арест и высылка великого ученого и гуманиста лишь звено в цепи все возрастающей агрессивности советского режима. Этот режим пытается в спешном порядке компенсировать идеологическую и экономическую катастрофу внутри страны за счет внешней экспансии и репрессий против собственного народа. Попустительство Запада, стыдливо прикрытое безответственной демагогией «детанта», только разжигает аппетиты советского тоталитаризма. Пора осознать, что сегодня от решимости и воли демократического мира зависит не только будущее Афганистана или академика Сахарова, но и судьба каждого из нас. И поэтому каждый из нас может и должен противопоставить бездушной силе свое личное мужество и свою собственную совесть. Этому нас учит «человек на все времена» — Андрей Сахаров.

Критика и библиография

КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ САМИЗДАТА

Мужик всплескивает крылами и, с восторгом в очах, с криком «Летю-уу» рушится вниз. Это начало фильма «Андрей Рублёв», и мужика-эпиграф там сыграл Николай Иванович Глазков.

На днях Глазков умер. Он был очень хороший поэт. Кроме того, он обогатил мировой словарь одним словом, что само по себе не мало. Слово — *самиздат*.

Глазков прожил жизнь московским юродивым. В годы, когда печататься не было совсем уж никакой возможности, он отстукивал свои стихи на машинке, скреплял стопочку кое-как и на титуле пониже названия писал: *самсебяиздат* или *самиздат*.

Среди стихов были замечательные, такие, что запоминаются навсегда, образуют в душе жгучий мотивчик — музыкальное сопровождение нашей жизни:

Я на мир взираю из-под столика,
Век двадцатый, век необычайный,
Чем он интересней для историка,
Тем для современника печальней.

Литературные начальники, читая такое, иногда похихивали, иногда клеймили в своей газете, но в общем ненормального не трогали.

Его таким манером и в армию не взяли. Он в 1941 году был в Туле и уже стоял в голой очереди к военкому. Военком был брав и краток. Каждому новобранцу он задавал один лишь вопрос:

— Котелок варит?

Многие смущались:

— Да вроде... ничего...

— Отлично, — отрубал военком. — Годен. Следующий!

Иные пытались словчить:

— Не... не особенно...

И этим военком рубил:

— Отлично. Солдату много думать не надо.

Дошла очередь до Коли.

— Котелок варит? — выкрикнул свое военком.

— Получше, чем у тебя, — ответил поэт.

— Шизофреник, не годен, — сказал военком подумав.

Я дружил с Глазковым несколько недель: летом 1958 года оказались соседями по койкам в общем номере сочинской гостиницы.

По утрам Глазков работал на балконе.

— С восьми до двенадцати я перевожу двести строк с ненецкого или каракалпакского. Из них сто выкинут, а сто напечатают. Если взять минимум: сто строк по пять рублей...

Расчеты были убедительные, но по всем признакам ежедневных пятисот не получалось. Впрочем, на свою коечку и ежедневную бутылку любимого молдавского три звездочки коньяка Коля зарабатывал.

— Я люблю три вещи: коньяк, жару и женщин. Я ненавижу три вещи: селёдку, холод и ССП.

Он был необычайно рассудителен. На редкость здравая интонация звучит даже в его известных вольных стишках.

На небе солнышко смеётся.

Зазеленела вся трава.

А Нина мне не отдается,

И в этом Нина не права.

Чему ее учили в школе? и т. д.

В самом деле — чему?

Резоны его всегда были просты и потому неотразимы.

Лет десять назад отец рассказывал мне о перевыборном собрании в союзе писателей.

— Выдвигали кандидатов. Всё как обычно. Предлагают Ошанина. «Отводы есть?» И вдруг встаёт какой-то человек с готическим лицом: «Есть». Председатель закипает: «Глазков, у вас должны быть основания для отвода». — «У меня есть основания. Я отвожу кандидатуру Льва Ивановича на том основании, что Лев Иванович человек подлый». И сел. Шум. Ошанина прокатили.

Для поэта он был чудовищно силен физически. Любил заприметить в ресторанной публике подгулявшего богатыря, шахтера или штангиста, косолапо подходил и молча протягивал свою медвежью лапу для мужской забавы. Он всех пережимал. Он однажды меня спас. Мы с ним лазали над Агурским (водопадом), я поскользнулся и предвосхитил будущий крик «Летю-уу!» Коля, сам стоя на карнизе шириной в ступню, зацепил меня за шиворот и вытянул.

Однажды утром он сказал:

— Приснилось четверостишие —

Была у деда борода
Седа, как зимний лес,
И величава, как вода
На Куйбышевской ГЭС.

Когда времена полегчали, он так и стал издаваться, издеваясь. В самой глазковской продуктивности было что-то шутовское (200 строк с восьми до двенадцати, 100 выкинут...). Из оставшихся ста добрая половина приходилась на «паровозики» (ура-стишки, чтобы протолкнуть книжку). Но глазковские «паровозики» как бы и были написаны идиотом, забубрившим лозунги начальства. Эффект получался неожиданный. Например, о Владивостоке:

— Этот город далёкий, но нашенький! —
Гениально сказал о нём Ленин.

Поколение читателей, пришедшее в 60-е годы, уже не понимало такого гротеска. Оно привыкло к поэзии эзоповского зашательства. Евтушенко, Вознесенский проклинали испанскую цензуру — ух, какой намек! Те же слезливо хвалили Ильича — читатель — эх, шарахался за ними.

Глазков ни на что не намекал. В книжке за книжкой он создавал своего соцюрреалистического Лебядкина, который дисциплинированно восхищался чем положено, негодовал по поводу разрешенных для негодования отдельных недостатков, шутил на таком уровне, чтобы даже Грибачеву было понятно. За это поэту разрешали быть.

(Швейк славил Франца-Иосифа и орал «На Белград!» из инвалидной коляски. Нет лучшего способа окарикатурить

казенные чувства, чем орать «На Белград!» из инвалидной коляски.)

Но в конечном счете эта игра дорого обходится. Нельзя годами катать богатырское здоровое тело в коляске инвалида.

Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где б московский иль горьковский житель
В долгой очереди не стоял!

Среди глазковских шуточек, которым мы привыкли ухмыляться, есть одна, мрачность которой сравнима лишь с эпохой, когда она была сочинена. Это еще один русский парафраз «Ворона»:

... Я сказал: — Невзгоды часты,
Неудачник я всегда.
Но друзья добьются счастья?
Он ответил: — Никогда!

И на все мои вопросы,
Где возможны «нет» и «да»,
Отвечал вещатель грозный
Безутешным НИКОГДА!..

Я спросил: — Какие в Чили
Существуют города?
Он ответил: — Никогда!
И его разоблачили.

А. Лосев

РЕПОРТАЖ О МАРАФОНЕ

Между двумя книгами Кузнецова — перерыв в шесть лет. И хотя обе — лагерные, но они — не продолжение одна другой. Если в первой автор как бы спешит высказать все, что навалилось на него, что ночами и днями будоражит,

то во второй книге, которая писалась уже старым эком, все *рассказывается* в большей степени, чем *высказывается*. В первой — доминируют мысли по поводу самых различных, как лагерных, так и «внешних» событий; основа второй — факты, детали, описания и... сны. Сны, которые каждый раз принимают некое символическое значение. Вот хотя бы сон о свидании — когда (во сне-то все случается) любимая приносит в чемоданчике автомат с патронами и три гранаты... И этого оружия он, автор, ждет больше, чем самую любимую... Я об этом сне говорю потому, что он в какой-то мере определяет нравственную позицию автора — силе надо противопоставить силу. Можно было бы искать в этом отсветы Моисеева закона «око за око, зуб за зуб», если бы забыть на миг, что с одной стороны — сила несметная, сила государства-ГУЛага, со всеми его миллионными карательными аппаратами, войсками и прочим, а с другой — бесправный экз, которого за одно слово — в карцер. Нет, в такой расстановке сил этот сон — не мстительность символизирует, а несломленность. И как бы параллелью к этому сну звучат отклики на события в Энтеббе, когда не переговорами вежливых сдающих все позиции дипломатов, а дерзким, удалым, каким-то ковбойским действием удалось навести справедливость, освободить захваченных пассажиров, не прося милостей у террористов... «В восхищении арестантов угандийской операцией я усмотрел восхищение дерзкой силой», — пишет Кузнецов. И далее: «Человек так устроен, что сколь бы глубоко он ни сочувствовал несправедливо униженному, побежденному и обиженному, это сочувствие подпорчено таящимся в недрах душевных презрением к слабости, неспособности ответить на удар двойным ударом». С позицией такой можно не соглашаться, можно даже напомнить, что и Моисей ограничил расплату (не два ока за одно ведь, а «око за око!»), но когда думаешь, что позиция Кузнецова сложилась в лагере, что она чаще воплощается в ночные мечты, чем в действия, то понимаешь ее правомерность, хотя, строго говоря, не только христианство, но и даже иудаизм сочли бы ее чрезмерной...

«При всей заземленности облика... нет больших мечтателей, чем экзи, мечтателей необузданных, фантастичнейших. И мечты эти далеко не безобидны». И к этому высказыванию, к этому наблюдению — прекрасная иллюстрация в

книге — захватывающая своей драматичностью новелла-быль о некоем Альберте, который годы лагеря потратил на то, чтобы восстановить свое человеческое достоинство. Немыслимо тут пересказывать эту лагерную трагедию, но тот, кто прочел ее, не станет отрицать, что она достойна Корнеля.

Два отправных принципа поведения, которые установил для себя Кузнецов за годы лагеря, — «справедливость и сила — именно в такой последовательности». Иное дело, что само понятие справедливости весьма относительно — безотносительно лишь милосердие. Но есть обстоятельства, когда на милосердие нет сил. В аду — законы не те, какие дала нам, живущим на земле, этика христианства, и даже предшествовавшая ей этика иудаизма... Законы ада — особые, и существовать в их русле можно лишь став воистину старожилом преисподней... Но когда автор говорит о событиях, происходивших вне лагерной зоны, он совсем иначе подходит к этой теме. Говоря о том, что зарубежные требования освободить всех осужденных по «самолетному процессу» тонут в демагогических разговорах о том, что этот случай можно вполне, дескать, приравнять к обычному воздушному пиратству, Кузнецов отмечает: «Наш голос, пытающийся растолковать, что мы не воздушные пираты, не удалые, неразборчивые в средствах насильники, слишком слаб, чтобы прорваться сквозь гул праведного возмущения трусливой жестокостью самолетных террористов».

И действительно, очень легко и удобно благополучным либеральным гуманистам кричать об ужасах в чилийских тюрьмах, к примеру, ставя их на одну доску с бескрайним адом советского ГУЛага... Едва ли забыты и выкрики таких «прогрессивных» демагогов, как Джейн Фонда, клеймившая американцев, воевавших во Вьетнаме. И как смолкли эти «гуманные» голоса, когда ужасы нынешнего Вьетнама и Камбоджи напомнили, что друзья этих «гуманистов» льют в сотни раз больше крови!.. Или хотя бы реакция в лагере на освобождение Корвалана, которого зэки в КУРвалана переделали): «Приемник имел! Жалуются, что посылки из СССР отдавали без этикеток, чтобы сбить с толку» — но ведь отдавали! И когда читаем, как зэки на полном серьезе говорят — «меняю здешнюю гуманность на чилийскую жестокость», то становится ясно, что не так уж без-

обидна эта возня всяческих «гуманных» и «прогрессивных», заглушающих порой вполне сознательно истошными криками о Чили действительные ужасы советских лагерей. «Один рябчик, одна лошадь» — всегда было превосходным рецептом для изготовления рябчиковой колбасы, ведь — пополам, ведь — справедливо...

«Это и есть отправная точка для желающего постичь диалектические кульбиты «нового гуманизма»: свободу «прогрессивным» узникам в реакционных странах, голодную тюрьму и беспощадную суровость каторги — реакционерам в прогрессивной стране», — пишет Кузнецов.

Книга производит впечатление цельной, как бы единым духом написанной, хотя во многих местах не хватает части текста. В предисловии своем Эдуард Кузнецов пишет о том, что он, оказавшись на свободе, мог бы, конечно, дописать, восстановить утерявшиеся при переправке рукописи на Запад места, но «тогда неизбежно наложение сегодняшнего, тутошнего, и, следовательно, эта книга в значительной степени утратила бы право называться лагерной». Но некоторая отрывочность не портит впечатления, наоборот, она, разорванность эта — свидетель особой точности и подлинности, документальность книги от этого ощущается с особой реальностью. И вместе с тем, при всей документальности, книга содержит места вполне художественные — уже упоминавшийся рассказ об Альберте или новелла-сон о крысах...

Новеллы переходят в воспоминания, воспоминания — в документы, эти, в свою очередь, — в описания лагерного быта... Целая галерея типов, порой — неизвестные никому имена, порой — уже не раз упоминавшиеся в потоке лагерной литературы, обрисованы в книге с убедительностью, с психологической достоверностью. Таков, например, рассказ о «вечном ЗК» — лагерном поэте Валентине Соколове.

И если учесть, что книга Кузнецова, как и большинство книг, написанных в самом лагере, *а не после него*, никак не похожа на мемуары, а скорее представляет собой репортаж, то особенно становится видна ценность такого репортажа из ада самых последних лет. И сложность писания его, — ибо, как пишет Кузнецов, для этого надо было ближайшие пять-шесть лет создавать впечатление, что он «отказался от пера». Поражает само спокойствие — годы, годы необхо-

димо потратить только на то, чтобы усыпить бдительность тюремщиков! Но ведь не случайно он и назвал свою книгу «Мордовский марафон». «Спринт — тоже спорт, но среди марафонцев меньше случайных людей». А мордовский марафон измеряется годами, и для Кузнецова он должен был быть пятнадцатилетним, а для иных эзков, может, и еще длиннее...

В. Бетаки

КНИГА — ЖИЗНЬ

Вторая часть книги Евгении Гинзбург «Крутой маршрут» вышла в свет через двенадцать лет после первой, давно распроданной, так что издатели сочли необходимым дать в начале книги краткое содержание первой части. Автора уже нет в живых, и — хотим мы того или не хотим, замечаем или не замечаем — это обстоятельство становится неким дополнением к книге, похожим на неразборчивый знак, на неизвестный символ, способный быть расшифрованным только как тайное присутствие, как звучащее молчание. Не всякое произведение, опубликованное после смерти автора, вызывает такое ощущение — книга Евгении Гинзбург этим поражает. В эпилоге она пишет: «В моем сегодняшнем возрасте, когда смотришь на жизнь уже как бы из некоторого отдаления, нет смысла хитрить. Итак, я написала правду. Не ВСЮ правду (ВСЯ, наверное, была и мне неизвестна), но *только правду*».

Она закончила свою книгу — свою правду — тогда, когда жизнь ее сама пришла к эпилогу и стала эпилогом; она начала эту книгу еще сравнительно молодой и полной сил; она думала о ней как о насущной, хлебной необходимости, когда была еще просто (а не сравнительно) молода и когда вряд ли поверила бы, если бы ей сказали, что она доживет до семидесяти: в прекрасные тридцать началось адово верчение ее биографии, и так вышло, что от тридцати к старости и смерти шла Евгения Гинзбург по гвоздям в очи-

Евгения Гинзбург. Крутой маршрут. Кн. 2. Mondadori Ed., Рим, 1979.

щение страданием, шла не от силы к немощи, а от немощи к силе. Так вывернулось все крутым маршрутом ее судьбы, так стало все обратным, что книга — дело всей жизни — не просто исписанные воспоминаниями листы, а аккумуляция этой жизни, всей энергии ее, всего тепла и непонятной цепкости и таинственной устойчивости. Восемнадцать лет тюрем, лагерей и ссылки; восемнадцать лет потерь — по ту сторону, во сне, называвшемся волей и отзывавшемся болью исчезновений, неизвестности, страха тягот, смертей: как вынесла — женщина ведь, и непривычна была к физическому труду; кто вел, кто спасал, кто в последний, меркнувший миг открывал светящуюся точку во избавление?

«Крутой маршрут» — одна из первых книг о лагерях, дошедших до читателя самиздата, стало быть, дошедших неподцензурно. Вышедшая ныне отдельным изданием вторая часть ее — уже часть потока, часть определенного — и многочисленного «литературного движения», если можно так выразиться (не хочется писать — жанра, вида, слишком академически спокойны все термины; а здесь — попытка двух поколений зафиксировать исторический процесс, представить свидетельство и одновременно — вынести на суд читателя диалог с собственной душой и совестью). Странная судьба этой рукописи (одна из первых — и одна из последних в издании) тоже словно бы не случайна, хотя, разумеется, лучше бы ей выйти естественным образом. Но она как бы проходит проверку временем и читательским интересом и терпением к теме как таковой: столь же сильна к ней читательская жадность или уже умудренный множеством подобных свидетельств читатель ощущает, что книга Гинзбург (речь, разумеется, о второй части) устарела, ничего нового не дает? Позволю себе утверждать, что нет, что не устарела, что и теперь, прочитанная заново, уже не в бледных машинописных копиях, а в плотной «нормальной» обложке и типографской печати, она не стала менее любопытной. Детали лагерной жизни, быт ее, тем больше всего и страшный, что — быт, обыкновенное, ежедневное страшной рабского ошейника и еще безвыходней, — это для нас не новость теперь и даже ужасать почти перестало: это как раз то, что многожды повторено в потоке «лагерных произведений». Но тот факт, что эта книга перестала служить нам источником *информации*, обнажил другое в ней, много

важней: цепкую способность человеческой души ощутить и увидеть ближнего своего добрым глазом. Трудно представить себе, что человек, прошедший то, что прошла Гинзбург (и миллионы вместе с ней за эти годы), не только не потерял способности вглядываться в очередного случайного соседа, но и под любой маской различить тлеющую в нем доброту или хоть проблески ее. И именно эта способность Гинзбург, быть может, вывела ее живой из месива болей и унижений, скрепленных обреченностью. В какой бы очередной лагпункт она ни попадала, там всегда находился кто-то, в ком человеческое не угасло.

Вот попала она на отдаленную таежную точку Сударь, о которой слухи ходят самые мрачные: ясно, что там не выжить, все говорят — не выжить. Однако же нечаянная радость: вроде бы командир вохры Артемов — добрый человек. И — споры, крики: бывает разве вохровец — добрый человек? Оказывается, бывает. Трудно, правда, определить тут критерий доброты: что значит — добрый? И как, если добрый, еще сидит командиром вохры? Да ведь человеку, чтоб выжить, оказывается, надо так мало. Например, чтобы добрый означало — не зверь. Чтобы не ощущалось в нем садистского желания непременно спровадить тебя на тот свет, да еще самым тяжким и мучительным путем. А если в нем такого желания не ощущается, если он способен произнести обычнейшую фразу с человеческой интонацией — вот и добрый, вот и дал выжить кому-то, вот и не сжил со свету. Все смещается и леденеет в каторжном мире. И все критерии добра и справедливости — первыми. Быть добрым — значит просто не толкать в смерть. Быть может, и не мешать смерти делать свое дело, рук не подкладывать (сам бы не выжил!), а — только не толкать в смерть.

Инструментальщик Егор на том же Сударе, сосланный туда с тепленького местечка лагерного придурка, заживо гниющий, обреченный, особой любовью к ближнему отнюдь не блиставший, — вдруг совершает подвиг братства: делает Гинзбург на день рождения царский подарок — миску овсяного киселя, и сам вместе с ней есть отказывается, иначе — что же это за подарок! Эта миска киселя — сколько дней жизни с ней подарено «опасной террористке», отщепенке, парии? И сколько дней жизни — в одном только поступке Егора, в одном только великом душевном движении?

Птичница Мария Григорьевна Андропова, под начало которой попадает Гинзбург, пользуется дурной славой среди ээков: уже нескольких помощниц отправила с птицефермы в лагерь, лютует, добра от нее не дождешься. А оказывается — нет, и в этой свое добро есть: не от злобы она лютует, а оттого, что помощницы ее к птичнику относились только как к возможности подкормиться и побыть в тепле, а на падающих десятками кур и внимания не обращали, работали из рук вон плохо. А Мария Григорьевна — агроном, она привыкла к крестьянскому труду, для нее куры — живые существа, и она не переносит белоручек, которым на живность наплевать. И все можно понять — все и всех: и тех несчастных, что только выжить хотели, и птичницу Андронову, которая кур жалела. Вот увидела, что новая помощница Женя старается изо всех сил, и сама помогла, и подкормила.

А сколько раз спасал Гинзбург и ставшего потом ее вторым мужем доктора Вальтера начальник Тасканского лагеря Тимошкин! А «королева Колымы» Александра Романовна Гридасова, начальник Маглага, добро творившая, как каприз, но ведь творившая же! И не забыли ее душевных движений бывшие ээки: в конце пятидесятых годов Гридасова потеряла свой пост и все привилегии, жила в Москве с двумя детьми и пьяницей-мужем, и частенько звонила бывшим своим «подопечным» — денег в долг попросить, и, как пишет Гинзбург, никто никогда не отказывал.

Да, все критерии смещаются там, в лагерном аду. Кто станет отрицать, что честность — это добродетель? В обыкновенной жизни, может, и добродетель, а там — палачество. Начальница Эльгенского лагеря Циммерман — честней не бывает, сама без страха и упрека, крохи не возьмет, но и жалости от нее не дождаться. И получается, что кристальная — не подточишь! — Циммерманша страшней тех, кто себе тащит, — они и других за корку не душат. В нечеловеческих условиях и добродетель может превратиться в утонченную жестокость.

Память о сделанном добре, все равно кем, все равно когда, все равно зачем — но сделанном, наполняет книгу Гинзбург удивительным воздухом, атмосферой надежды, передающейся читателю. В тот самый момент, когда, казалось бы, все проходящее перед его глазами не может не

задушить чудовищной концентрацией зла, автор вдруг дает читателю вздохнуть с облегчением — есть, жива душа человеческая! Она способна на жалость и раскаянье, на поиски собственных ошибок, на «меа culpa» — в открытую, перед всеми. Гинзбург ощущает свою причастность к содеянному с огромной страной злу — и это делает ей честь, ибо далеко не все воистину причастные в состоянии были это осознать. Великое множество ничему не научилось, ничего не поняло и не хотело понять. Мы хорошо помним тех, кто возвращался в конце пятидесятых из лагерей, — сколько было среди них людей, не желавших рассказывать о лагере, — и не из страха перед новым наказанием, а из фанатической — и буфонной — боязни запачкать партийное знамя. С их точки зрения, партия всегда права. Ошибаются люди, партия не ошибается, идея, идеология — не ошибается. И вот уже — источник бесчисленного повторения все тех же зол, все тех же зверств.

Евгения Гинзбург среди зла нашла путь к Высшему Добру. И к малому, простому, человеческому, ежедневному. Читая книгу, больше всего поражаешься тому, как автору везло. А может, потому и везло, что в самой душе не погибла? Может, плата за человеческое тепло, за человеческий свет, за жалость и сострадание бывает и на этом островке, тонущем в океане вечности? Может, ее только надо суметь понять как плату, как благодарность за твою душу живу — и тогда легче жить или даже просто *можно* жить, можно *выжить*, можно выйти из унижений, рабства и заскорузлого горя и написать книгу-жизнь, и уйти спокойно, всем сказав «прости» и тем самым все долги заплатив? Евгения Гинзбург это сделала.

Виолетта Иверни

ВОДОЧНАЯ РЕЧКА — ЖЕЛЕЗНЫ БЕРЕГА

Писатель Феликс Кандель впервые выпустил на Западе отдельную книгу. До сих пор его произведения публиковались в журналах «Грани», «Континент», «Время и мы» и др. В СССР он был в основном драматургом, писал сценарии мультфильмов, рассказы. Самым знаменитым из его произведений стала популярнейшая серия мультфильмов «Ну, погоди». И то, что Кандель в большей степени сценарист и драматург, чем прозаик, хорошо видно из его новой книги «Зона отдыха». Это в большей степени показ, чем рассказ. Тут нет связного сюжета, но есть ситуация, рассматриваемая всё время с разных точек зрения. Причем в книге существуют два параллельных плана...

Но оставим этот скучный тон. Нас приглашают на спектакль, на фарс, в балаган. Свистит жалейка, надрываясь, верещит красноносый Петрушка: «Французский царь Наполеон! Сослан на остров Еленцию за худую поведенцию! У Фили пили, да Филю и побили!» Что это такое? Музейное воспроизведение лубков? А картинки на обложке? Да и в начале каждой главы... Впрочем, куски эти главами и не называются, а называются «Небылицы в лицах». Перед началом каждой из них — заставка-лубок.

Да и книга — вся — лубочный показ сегодняшней жизни на Руси Советской.

Когда-то для русского человека лубок был и газетой, и поэтической книгой, и рассказом в картинках — задолго до того, как в Америке изобрели комиксы. Поучительные надписи раешным стихом, а порой и прозой, бывало, служили и чем-то вроде букваря. О чем только ни говорилось в лубках! И о Священной истории, и о нравах городской жизни, и о том, как мыши kota хоронили, и о том, что мы назвали бы теперь событиями внешней политики... Но более всего, пожалуй, о водке, о пьяном весельи, о скучном похмельи.

«Веселие Руси есть питье» — поучали лубочные надписи.

Современная Россия после октябрьского переворота отнюдь не вступила в общество трезвости — ни в явное, ни в тайное. Только вместо лавочника и целовальника само мощ-

Феликс Кандель. Зона отдыха, или 15 суток на размышление. Иерусалим, 1979.

нейшее государство, всюду крича о вреде водки, спаивает население в таких масштабах, какие могут показаться плодом самой необузданной фантазии. Почему бы об этом и не рассказать языком лубка, в традициях ярмарочного представления? Да лучшего приема для этой пьяной темы и придумать нельзя! Прием этот придает писательскому перу легкость (хотя порой оно и становится легче пуха).

Есть в советском фольклоре своя магия чисел. Вот, скажем, число 11. О чем оно говорит? Каждый советский человек знает: в 11 часов открываются водочные отделы в магазинах. А число 7? Мистики его считали счастливым, а вот в данном случае оно — несчастное: в семь часов перестают продавать водку. Ее вообще ведь продают только в рабочие дни и часы!

А что сулит число 15? Это — пятнадцать суток на размышление, это — «право» на отдых — на пребывание в «Зоне отдыха».

ЗОНА — вроде бы самый мелкий из островков Архипелага. Ну что он — в сравнении с обширными лагерями «длительного пользования»? Подумаешь, пятнадцать суток за хулиганство! За *мелкое* хулиганство! Есть о чем говорить! И не говорили до сих пор. Об этой «мини-зоне» в литературе впервые заговорил Феликс Кандель.

Для писателя вообще всегда было творческой удачей найти новый пласт жизни, еще никем не описанный, новую тему, а еще большая удача — найти новый способ подачи материала. И вот в этой книге мы видим всё это. Она — превосходная стилизация лубка, в сочетании с лирической ритмизованной прозой здесь живет и вполне деловой репортаж журналиста об отсидке «отказников», которые в течение тех же пятнадцати суток поселены тут вместе с алкашами. Места, где расположена эта зона, в самом буквальном смысле «не столь отдаленные» — зона отдыха Тимирязевского района, под самой Москвой.

Зона — слово зловещее, зудит оно, словно железная стружка на зимнем ветру, выброшенная на заводскую свалку. Железная стружка, соскобленная с живых людей. Зона, как стружку, состругивает с человека всё лишнее — гордость, волю, чистоплотность, чувство собственного достоинства... Этот мелкий участок борьбы с проявлением личности, пожалуй, страшнее иных обширных полей «идеологических битв».

«Друг мой, — вздыхает автор в лирическом монологе, —
Мой наивный, доверчивый друг!

Вот тебе мой совет.

Если ты, мой друг, веришь всем, а тебе не верит никто,
Если ты, мой друг, любишь всех, а тебя не любит никто,
Если ты, мой друг, распахиваешь двери каждому, но в ответ
не распахивается никто,
Если ты готов обнять весь мир, но мир не желает обнять
тебя, — в зону отдыха, мой друг, в зону отдыха!»

Зона отдыха — нечто вроде Ноева Ковчега. Только нет
здесь «семи пар чистых». Тут — все грязь, тут воздух — зло-
вонный планктон, люди — ядовитая протоплазма. Зона —
воплощение подлости и неблагополучия.

Эка невидаль — ты продал за поллитру все: сперва соба-
ку, потом подушки, потом машину соседа, потом дом, потом
свой скелет, темную ночь и белый свет — и за это всего-
навсего пятнадцать суток!? Подумаешь!

Да, есть о чем подумать. Поразмыслить, как ты отдал
ни за что ни про что кусок жизни, драгоценного дыхания, дан-
ного Богом тебе не затем, чтобы тратить его впустую. Жи-
вем на земле считанные миги, за что же их отнимают? За
что отупляют водкой, единственным, что без труда можно
достать где угодно, в любом уголке земли советской? «Вино
и водка — товар ходкий» — это ведь советская поговорка!
Не старинная! Водка — орудие массового уничтожения чело-
веческой индивидуальности. Она превращает серое вещество
в еще более серое... И кому-то это на руку, и уйти от этого
сложно. «Ребята! — мечтает Полуторка — богатырь-Опива-
ло «лубочной» ипостаси книги. — Вот бы нам сговориться!
Вот бы нам пить бросить!.. И они уже бегут, эти суки рва-
ные, они беспокоятся (...) А они заывают, они стелются;
ребята, заходите, ребята, пригубите... Нет!.. У них же де-
нег не будет, ребята!»

В некотором царстве, советском государстве жили да
были работяги-пропойцы, славные добры молодцы, алкаши.
Володя да Коля, Серега да Иван, а с ними и Вася-Василек, по
прозванию Полуторка. И многие другие. Жили да пили, и
такое пропили, что ни в сказке сказать, ни пером описать.
Разве что небылицы в лицах показать почтеннейшей публике.

Вот такую, например: вывел садовод хороший сорт цве-
тов. Спекульнул на пару с директором магазина, загулял, с

работы полетел, живет одним — где украсть, чтобы выпить достать. Чудеса да и только! Или такую, например: начальника жена посадила, чтобы с хахалем время проводить. Или такая: у винного прилавка человека взяли за минуту до семи часов — и всё туда же, на отдых...

Это есть, это будет. И так все ко всему привыкли, что можно уже и в сказке сказать, и пером описать, и песню сочинить...

Лейтмотив, фраза, организующая все семь небылиц книги: «Выпить надо».

Бутылка — центр мироздания, транспортное средство для бегства от советской действительности. Приобретение бутылки — подвиг. Чтобы заработать на поллитру, русские люди проявляют и смекалку и великую изобретательность. И план перевыполняют, и блоху подкуют, и на Марс слетают — всё за ту же бутылку... «Это несправедливо, граждане, честное слово — несправедливо!» — восклицает автор.

«Что-то неладно, — чешут в затылке люди. — Жизнь не по резьбе пошла (..) У хозяина так не было.

— У хозяина! Где он, твой хозяин? (..) — Нету у нас хозяина...»

Это жалобный вопль брошенных, заброшенных людей, которых пытаются заставить забыть, что они люди, зато внушают им, что в любую минуту любой из них — кандидат в «зону отдыха». А если уж ты свободы захотел, если за рубеж решил податься — так тебе и подавно место на нарах.

Вместе с несколькими десятками отказников автор книги и попал на пятнадцать суток. Это был в те времена еще редкий случай: дать срок за мелкое хулиганство в результате политического выступления. Повезло... А совместная отсидка в камере научила многому и обычных пятнадцатисуточников и «политических». Это ведь народ. Тот самый, с которым советский «интеллигент» и не сталкивается. Та самая однородная масса, которая при ближайшем рассмотрении раскалывается на личности — хорошие и дурные, умные и глупые, яркие и серые... Только здесь, в «зоне отдыха», смешиваются классы самого бесклассового общества... Здесь представители этих классов, отличающиеся друг от друга, как жители разных планетных систем, могут наконец посмотреть в лицо друг другу. Автор пишет: «Есть в этом заключении глубокое противоречие — мелкого срока и невыносимых условий. По-

нарошечности ареста и реальных унижений. Ничтожности преступления и злой абсурдности наказания... Рабство не породит человечности. Вонь не прибавит благородства».

Где-то на последних страницах книги — символическая картинка: подконвойные-суточки, грязные, несчастные, по слякотной дороге спотыкаясь волокут кумачовые флаги и плакаты. Это работа у них такая — снимать лозунги после советского праздника...

Уж ты водочка-водчонка,
Газированна вода,
Уж ты водочка-речонка,
Железны берега.
(Народная песня)

Кира Сагир

ВЫ — СВОБОДНЫ!

Молодой человек с очевидной, но не бросающейся в глаза (подумал издатель) еврейской наружностью, помесь «мечтателя» и «человека из подполья» (подумал бы издатель, будь он знатоком этого входящего в моду русского писателя), пришел справиться о своей рукописи. «Франц К., Франц К.», — бормотал издатель, разгребая груды рукописей и извлекая из-под нее тощую папку в дешевом переплете. «М-да, — протянул он, откидывая обложку и застревая на титульном листе, — и что вам в голову пришло такое заглавие? Разве ж это, — он захватил большим пальцем всю толщину листов и пролистнул их, словно собираясь показать пляшущего человечка, — разве ж это — ПРОЦЕСС?»

(Эпизод вымышленный. Всякое совпадение с истинными лицами и событиями является случайным.)

Продавив дешевую серую бумагу, слово ПРОЦЕСС пропечаталось на тяжелой каретке по случаю купленного, но еще

Лидия Чуковская. Процесс исключения. (Очерк литературных нравов). ИМКА-Пресс, Париж, 1979.

вполне нового «Ундервуда» и на девственно чистых, кровью умытых полях XX века.

Подробно описывая процесс Д. Ф. Карамазова, вышеупомянутый русский писатель и вообразить себе не мог процесс Йозефа К., или Николая Ивановича Рубашова, или Зощенко и Ахматовой. Выбираю этот последний пример процесса не только без «суда», но даже без расстрела (вещь более редкая в те времена, чем расстрел без «процесса»), чтобы ближе подойти к теме — к процессу удушения свободного слова.

Книга Л. Чуковской захватывает последние полтора—два десятилетия этого процесса: ликвидировав физически половину русской литературы, доведя до ничтожества 99% второй половины, вытащив из навоза и возведя в литераторские ферзи дивизии агрессивных пешек, душители притомились, одрябли. К тому же, они любят позировать заграничным фотокорреспондентам и телеоператорам и на минуту отпускают горло своей жертвы, чтобы пожать руку или приветственно помахать. А жертва глотнет воздуху и — трепыхается. И потом уже не перестает трепыхаться, даже вновь почувствовав руки на горле.

Суд легионов пешек над несколькими людьми — вот что такое «процесс исключения» недодушенных, исключения из мафии, называемой Союзом писателей. Записи, которые сделала Чуковская в то время, как разные правления и секции исключали ее, — документ, который свидетельствует о дебильности исключających, кажется, едва ли не больше, чем об их бандитизме. Судите сами. Вот как изъясняются советские *писатели* (самые многотиражные в мире): «Эта дама для нас чужой человек. Она все получает от государства, а сама ничего не делает... Она пишет для того, чтобы привлечь внимание к себе. Но это никому неинтересно ни у нас, ни за границей... Она в своем письме называет имена лиц, которые здоровы, а их будто бы посадили в сумасшедший дом. Это неправда. Они действительно больные. У нас здоровых не посадят... Вот недавно в Новосибирске наш советский подросток стрелял в нашего советского часового. Это ужасно, товарищи. В Новосибирске совершилось ужасное преступление. И вот, товарищи, когда по радио слышишь статьи, подобные статье Чуковской, начинаешь понимать, откуда берутся ужасные преступления... В вашей статье — барское

пренебрежение к народу, к рабочим, таксистам, хлеборобам... Я уважаю прежние статьи Чуковской. Однако логика фракционной борьбы привела вас к защите всех антисоветчиков... Это (статья Чуковской «Гнев народа») оскорбление интеллигенции — в лице, например, Кожевникова... Благодаря усилиям правительства Советского Союза мир пришел к разрядке международной напряженности. В связи с этим обостряется классовая борьба, а с нею растет антисоветчина... Чем объяснить, как может человек дойти до такой антисоветчины, до такой злобы? Мне хочется спросить у вас: почему вы такая злая? Откуда в вас столько злости?..» Этот коллаж можно клеить бесконечно: многоточия в вышеприведенном тексте означают переходы от одного оратора к другому — иначе смена восьми ораторов прошла бы незамеченной.

(В 68-м году в институте, где я работала, на собрании, одобрявшем ввод войск в Чехословакию и осуждавшем нашу демонстрацию на Красной площади, взял слово возмущенный механик: «Они осквернили своими грязными ногами эту священную брусчатку!» Согласитесь, что по сравнению с союзписательскими мастерами слова — это просто Цицерон!)

Заседание правления Союза писателей, исключившее Лидию Чуковскую, заканчивается словами, в которые Сергей Наровчатов не вкладывал обретенного ими смысла: «Вы — свободны!» «Свободна! — восклицает Лидия Чуковская. — В самом деле, я стала много свободнее за эти два часа».

Впрочем, и до этого последнего освобождения, освобождения от формального членства в «союзе единомышленников», Чуковская шаг за шагом обретала все более полную свободу. Этапы этого освобождения нам памяты: статьи, открытые письма, наконец — книги. Впрочем, книги — не «наконец». Многократно упоминавшийся, но продолжающий поражать факт: в 1939-40, когда, казалось, конца не будет тысячелетнему царству террора, Лидия Чуковская пишет повесть «Софья Петровна» («Опустелый дом») — единственное, наряду с «Реквиемом» Ахматовой, известное нам *синхронное* художественное свидетельство об эпохе полного удушения.

В новой книге нас более поразит другое свидетельство Чуковской — о границах свободы, которые она себе позволяла навязывать: «Наклеишь марку (то есть вставишь казенные фразы) — письмо дойдет, а не наклеишь — твое письмо не

доставят по адресу. А в моей книге — в моем письме к читателю содержится такой, казалось мне, ценный исторический материал: рассказано о культурной работе декабристов в Сибири. Ну, соглашусь помянуть лишний раз сталинскую конституцию. И за то...» Путь медленного, мучительного, постепенного освобождения — сначала от «наклеенной марки», потом от благодетельного умолчания («Лучше я ничего не скажу о погибшем, чем, рассказывая его биографию, умолчу о гибели»), словом — от «арифметического расчета» в пользу расчета морального, когда *возможность что-то сказать* перестает перевешивать *невозможность сказать всю правду*, — вот, может быть, чтение наиболее поучительное для советского человека и советского литератора (говорю не о подонках, не о мафии «единомышленников»), разрываемого между натуральной потребностью жить не по лжи и еще более натуральной потребностью просто *жить*. Быть может, арифметический расчет покажет, что Лидия Чуковская заплатила за это слишком дорогой ценой: как многие другие писатели, о чьих судьбах также говорится в ее книге, она подверглась шельмованию и полному «запрету на профессию», ее «письмо к читателю» может теперь рассчитывать лишь на малотиражные и многоопасные (для читателя, не только для автора) каналы сам- и тамиздата. Вдобавок — то, чего не пришлось пережить другим выброшенным из Союза писателей, — в течение многих лет ей отказывают в праве... быть дочерью своего отца.

В июне прошлого года, по совпадению — через несколько дней после выхода книги «Процесс исключения», один очень милый — но, может быть, слишком милый — писатель-эмигрант с восторгом показал мне только что (наконец-то!) вышедшую в Москве «Чукоккалу». — Видишь, — сказал он мне с чарующе оптимистической улыбкой, — что-то там все-таки происходит, что-то идет к лучшему!

Я взорвалась. Я адресовала его к дивным изданиям «Академии» 30-х годов. Я напомнила ему о том, что мы читали про судьбу «Чукоккалы» еще в «Иванькиаде» Войновича, о том, сколько лет потребовалось, чтобы она вышла — и мы еще не знаем, в том ли виде, в каком изначально готовилась к печати. «Да прочитайте, в конце концов, новую книгу Лидии Корнеевны!» — заключила я, устав аргументировать против благодущия. Не знаю, принесла ли моя вспышка ре-

зультат, но вдруг на месте начитанного писателя я вообразила себе молодого советского читателя 70-х годов, интересующегося и литературно-критической, и мемуарной литературой, и как он удивленно спрашивает: «Лидия Корнеевна? А кто это такая?» — и, порывшись в той же «Чукоккале», в сборнике «Воспоминания о Корнее Чуковском», в периодике, начинает убеждать меня, что я, видимо, что-то напутала, такой в семействе Чуковских нет. «Вот еще чем можно заняться: задним числом устранить меня из семьи. Если мемуарист пишет: «дверь открыла Лидия Корнеевна», или: «за столом сидела Лидия Корнеевна» — зачеркнуть. Я не открывала и не сидела. Меня не было. Теперь осталась только одна еще мера: назначить в дочери Корнею Ивановичу кого-нибудь другого».

Эка трудность! Русской литературой назначили нечто совсем-совсем другое, русскими писателями — таких, что и проспавшись по-русски лыка не вяжут, велико ли дело с какой-то одной Корнеевной справиться! Вот Богатырева — убили, а потом сказали, во-первых, что его убили диссиденты, во-вторых, что его вообще никто не убивал. Сведением концов с концами мафия не озабочена.

И все-таки прошли времена удушения втихую, и заслуга тут не только одряхлевших душителей, но и тех душимых, что посмели трепыхаться, посмели рвануться посильней и вырваться из бандитской хватки. Среди первых — заслуга Лидии Чуковской. Книгу свою она заканчивает «радостным известием» об исключении Союза писателей из литературы — об уходе из его рядов Георгия Владимова. Владимов первым осуществил то, о чем поговаривали — позднее-таки исключенные — писатели еще в начале 70-х годов: не лучше ли, не дожидаясь исключения, хлопнуть дверью? Я знаю Георгия Владимова только по книгам и не могу судить, какая конкретно цепочка размышлений заставила его хлопнуть этой дверью. Но думаю, что далеко не последнюю роль тут сыграл жизненный и творческий пример Лидии Чуковской — пожилой, полуслепой женщины, ведущей единоборство с несправедливой властью и ее гнилыми подручными.

На засыпанной снегом могиле отца, в кустах можжевельника, Л. К. Чуковская находит размокшее письмо: «Спасибо Вам, Лидия Корнеевна, за то, что Вы, человек и писа-

тель, одна из немногих настоящих писателей, оставшихся в России». Отсюда, из нашего постыдно безопасного далека, кусая губы, и мы шепчем: «Спасибо».

Н. Горбаневская

СВОБОДНЫЙ РУССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
проводивший первый летний курс (1979 г.) в Ахберге,
объявляет прием на летний курс 1980 года.

Заезд слушателей — 27 июля 1980 года.

Начало занятий — 28 июля 1980 года.

Конец занятий — 16 августа 1980 года.

Курс имеет целью дать слушателям по возможности полное и объемное представление о сегодняшней России, о ее истории, литературе, искусстве, науке; о современном положении в различных областях знаний; об организации советского государственного аппарата; о структуре управления промышленностью, сельским хозяйством, культурой и мн. др.

Кроме того, со слушателями будут проводиться регулярные занятия русским языком и разговорная практика, что даст возможность студентам-славистам, преподавателям русского языка, переводчикам усовершенствовать свои знания.

Занятия, лекции, вечера, семинары будут проводиться высококвалифицированными преподавателями и профессорами; а также специалистами в различных областях знаний, писателями, журналистами, историками, искусствоведами.

Университет будет проводить свою работу в АХЕНЕ, живописном городе на стыке границ трех стран — Германии, Бельгии и Голландии.

Количество мест ограничено.

Слушатели обеспечиваются одно- или двухместными комнатами гостиничного типа и трехразовым питанием.

Стоимость обучения и пребывания в течение трех недель:

в одноместной комнате — 925 нем. марок,

в двухместной комнате — 820 нем. марок.

В течение двух недель:

в одноместной комнате — 725 нем. марок,

в двухместной комнате — 650 нем. марок.

(Количество двухместных комнат ограничено.)

ЗАПИСЬ НА КУРС — ДО 1 МАЯ 1980 ГОДА.

По всем вопросам обращаться по адресу:

ARTHUR A. WERNER, Postfach 50, 1968, D-5000 KÖLN 50

Коротко о книгах

М. МИХАЙЛОВ

НЕНАУЧНЫЕ МЫСЛИ

«Заря» Канада

Михайло Михайлов — югославский писатель и публицист, выпустивший уже не одну книгу, в том числе и о некоторых произведениях современной русской литературы. Книги Михайлова адресуются не только людям свободного мира, но — в большей степени жителям того мира за колючей проволокой, который тянется от Бранденбургских ворот до Курильских островов.

Само название последней его книги — «Ненаучные мысли» — содержит скрытую иронию над тем «научным» мировоззрением, которое без тени сомнения дает ответы на все вопросы прошлого, настоящего и грядущего.

Автор высказывается о самом для него главном, как бы просто не замечая самого существования материалистических догм.

Будь эти высказывания более парадоксальны, их можно было бы сравнить с «Максимами» Ларошфуко. Но их спокойная, мягущаяся искренность в попытках ощупью прорваться к истине ближе к способу мышления и манере Рабиндраната Тагора. Сами поиски истины автором проходили в основном в тюрьме. Книга — результат размышлений в камере. Как и любые экстремальные условия жизни, неволя обнажает суть личности гораздо решительнее, чем так называемая «нормальная» жизнь.

Мысли о вере, о свободе, о покаянии, о сродстве веры и свободы воли проникнуты особой духовностью, ибо не Бог служит людям, а они — Богу. «Вера — свобода, рабство — грех. И горе рабу — его ждет ад. Быть рабом — не несчастье, а смертный грех», пишет Михайлов.

Разделы книги обозначены главными словами человеческого лексикона, такими как Вера, Свобода, Любовь, Бог, Жизнь, Ложь, Смерть, Бессмертие, Вечность, Покаяние...

Ум и мудрость — понятия далеко не тождественные. Умные книги — удел ученых людей. Мудрые книги пишутся теми, кто умеет слушать и слышать. Умный говорит «Всякому действию есть равное противодействие». Мудрый скажет: «Несправедливости нет. Нет невиновных (...) Чем дольше продолжается наказание, тем больше понимает человек, что оно было заслужено».

Все высказывания М. Михайлова, все слова и действия направлены на восстановление целостности человеческой личности, против раздвоения, против отторжения веры от души. Эта книга — доказательство той духовной революции, которая происходит в подневольной части земного шара, где сами мучения порой порождают людей с высочайшими требованиями к себе самим, а через это — к роду людскому вообще.

Мыслитель, видящий слово «религия» как религия, т. е. восстановление связи, а слово «диавол» производящий от понятия дуализма, раздвоения, заставляет читателя вдумываться и в другие первоосновы слов, понятий, как бы заставляя снова вспомнить о тех, простых и важных смыслах, которые мы затерли долгим словоупотреблением, и которые необходимо снова освежить и обнажить, чтобы увидеть их суть.

НИКИТА ХРУЩЕВ. ВОСПОМИНАНИЯ

(Избранные отрывки)

Составитель В. Чалидзе. Нью-Йорк, 1979 г.

Недавно опубликованные в Америке воспоминания Никиты Хрущева — явление уникальное. Мало того, что эта книга говорит об интереснейших фактах. Факты эти рассказаны одним из самых заметных действующих лиц Человеческой комедии XX века. Это не только памятник эпохе, беспримерной по злодеяниям. Это в то же время и портрет удивительного государственного деятеля, зараженного всеми пороками своего времени, но одновременно и допустившего

«оттепель» в стране, вернувшего из зон вечной мерзлоты сотни тысяч «строителей социализма поневоле».

Хрущев не писал, а диктовал свои воспоминания. Пути происхождения этих записей на Запад неисповедимы. Неизвестно также, почему их не опубликовали раньше. Валерий Чалидзе, которому удалось, наконец, выудить из американских архивов эти тексты, упоминает в предисловии, что он выпускает в свет мемуары Хрущева отнюдь не целиком, и это только цитаты, выбранные им самим для его будущей книги. К сожалению, в магнитофонной записи очень много пропусков. Как ни странно, они оказываются именно там, где Хрущев пересказывает особенно острый, сенсационный эпизод. Это повторяется настолько часто, что почти исключает возникновение пропусков по техническим причинам. Частично эти пробелы восполняются кратким пересказом от лица составителя.

Мемуары диктовались вне какого-либо литературного плана. От этого они и сохранили разговорную интонацию. Это и хорошо, потому что придает особый оттенок подлинности тем подчас невероятным событиям, о которых автор рассказывает с невинностью патологического убийцы и беглеца.

Есть пословица: «Ворон ворону глаз не выклюнет». Хрущев был во главе хищной стаи сталинских птиц. Его признания создают необычайный эффект присутствия при таких узловых событиях истории, как смерть Сталина, арест Берии (правда, версию Хрущева так же трудно проверить, как двадцать других), дело врачей, начало войны и пр.

Когда читаешь его воспоминания о Молотове, Берии, Сталине, Мао, Ким Ир Сене, не оставляет странное ощущение, что Земной Шар — просто мячик, которым играет компания не очень-то спортивных подростков. Они ссорятся, мирятся из-за мяча, но в общем-то это одна компания. Для каждого из этой компании сказать: «моя страна» — все равно, как сказать: «мой портфель, мои галоши».

Пообливав Сталина на 20-м съезде, Хрущев в воспоминаниях всячески пытается рассказать, с одной стороны, «все, как есть», а с другой — его «очеловечить». Но уж такова сила фактов, увиденных в упор, что даже хрущевские умолчания, обтекаемые фразы, становятся страшным обвинением. Ворон ворону выклеивает глаз, и сам себе не рад.

Не все в книге достоверно, многие факты, мягко выражаясь, переиначены. Однако Хрущев смущенно ворошит уже начавший спрессовываться исторический пласт. Плоть от плоти советской власти, сам мясник, с руками по локоть в крови, он пишет о таких же мясниках.

Что же им руководило, когда, очутившись в своей резиденции, «в ссылке», как он сам ее называет — на даче под Москвой, — он вдруг взял да и пустился в откровенности? Что это? Пенсионерское правдоискательство? Стремление обелить себя и свою эпоху перед потомками, отчитаться перед Историей? Искреннее желание разобраться, что же такое произошло с его страной? Трудно сказать. Но налицо четкий процесс изменения его мировоззрения. И такая смена убеждений и взглядов, быть может, дает право назвать Никиту Хрущева, бывшего советского правителя, диссидентом в самом прямом смысле этого слова.

Спотыкаясь, косноязычно, но он все же произносит это:

«Как говорится, (...) после драки кулаками не машут. Поэтому я, значит, беру на себя вину (...). Нужно было доделать, нужно (...). ...В интересах нашего будущего».

ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ

ПРЕТЕНДЕНТ НА ПРЕСТОЛ — НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА ИВАНА ЧОНКИНА

YMCA-PRESS, 1979, Paris

Уже само заглавие книги В. Войновича обещает продолжение приключений солдата Ивана Чонкина. Тем не менее, в этой новой книге говорится не столько о нем, сколько о тех, кто «заботится» о его судьбе. За сказочную отвагу и смекалку, проявленные в бою, за то, что не оставил свой пост, Чонкин оказывается... в тюрьме! Вель он нечаянно победил не немцев, а своих, да еще с такой легкостью, что на свободе после этого ему быть невыносимо. И вот он в камере, не на нарах даже, а возле параша. Все о нем позабывают на время, и автор в том числе. Не забывает только любящая Нюра, да читатель. Потому что и читателю Чонкин полюбился.

И ведь есть за что. Солдат Иван Чонкин — старый знакомый. Это тот самый сказочный солдатик, который испокон века жил да был в русском фольклоре. Бравый был, водку пил, служил верой-правдой царю-государю. За то и бывал всегда награжден в старых сказках царской дочерью да половиной царства. Только в новой сказке храбрый солдатик за свою веру-правду и солдатскую честь попадает вовсе не в царские хоромы. Тут и лубочной картинке конец. А заодно и конец той и г р е, в которую автор, В. Войнович, предложил сперва поиграть читателю. Каковы были условия предложенной игры?

По сути дела это была осовремененная народная сказка; и этот художественный прием в руках автора, комедиографа Божьей милостью, дал большую свободу, легкое дыхание.

Скоморошина обладает взрывчатой силой тротила. Народная шутка — иногда штука убийственная. «Тишайший» царь Алексей Михайлович приказывал уничтожать скоморошью дудки, а заодно и скоморохов.

Вторая часть книги возвращает читателя в реальный мир. Хотя изредка и там мелькает клоунада, фарс, мрачный и смешной сразу. Но порой, к сожалению, фарс превращается в простой фельетон. Такова тяжелая и не смешная история о редакторе районной газеты, который забыл, что не был дома двадцать лет — все передовицы писал. Приходит — а дети дома уже взрослые...

Представители властей, которые взялись губить Чонкина, выглядят совсем настоящими злодеями. Сказочный злодей бывает черный, без оттенков, а тут — все в психологических коллизиях. То они друг друга предают, то терзаются. А что делать сказочному солдатiku среди реальных разбойников и натуральных партийных чиновников? Правда сказки и правда реальности в книге даны одинаково живо, но только читать их надо не подряд, а по сценам. А в сочетании они мешают друг другу. И таким образом реальные персонажи оттерли на задний план сказочного солдатика.

Временами, однако, сказка вступает в свои права. Не найдя героя, хоронят кости мерины. События на похоронах написаны почти с гоголевским размахом. Но тут же неподалеку — описание вполне реального самоубийства прокурора. А дальше — кукольные фигурки Сталина и Гитлера. Оба «царя» решают наградить нашего героя. Так события снова

принимают сказочный оборот. И вот Чонкин едет с настоящим конвоиром в настоящую деревню, где живет Нюра... На этом вторая книга обрывается. Приключения Чонкина не окончены. Что же будет в третьей книге? Сказка или реализм? Что пересилит?

МАРИЯ ШКАПСКАЯ

СТИХИ

Overseas Publications Interchange Ltd, London, 1979

На фотографии — огрубевшее лицо. Мария Шкапская. Она чуть не стала в один ряд с Цветаевой и Ахматовой. У каждого поэта — свой остров. На острове Ахматовой был сад и мраморные статуи. У Цветаевой на острове ее поэзии — жестяной ветер на темных улицах, гудящие столбы. На острове Марии Шкапской — дикий лес, медведица рычит в берлоге.

К сожалению, поэтическое наследие Марии Шкапской невелико. Слишком увлекшись журналистикой, она оставила всего лишь небольшую книгу стихов. Да и сложно было остаться поэтом в России после 25-го года.

От ее стихов исходит ощущение силы первозданного женского нутра, на то и созданного, чтобы любить, зачинать, рожать. Ее любовь свирепа. Надо быть свирепой во имя выживания человеческого рода. Мария Шкапская грозно рождает стихи, как медведица детенышей. Не успевая разбивать строфы на строки, она им дает течь непрерывным ручьем вспененной крови: «Я древних детенышей в яме рожала и им эту чашу с краями отжала червонной и вспененной крови моей». Цикл «Кровь-руда» — словно нескончаемое закливание, вопль шамана.

Эта язычница предстоит перед Богом, исполненная то яростью восторга, то яростью горя: восторга — оттого, что она — звено нескончаемой цепи поколений от самой их зари; ярости — от потери любой капли из чаши всеобщей жизни. И она молит, заклинает помочь ей донести, не пролив, до вершины нелегкой женской Голгофы вверенный ей сосуд:

«Ах, ступеней было много, длинной была дорога. Шла, ступеней не считая, падая и вставая, шла без стопа и вздоха, но так устала, но такая была Голгофа, что силы не стало...»

Свирепой медведицей она воеет, когда теряет кровное — любовника, мужа, детеныша. Потеря — выдранный клочок мяса. Из зияющей раны исторгаются кровь и поэзия: «Было тело мое без входа, и палил его черный дым. Черный враг человеческого рода наклонился хищно над ним. И ему, позабыв гордыню, отдала я кровь до конца за одну надежду о сыне с дорогими чертами лица».

При этом ей никогда не изменяет чувство меры. Информация не становится монотонной. Свирепый рев аранжирован. Как настоящий поэт, она обладает даром перевоплощения. Вот изящнейшие стихи цикла «Ца-ца-ца», подобие китайских: «Закрываются пруды от солнца желтыми кувшинками, но уйдет вода из пруда, и кувшинки падают на дно, в скользкую тину. Муж, как вода, жена, как кувшинка. Как могу я жить теперь, если мой муж меня покинул?»

Женщина-поэт чаще всего оплакивает разлуку с любимым. Но для Марии Шкапской нет ничего губительнее смерти, мужчина для нее лишь соратник в продолжении рода. Страшен ее плач по нерожденным детям: «В землю сын ушел — и мать от земли не может встать».

Серое небо Петербурга, серый Париж... В эмиграции она все с той же яростью пишет о революции, сделавшей Родину детоубийцей. Любой палач для нее — преступник против всех людей, которые могли родиться от казненного.

Смерть — прекращение священного процесса. В цикле «Барабан сурового господина» она, негодуя, бросает упрек в лицо судьбе, которая отнимает у мужа жену, у детей хлеб, у казненного жизнь.

Ведь бесценна каждая минута жизни, даже самая горькая. И каждый человек, пока живет, бессмертен. А умирая, он передает жизнь следующим, и так без конца: «За тем, что сыновья и внуки — для нас для всех входной билет за порцию текущей муки на зрелище грядущих лет».

Шкапскую, может быть, не назовешь великим поэтом. Но это поэт прекрасный.

А. ГЛЕЗЕР

ЧЕЛОВЕК С ДВОЙНЫМ ДНОМ
(Книга воспоминаний)

Изд-во «Третья Волна», Франция, 1979 г.

А. Глезер начал коллекционировать картины и интересоваться свободным искусством в СССР с 1969 года. Он старался как-то объединить художников, не удостоенных официального признания, как-то организовать их движение, помочь им отстоять свое право выставлять свободно что они хотят, что они пишут не на заказ, а потому, что они — художники.

Такая деятельность привела к тому, что искусствоведы в штатском стали уделять Глезеру активное внимание. У подъезда дома маячили топтуны, в «Вечерней Москве» мелькали фельетоны, в одном из которых Глезер был назван «Человеком с двойным дном». Этот гебешный ярлык и стал названием книги мемуаров Александра Глезера.

Книга написана в Париже, в эмиграции.

Коллекция картин Глезера стала, как известно, базой для создания «Русского музея в изгнании», музея современной живописи, расположившегося в Монжероне, недалеко от Парижа, в поместье, которое, по легенде, принадлежало некогда Анне Ярославне — французской королеве, дочери Ярослава Мудрого. Музей, созданный Глезером с помощью художников, оказавшихся тоже за рубежом, существует, несмотря на немалые сложности.

Автор описывает в книге свое детство, школьные и студенческие годы, попавшие на сталинские и хрущевские времена. Он стал собирателем живописи молодых художников, пропагандистом творчества полузабытых (стараниями властей) мастеров живописи начала века.

Затем, в шестидесятых годах, судьба свела Глезера с «лианозовской группой художников» — О. Рабиным, Е. Кропивницким, В. Кропивницкой, В. Немухиным и др. Начало этой дружбы ознаменовалось выставкой в клубе на шоссе Энтузиастов (символично — бывшая Владимирка!), когда власти вступили в конфликт не с отдельными непокорными художниками, а с определенной творческой группировкой,

«кулаком». Длинные перипетии спора художников с властями заставили художников поверить в свои силы. К москвичам стали примыкать ленинградцы. Наконец, в 1974 году художники вроде бы отвоевали себе право на относительно свободное самовыражение, правда, ценой немалых потрясений. Главным из них, заставившим охнуть от удивления весь цивилизованный (и даже не совсем цивилизованный) мир, стала знаменитая «бульдозерная» выставка. И хотя Запад привык к советским чудесам, но этот показ картин на пустыре в Москве, когда против них были пущены бульдозеры, удивил самых невозможных.

Последовавшая вслед за этим другая выставка на открытом воздухе была чудом. Правда, чудеса быстро сменились новыми преследованиями...

Страницы книги, посвященные этим выставкам под открытым небом, борьба с КГБ за свое право самовыражения, читаются как детективный роман...

АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. ЕГО КОРНИ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Библиотека-Алия, Иерусалим, 1979

Теме, которая стоит в заглавии книги, был посвящен семинар 7-8 апреля 1978 г. в Иерусалиме, организованный Центром по исследованию и документации восточноевропейского еврейства.

Материалы семинара, на котором выступили с докладами Ш. Эттингер, Р. Нудельман, Г. Ильин, Я. Цигельман, Д. Тиктина (Штурман), А. Воронель, Э. Сотникова, Л. Дымерская-Цигельман, Ш. Гирш и М. Азбель, занимают большую часть книги. Кроме них, в книге помещена самиздатская работа скончавшегося в том же году в Москве поэта и публициста, зэка сталинских времен Михаила Байтальского (известного под псевдонимом И. Домальский). Наконец, в заключительной части приведены наиболее характерные образцы антисемитских материалов советской прессы, а с ними — и несколько антисемитских самиздатских текстов, в основном, уже известных по другим публикациям. Из них один текст

подлинно самиздатский (т. е. распространявшийся не только «от руки» авторов) — крайне неприятное, направленное против «мирового сионизма и сатанизма» (?) «Обращение трех верующих» из журнала «Вече». Два предшествующих текста — скорее библиографические курьезы, но, тем не менее, характерные для возможного развития национал-фашистских настроений в безграмотно-фанатических кругах. Они публиковались несколько лет назад М. Агурским, примечания которого воспроизведены в книге. Направленность обоих текстов двойная: кроме ярого антисемитизма, в первом — столь же ярые нападки на Солженицына, во втором — на журнал «Вече». И, наконец, текст некоего Емельянова «Кто стоит за Джимми Картером и т. н. еврокоммунистами» — клинический образец мании преследования, которому трудно приписать то социальное значение, какое придают ему некоторые выступавшие.

В докладах семинара исследуются исторические корни и современный характер советского антисемитизма, антисемитская пропаганда в советских изданиях, еврейский вопрос в самиздатской и зарубежной русской публицистике, нынешняя активизация антисемитизма и пути борьбы с ним. В докладах, как и в последовавшей за ними дискуссии, не было «единой платформы» (кроме простой мысли о необходимости серьезно поразмышлять над проблемами антисемитизма в СССР), мнения по одним и тем же вопросам разноречивы, и поэтому читать особенно интересно: читатель как бы сам втягивается в живую, разноголосую дискуссию. В докладах и выступлениях можно встретить новые, не встречавшиеся прежде идеи. Так, проф. Азбель расширяет тему семинара до мировых рамок и показывает, что «резкий крен в сторону антисемитизма, в сторону проарабизма, в сторону пропалестинцев» в западных странах поощряет рост советского антисемитизма. М. Альтшуллер предлагает исследовать вопрос, «в чем отличие выступлений советской пропаганды, специально направленной против евреев и Израиля, от пропаганды, ведущейся обычно против 'враждебного лагеря'». Л. Лурье обращает внимание на расширение неонацистской пропаганды, ассигнуемой арабскими странами и дирижируемой из Москвы. Проф. Эттингер указывает на опасное влияние антисемитской пропаганды на самих евреев. Дора Штурман, рассматривая также тему влияния антисемитской пропа-

ганды как на евреев, так и на остальное население СССР и напоминая о том, что до революции существовала пропаганда филосемитская, делится скромным, но убедительным опытом проведения таковой среди старших школьников и абитуриентов. Трудно перечислить все интересные моменты семинара. И не стоит, конечно, перечислять время от времени встречающиеся благоглупости, вроде обвинения в антисемитизме по адресу Микола Руденко, создавшего «образ отвратительной еврейки — женщины-гинеколога» (это напоминает столь памятные нам обвинения в очернительстве целой профессиональной группы со стороны бухгалтеров или пожарников, столкнувшихся с отрицательным образом бухгалтера или пожарника, только в данном случае забыли обидеться за всех гинекологов).

ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА АРМЯНСКИХ ПРОБЛЕМ

Институт Армянских Проблем в Мюнхене издал книгу Левона Мкртчяна «Голоса с Родины» (на армянском языке) — сборник избранных армянских самиздатских материалов. В сборник вошли следующие тексты:

1. Ответ историка Карапетяна на статью Поповского об армянской проблеме.
2. Выступление поэтессы Сильвы Капутикян на районном партийном активе.
3. Письмо Хрущеву 2500 карабахских армян.
4. Письмо Г. Оганесяна ЦК КПСС.
5. Исследование неизвестного автора «1917-1921 гг.».
6. Обращение карабахских армян к народу и правительству Советской Армении.
7. Письмо Беника Мовсесяна из тюрьмы.
8. Документы, относящиеся к положению армян в Карабахской области.
9. Последнее слово Паруйра Айрикияна на суде.
10. Армянская Хельсинкская Группа.
11. Письмо Серо Ханзадяна Брежневу.

Все эти материалы известны и в разное время были опубликованы в зарубежной прессе. Однако автор не только

собрал этот материал, но и снабдил его собственным комментарием, который носит характер глубокого социально-исторического анализа.

Также на армянском языке издана книга Э. Оганесяна «Достоевский, Толстой и Паруйр Севак». (Автор известен читателям «Континента» своими статьями в №№ 13 и 20.) Имена двух великих русских писателей автор ставит рядом с именем современного армянского поэта, который в 1971 году погиб в автомобильной катастрофе. Заглавие книги очень броское, и сразу же хочется обвинить автора в нескромности сопоставления молодого армянского поэта с двумя гигантами мировой литературы. Но уже с первых страниц становится ясным, что то, что он сравнивает у этих трех художников, сравнимо.

«Мы живем в то время, когда людей убеждает логика, но не литература, когда чувства утратили свой авторитет и более не пользуются доверием, когда всюду властвует наука, а искусство превратилось в лучшем случае в удовольствие. Философия уже давно превратилась в узкую специальность, и уже давно философы не изучают писателей и художников. Они заняты учеными». Так начинает автор свою книгу и на всем ее протяжении исследует проблему художественного и научного восприятия. Именно здесь, в области «художественного мышления», автор находит много общего у Достоевского, Толстого и Севака. Уму непостижимо, как, родившись в Советской Армении, пройдя через комсомол и советскую школу, Севак неожиданно для всех пишет одно из самых своих замечательных произведений «Да будет свет», где прямо обращается к теме Бога и, отбросив науку, отдает предпочтение интуитивизму. За это произведение поэт впал в опалу, его перестали публиковать, начались гонения. И если мы сегодня не видим имени Севака среди известных диссидентов, то только потому, что гибель его опередила те действия КГБ, которые нормальных людей превращают в героев-диссидентов. Книга интересна еще и тем, что разбирает ряд интересных особенностей армянской поэзии.

На английском и немецком языках Институт выпустил работу немецкого историка Петра Ланэ «Армяне: первый

геноцид XX века». На 125 страницах автор прослеживает историю армянского народа от возникновения армянской государственности три тысячи лет назад до советизации ее государственного строя. Сосредоточив свое внимание на новейшей истории армян (1880-1917), автор, тем не менее, донес до читателя главные черты исторического развития народа. Армяне первыми в мире провозгласили христианство государственной религией, и вся последующая история народа была связана с принятием христианства. Освободительные войны, войны за государственную независимость — все они носили религиозный характер, и все исторические беды народа вплоть до геноцида 1915 г. были связаны с религиозными гонениями.

В новейшей истории автор на богатом фактическом материале показал ту политическую трагедию, которая разыгралась на глазах у всего мира в 1915 году, когда правители Османской Империи запланировали и осуществили массовый геноцид армян, в результате которого было уничтожено полтора миллиона мирного населения. В книге показано отношение царского правительства к армянской проблеме, а затем и отношение советского правительства.

Само построение книги способствует не только восприятию исторических фактов, но и размышлениям морального плана. Так, автор показывает, что, вероятно, можно было бы избежать геноцида евреев во время второй мировой войны, если бы в свое время был публично осужден геноцид армян. Между тем, армянского Нюрнберга не было, и первый геноцид XX века не осужден по сей день. Книга содержит обширный и убедительный исторический материал, делающий выводы автора бесспорными.

ЛЕОНИД РЖЕВСКИЙ

ДИНА. (Записки художника)

«Новое Русское Слово», Нью-Йорк, 1979

Новый роман Леонида Ржевского — роман о силе воздействия или о воздействии силы. Он даже называется «Дина» (а дина, как известно, единица измерения силы).

Это рассказ о столкновении двух миров, двух моралей. С одной стороны, Дина, главная героиня, «советская», молодая женщина, приехавшая на Запад, выйдя замуж за иностранца. С другой стороны — немолодой художник, эмигрант, живущий с сестрой где-то в уютном городишке в Скандинавии. Сестра художника и Дина — два полюса романа. У каждой стороны своя система предрассудков и предвзятостей. И каждая в чем-то права. Они не столько враждебны друг другу, сколько существуют как бы в разных плоскостях. Художник, от лица которого ведется повествование, — где-то посредине; он пытается понять, принять Дину, примирить ее со своей действительностью, а свою действительность с ней.

Роман написан в виде дневника. Это что-то вроде заметок, отрывочных записей о встречах и разговорах с Диной. Вся остальная жизнь художника начисто исключена из дневника.

Разумеется, герой влюблен в героиню. Дневник об этом рассказывает — но не только об этом. Это и записки художника, что ясно из самого подзаголовка романа. Поэтому здесь не только борьба «двух систем», но и борьба художника с самим собой, с материалом, — одним словом, муки творчества. Сам образ Дины дан эскизно, фрагментарно, с разных точек обозрения. Почему не получается у художника образ «победительницы», девушки-триумфатора? Ведь Дина — носительница активного начала в романе, она покоряет своей молодостью, силой личности, красотой и непримиримостью. Но победительница ли она? Нет. Она побеждена. Вернее, убеждена. Дина, выходец из мира ненависти и тщеты, начинает все яснее сознавать, что зло может подточить и лишить жизнеспособности даже самые стойкие идеалы, — ведь ложь не спрячешь за лозунгами и годами навязываемой морали.

Пусть Запад сытый, мещанский, чересчур прагматичный и спокойный — правда за ним. Здесь человек имеет право ошибаться.

Постепенно отрицание сменяется пониманием. Стена отчуждения между Диной и остальными героями разрушается. На смену взаимному испугу приходит доверие. Дина вливается в новый, еще недавно чуждый для нее мир. Она побеждена, но благодарна за поражение.

Тон повествования, внешне спокойный, сдержанный, несет в себе, однако, силовой заряд. Ведь это роман о силе: силе любви, силе доверия. О светлой силе. О том, как «радиация добра оказалась сильнее радиации ненависти».

ЯЗЫК ПРОПАГАНДЫ

*JĘZYK PROPAGANDY. Zeszyty Towarzystwa Kursów Naukowych.
Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 1979.*

Каждый год в мае в Варшаве, на площади Шествий (плац Дефиляд), происходит книжная ярмарка. В 1979 году впервые трое молодых людей раздавали на ярмарке красочные буклеты издательства НОВА — и роздали около восьми тысяч. «Панове, — спросил их один любопытный, — а когда у вас будет свой стенд?» — Да, пожалуй, в будущем году, — ответили представители самого динамичного в Польше издательства.

НОВА — сокращение названия Независимого книгоиздательства (Незалежна Официна Выдавнича), издательства, которому КОР в 1977 году дал денежную ссуду и оказал моральную поддержку при начале издательской деятельности. Это издательство, вне официального рынка, уже раздобыло и использовало на выпуск неподцензурной литературы несколько тонн бумаги. Кроме ряда независимых журналов («Запис», «Пульс» и др.), НОВА выпустила серию книг, значительность которых трудно недооценить: Казимежа Брандыса, Тадеуша Конвицкого, Джорджа Орвелла, чешского прозаика Богумила Грабала, Гюнтера Грасса, Яцека Куроня и многих других авторов.

Весной 1979 г. НОВА приступила к изданию материалов коллоквиумов Товарищества научных курсов — ассоциации, которая объединяет видных польских ученых и под опекой которой работает «летучий университет». Первый коллоквиум этого независимого научного сообщества состоялся в октябре 1978 г. и был посвящен языку пропаганды. Вступительный доклад и стенограмма дискуссии, в которой участвовало 26 ученых разных специальностей, НОВА опублико-

вала отдельной книгой через несколько месяцев после заседаний коллоквиума.

Докладчик и участники дискуссии используют орвелловское понятие «новоречь», ставя себе целью определить характерные черты этого явления, а также его функции и следствия.

Довольно легко согласиться в том, что такое новоречь — гораздо более спорной оказывается проблема, является ли она поддающимся научному описанию языком со своей собственной логикой и своими законами. По мнению некоторых участников дискуссии, некоторые правила новоречи поддаются описанию (к примеру, когда можно, а когда нельзя употреблять фамилии во множественном числе: так, эти правила позволяют сказать «дайчгеванды», но не — «гереки»). По мнению других, язык этот, живя особой нелогической жизнью, доходит до самоувечья (вместо непереводаемых польских примеров напомним о выявляющем эту «инвалидность» пародировании советского языка в русской речи, особенно в анекдотах: «Были ли колебания в проведении линии партии? — Колебался вместе с партией», — анекдот 56-го года).

Дискуссия о языке пропаганды проходила под знаком высказывания Льва Шестова из статьи «Что такое русский большевизм?» (1919): «Русский большевизм — во-первых, царство слов». Участники дискуссии обращали внимание на то, как новоречь творит псевдодействительность и до бесконечности распространяет ее через средства массовой информации; на то, как избегает новоречь всякой конфронтации с действительностью, какое фатальное социальное воздействие оказывает отвычка людей от мышления, от строгой формулировки вопросов и ответов. Остается неясным, является ли новоречь языком равнодушного, разлагающегося общества или же, наоборот, дурное состояние общества — результат употребления этого языка. Не поддается сомнению, что тоталитарные общества не могут существовать без новоречи, но очевидно также, что функции языка пропаганды многообразны.

Участники дискуссии отметили ужасающий размах распространения новоречи: это уже не только узаконенный язык в школах и газетах, но и рядовой человек поддается ему,

когда, например, называет маслом желтый, дурно пахнущий брусок сомнительного химического состава.

Мало радости также узнать, что те, кто нами правит, пользуются еще более рафинированным, еще более далеким от действительности диалектом новоречи. Неудивительно, что временами это представляет для них серьезные прагматические неудобства с весьма зримыми последствиями.

УЛИССЕ ФЛОРИДИ

МОСКВА И ВАТИКАН

*Ulisse FLORIDI. Moscou et le Vatican. Les dissidents soviétiques face au dialogue. Introduction de Vladimir Maximov.
Traduit de l'italien par J. Joba.*

Больному и неясному вопросу посвящена эта книга, вышедшая первоначально в итальянском издательстве «Каза ди Матрена». Флориди, итальянский священник, ставит вопрос страстно и не скрывает своего отношения к политике диалога между Ватиканом и Москвой.

Вспоминая по аналогии пассивную позицию Святейшего Престола по отношению к нацистской Германии, Флориди замечает, между прочим, что теперь, много лет спустя, когда приоткрылись некоторые архивы, политика Пия XII представляется уже не столь соглашательской. И автор выражает предположение или, скорее, надежду, что еще через много лет распахнутся, в свою очередь, ныне тайные архивы и позволят понять восточноевропейскую политику Ватикана последних десятилетий.

Книга горькая, но относится она к периоду до избрания Иоанна-Павла II. Сейчас, после избрания кардинала Войтылы на Папский престол и особенно после его поездки в Польшу, горечь автора, возможно, уступит место обоснованным надеждам.

Для многих, особенно в СССР и странах Восточной Европы, молчание Ватикана, словно равнодушного к разгулу воинствующего атеизма, было загадкой. Оставаясь или притворяясь слепым, Ватикан годами упорно заявлял о своем желании завязать с правительствами этих стран диалог, не-

изменно вырождающийся в монолог. Даже делая скидку на будущую частичную реабилитацию такой политики, даже допуская, что она имеет рациональное объяснение, Флориди не скрывает своего возмущения.

Его особенно коробит, что доносившиеся и доносящиеся с Востока призывы инакомыслящих, находя отклики у западной общественности (подчас даже на высшем правительственном уровне, вплоть до президента Картера), наталкивались до последнего времени на глухое молчание Ватикана, Флориди напоминает, что все эти годы Ватикан постоянно стремился вести переговоры с правительствами восточно-европейских стран — в частности, о назначении церковных иерархов. И это вопреки протестам верующих, тщетно повторявших, что папство, назначенный или утвержденный властью, которая ведет непримиримую борьбу с религией, фактически является ее прислужником.

Иллюстрируя это положение, Флориди цитирует Казароли, многолетнего руководителя иностранной политики Ватикана: «...Святейшему Престолу часто ставят в упрек, что в ущерб вопросам фундаментальным он отдает предпочтение институту назначения епископов в этих странах. Следует, однако, уяснить, что, говоря языком схоластики, в иерархии ставимых целей Святейший Престол печется равно как о полной свободе Церкви и ее деятельности, так и о свободе религиозной жизни. Однако в иерархии целей исполнимых было бы неразумно отказываться от того, что возможно сегодня и что, будучи пусть частным и несовершенным, не препятствует достижению цели более высокого порядка. В иерархии же средств следует искать, что именно надлежит осуществить наиболее срочно ради этих основных целей».

По мнению Флориди, это рассуждение, формально верное, противоречит духу Евангелия. Так же стремясь к миру, Иисус Христос, творя добро для людей, для больных, грешников и язычников, не беспокоился, что подумают об этом власти. Дело свое Он поручал пастырям, а не наемникам. Хотя Церковь Христова немыслима без иерархов, столь же верно, что она, прежде всего, сообщество христиан. Коммунисты начали свои труды по уничтожению Церкви, обрушив всю тяжесть ударов на пастырей. Сегодня они ведут это

разрушение более коварно, поручая руководство ею недостойным пастырям.

После смерти Павла VI многие утверждали, что восточная политика Ватикана, которую иначе, как капитулянтской, не назовешь, была личной инициативой Государственного секретаря Казароли и что Папа о ней не знал. Флориди же убежден, что «Павел Шестой знал если не всё, то многое, и сам начертал основные линии восточной политики».

После избрания Иоанна-Павла II, полагает Флориди, все может быть иначе, и основывает эти надежды на том энтузиазме, который вызвало избрание польского кардинала на Папский Престол. Поездка Папы в Польшу могла только укрепить эти надежды. Но как не задать себе вопрос: разве не вырос кардинал Войтыла в фигуру мирового значения, в которой сходятся надежды верующих и неверующих, — под крылом кардинала Стефана Вышинского, в сердце польского Епископата? А они ведь в 1950 г. заключили соглашение с польскими властями, вызвавшее, правда, недовольство Ватикана, но зато в самые тяжелые времена обеспечившее Польской Церкви некоторые лимиты свободы. И не позволила ли — пусть отчасти — восточная политика Ватикана прийти к нынешней победе или хотя бы к нынешней надежде?

Заявление Исполнительного бюро Совета НТС в связи с вторжением советских войск в Афганистан

Вторжение в Афганистан резко ухудшило международное положение и позиции нашей страны.

Наши войска введены на территорию размером больше Украины, с 15-миллионным населением, которое враждебно настроено по отношению к оккупантам. Афганский народ не звал нас «на помощь» так же, как и венгерский народ в 1956 году или чехословацкий в 1968 году. Повстанческое движение, возникшее после насильственного захвата власти афганскими коммунистами, будет продолжаться. Географические условия страны благоприятны для партизанских действий, и скорой «нормализации» ждать не приходится. Уже, за первые недели, наши войска потеряли свыше тысячи человек убитыми и ранеными, более десятка танков и два самолета. И это только при занятии ограниченного числа позиций. К привезенному из Москвы «правительству» население страны относится как к предателям.

Мусульманские страны, за редким исключением, недоброжелательно отнеслись к захвату Афганистана. И не только потому, что ощутили опасность стать жертвами следующей агрессии, но и потому, что видят в этом подавление «неверными» мусульманского возрождения. Как следствие — бурный рост антирусских настроений, проявившихся, в частности, в многочисленных демонстрациях под лозунгом: «Русские собаки, убирайтесь вон!»

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую агрессию против Афганистана и требующую немедленного вывода войск. За резолюцию голосовали 104 государства, т. е. больше двух третей, в том числе Югославия, Ирак, Иран. Против резолюции голосовали только 18 государств (коммунистический блок с прихлебателями). 18 государств воздержались, в том числе Румыния.

Нанесен удар по торговым, техническим и культурным связям, прежде всего со странами Запада. Соединенные Штаты приостановили поставку нам зерна и технологии. Замораживают ряд торговых договоров и технических проектов и другие страны. Отменен ряд визитов и конференций. Все настойчивее становятся требования бойкота Московской Олимпиады или перенесения Олимпиады 1980 г. в другую страну.

Ратификация СОЛТ-2 отложена американским Конгрессом на неопределенное время. Затормозить перевооружение войск НАТО не удастся никакими «красивыми словами» о необходимости разрядки. Теперь основной тезис Запада: политика разрядки не может проводиться в одной части мира и грубо нарушаться в другой.

Президент Картер резко изменил свою благоприятную в отношении советского правительства позицию. Особенно его потрясло то, что Брежнев, при разговоре по «красному проводу» (прямая связь между

Белым Домом и Кремлем), лгал ему, скрыв настоящий объем «афганской операции» и ее цель — оккупацию Афганистана. Президент и Конгресс, обеспокоенные новым актом коммунистической агрессии, угрозой жизненно важным для Запада нефтяным источникам этого района, несомненно усилят программу вооружения США и ускорят ее реализацию.

Очень медленно развивавшееся сближение между США и Китаем, которое до сих пор ограничивалось технической помощью, стало развиваться ускоренно. Визит американского министра обороны в Китай, последовавший сразу после захвата Афганистана, — это первый шаг к американо-китайскому военному сотрудничеству. Такова цена, заплаченная нашей страной за оккупацию Афганистана.

Оккупация Афганистана была следствием свержения правительства Дауда в апреле 1978 года. Переворот был организован малочисленной коммунистической партией при массивной помощи многочисленных советских «советников» и спецгрупп КГБ, агентом которого, в частности, был Амин. Преследование религии, «реформы», подобные раскулачиванию, террор, начавшийся с убийства Дауда и его родственников, включая детей, постепенный распад афганской армии, взаимопожирание коммунистических «вождей», рост повстанческого движения — таковы были последствия этого переворота.

Офицеры советского генштаба, знакомые с обстановкой в Афганистане, еще тогда предупреждали, что в случае замены даудовского режима коммунистическим для его поддержки будет недостаточно одних «советников», а придется вводить войска. При этом, отмечали они, для полного контроля над страной понадобятся крупные воинские соединения.

Между тем, с точки зрения *оборонительных* государственных интересов, нейтралистско-просоветский режим Дауда, связанный договором «о дружбе и взаимопомощи» (подобно Финляндии), СССР вполне устраивал. Если бы стала актуальной китайская угроза или произошло бы обострение иранского кризиса, даудовское правительство пропустило бы наши войска для занятия необходимых позиций. Тем более, что в даудовской армии было достаточно офицеров, обученных у нас.

Можно ли предположить, что советское правительство не предвидело всех этих последствий? Что ход событий выпал из-под контроля дряхлого политбюро?

Если это так, то мы имеем дело с неуправляемой системой, вооруженной до зубов и движимой агрессивной идеологией мирового господства. Тогда мы должны считаться с тем, что в любой момент какая-нибудь новая агрессия — против Ирана или Пакистана, против Финляндии или Югославии — обернется мировой войной.

Но если Советское правительство предвидело все эти последствия? Сознательно пошло на ухудшение своего международного положения и на обострение общемировой обстановки?

Тогда оккупация Афганистана есть подготовка к дальнейшей агрессии. И направление этой агрессии ясно видно — Иран и Пакистан. Два внутренне нестабильных государства, не защищенных никакими договорами или союзами. Подрывная коммунистическая работа в этих странах ведется уже давно, особенно в Иране. Захват Ирана и его нефтяных источников окупит все нынешние «убытки».

Так или иначе, оккупация Афганистана — шаг к войне.

Нашей стране никто реально не угрожал. Соединенные Штаты были готовы на большие уступки как в вопросах уменьшения вооружения, так и в вопросах сближения. Западная Европа стремилась к расширению торговли и технических связей. Нарастивание военного потенциала Китая длилось бы еще долгие годы, так как Запад не стремился это ускорять. Утверждение советского правительства, что оккупация Афганистана была предпринята в интересах безопасности нашей страны — лживо.

Сейчас обстановка резко изменилась. Никогда со времен второй мировой войны мы не были так близки к новой войне, как сейчас. Своими действиями советское правительство теснит демократические страны к грани, при переходе которой берутся за оружие. Демократии «проглатывали» гитлеровские агрессии одну за другой. Но когда Гитлер напал на Польшу, они начали воевать.

Почему уроки истории не учат?

Тоталитаризм и внешняя агрессия неразделимы. Советское правительство бесконтрольно. В нашей стране нет свободного общественного мнения, которое могло бы влиять на правительство. Наш народ лишен законного права сменить это правительство на выборах. И это правительство силой тащит нашу страну в войну, войну на два фронта — против Запада и Китая.

Для того, чтобы предотвратить катастрофу, сохранить нашу государственность, защитить наше место в мире, — надо вовремя пресечь преступную в отношении страны и народа политику.

Мы прежде всего обращаемся к тем силам в правящем слое, которым дороги интересы России и ее народов, к тем, кто имеет возможность протянуть руку к рычагам власти, кто имеет оружие: используйте свои возможности и возьмите власть в свои руки. Необходимо круто повернуть руль внешней политики — к миру. Вы будете поддержаны народом.

18 января 1980 г.

Исполнительное бюро Совета НТС

Наша анкета

ИНТЕРВЬЮ С МИЛОВАНОМ ДЖИЛАСОМ

Вопрос: Господин Джилас, вы недавно очень резко критиковали СССР, утверждая, что Советский Союз измениться не может. Почему вы пришли к такому выводу? Нет ли тут опасности, о которой порой говорят некоторые люди на Западе, — опасности оценки СССР мерками сталинских времен?

Ответ. Совершенно очевидно, что внутренние условия в СССР и его внешняя политика по сравнению со сталинскими временами изменились, но это измене-



ния формальные, а не существенные. Сама система — общественная, экономическая, сами формы собственности и власти только слегка модифицировались, применительно к новым условиям. Коренных перемен со сталинских времен не было. Пути и способы функционирования власти, функционирования хозяйства остались прежними. То же самое и во внешней политике. Поэтому я не верю, что государство это вообще

может демократизироваться. Об этом я уже писал. И я думаю, что сама советская система не имеет внутренних возможностей, не имеет в себе тех факторов, которые могли бы вызвать коренные перемены.

И еще: советская экспансия не может сама собой остановиться, это подтверждается фактами советских

действий как на Ближнем Востоке, так и в Африке. Большую роль в укреплении у меня такой точки зрения сыграла и оккупация Камбоджи — за этим косвенно стоит все тот же Советский Союз.

Вопрос. Многие западноевропейские политики думают, что в Европе действительно разрядка, что Брежнев — человек с чувством ответственности и т. д. Разделяете ли вы эти взгляды?

Ответ. Я думаю, эти утверждения не чересчур ошибочны, но они не касаются общих перспектив и оценки советской политики в целом, в мировом масштабе. Конечно, есть ослабление напряженности в Европе, которого нельзя не заметить. Верно и то, что Брежнев в рамках советской истории и системы принадлежит к числу довольно умеренных деятелей; но столь же несомненно, что, и допуская некоторую разрядку и даже сотрудничество в Европе, Советский Союз в то же время весьма активен в своей экспансии: взгляните на Африку, Латинскую Америку, Ближний Восток и Юго-восточную Азию. Это типичная политика державы, которая не проводит единой линии во *всей* своей внешней политике, а наоборот, приспосабливает свои действия к разным условиям в разных частях света. Что значит разрядка в Европе, когда в то же время европейское влияние и европейские экономические связи в других частях света заминированы и в любой момент времени могут взорваться? Это лишь две стороны одной и той же тактики.

Вопрос. Но какова стратегическая цель СССР? Чего он хочет?

Ответ. Думаю, что цели его вполне прагматические. Советские руководители видят в слаборазвитых странах третьего мира брожение, возможности для революционеров, для разных недемократических движений, для авторитарных форм власти, и они поддерживают все это с одной целью: лишить Европу и вообще западные страны сырьем, взять источники сырья под

свой контроль. Тогда Запад окажется в полной зависимости, и Европа в особенности, ибо вся ее промышленность будет зависеть только от Советского Союза и подконтрольных ему стран третьего мира. Я не верю, что СССР в обозримое время может напасть на Европу непосредственно, только югославский вопрос с этой точки зрения мне представляется неясным из-за геополитического положения Югославии и отсутствия четкого статуса, определяющего ее место среди других стран Европы.

Вопрос. Вы, помнится, были сторонником так называемой «восточной политики» — в первую очередь, немецкой, которую начал проводить В. Брандт и, по-видимому, продолжает Х. Шмидт. Как вы смотрите на нее теперь?

Ответ. Эта политика, на мой взгляд, принесла некоторые результаты. То, что мы именуем разрядкой или детантом, — во многом результат именно этой политики. В этом году я пришел к выводу, что если эта политика оказалась недолговечной, то потому, что от нее все же приходится отказываться. Ведь СССР никак не годится в действительные партнеры; взять хотя бы германский вопрос — никаких ощутимых результатов, а ведь именно на надежде его разрешения «восточная политика» и была основана! Вероятно, и в других областях она мало что даст. К тому же, я думаю о таких странах, как Польша, Венгрия, Болгария, Румыния...

Вопрос. Если Советский Союз действительно продолжает и будет продолжать экспансию, можете ли вы допустить, что Западная Германия, одна или вместе с США, станет поддерживать стремление стран Восточной Европы к независимости?

Ответ. Я предполагаю — судя по сегодняшнему положению дел, — что Советский Союз будет контролировать их, допустит поднадзорное сближение всех этих стран с Западом. Но перемены возможны, осо-

бенно после Брежнева, и они, видимо, будут негативными. Я думаю, что для умонастроений советских бюрократов современное смягчение по отношению к остальному миру означает расширение тенденций в сторону большего динамизма, агрессивности, короче — к еще большему экспансионизму.

Вопрос. Мы слышали, что среди молодого поколения в СССР заметно возрождение сталинистских настроений. Снова продаются портреты Сталина. Говорят, что при Сталине, мол, было все ясно и просто.

Ответ. Все это соответствует тому, что я сказал. Но есть и противоположные тенденции — как реакция на эти — я имею в виду Сахарова, многих писателей и, наконец, диссидентов.

Вопрос. Существует ли вообще определенная политическая линия Запада по отношению к СССР?

Ответ. Думаю, что четкой концепции — вернее, точки отсчета — Запад не имеет. В каждой стране эта политика разная. Однако у некоторых стран ясная позиция есть. Посмотрите, к примеру, на американскую политику: вы не сможете понять, чего хотят достигнуть США, каковы их цели. Это им самим неясно. Нет единой четкой линии, и в определенных пределах они терпят расширение советского влияния. Создается впечатление, что они реагируют лишь от случая к случаю.

Вопрос. Значит ли это, что западная система истощила свои возможности и находится на грани исчезновения парламентарной системы?

Ответ. Я недостаточно компетентен, чтобы утверждать что-либо подобное. Я думаю, что парламентская система сама по себе хороша, однако недостаточно приспособлена к условиям последнего времени. Она малоэффективна сейчас. Но это дело поправимое.

Вопрос. У нас есть люди, которые говорят, что общество потребления и разные виды социальной помощи разрешили множество хозяйственных проб-

лем — но одновременно разрушили политическое мышление...

Ответ. На самом деле они разрушили идеалы, и это уже плохо. Есть в обществе потребления свое слабое место, хотя само по себе — оно явление положительное, ибо сумело разрешить основные проблемы существования. Но в то же время утрачены идеалы: как идеалы старых времен, так и времен классического либерализма и демократии. Их мало-помалу хоронят. И нужна борьба за возрождение, за обновление их. Когда я говорю о Западе, особенно о Соединенных Штатах как его ведущей силе, то имею в виду те внутренние процессы, которые трудно понять, те кризисные явления, которые трудно определить с достаточной точностью; неудачи постигают одну администрацию за другой — то это конфликт Сената с президентом, то еще что-нибудь, парализующее весь государственный организм. И все же я верю, что парламентская демократия сумеет найти пути приспособления к новым условиям.

Мы живем в такое время, когда решения должны быть быстрыми, когда долгие дискуссии невозможны. Противник в этом смысле в лучшем положении (если сравнить СССР и США): Советский Союз обладает более отлаженным государственным механизмом, его военная политика скорее и даже адекватнее реагирует, несмотря на всю тяжеловесность бюрократии...

Вопрос. Что вы думаете о подписанном Картером и Брежневым соглашении о новом сокращении стратегических вооружений?

Ответ. То, что я уже говорил: мне непонятно, чего добиваются американцы, но абсолютно ясно, чего хочет Советский Союз. Он хочет так называемого «равновесия», которое для Москвы уже благоприятно. А вот чего хотят американцы, каковы их мотивы?

Вопрос. Еще десять лет тому назад США были первой мировой державой, а СССР — второй, теперь впервые похоже, что возникло равновесие?

Ответ. Равновесие, которое невозможно удержать. Оно скоро исчезнет. Да и что такое равновесие? Вы говорите о равновесии количественном? Число ракет и прочего оружия действительно почти равное. Но территория СССР почти вдвое больше, концентрация промышленности — куда меньшая, чем в США. Вот вам уже отсутствие точных критериев для оценки, уже трудно говорить о равновесии. К тому же нет и политических критериев, не говоря даже о военных. И само собой ясно, что это равновесие тоже скоро нарушится. Оно уже нарушено: если атомное еще существует, то в отношении равновесия в классическом оружии этого сказать нельзя. В этой области СССР уже сейчас сильнее. Все критерии, в общем, недостаточны, чтобы судить определенно.

Вопрос. Вы сказали, что у Запада нет времени для дискуссий. Что же, по вашему мнению, следует предпринимать?

Ответ. Вкратце говоря, я верю, что Запад может продолжить свое антиколониалистское и антирасистское направление, но должен быть очень тверд в вопросе советского вмешательства в судьбы слаборазвитых стран. Возьмите, к примеру, Афганистан*. Мне кажется, что в революционные события, происходящие там, никто не должен вмешиваться. Действительно никто и ничто. А на деле мы видим, что СССР содержит и поддерживает там с помощью трех или пяти тысяч советников военно-полицейский аппарат подавления, как и в некоторых других странах. Это и есть вмешательство. То же — в Анголе и в других странах. На этот счет не должно быть иллюзий. Ведь так или

* Интервью взято до советского вторжения в Афганистан. — Прим. ред.

иначе, советское влияние в мире увеличивается; СССР создал империю, каких еще не существовало. В нее входят, так сказать, «филиалы» с разной степенью зависимости от метрополии.

Вопрос. А что вы думаете о «неприсоединившихся» странах, как, например, о Кубе и Югославии? Что у них общего? И как вы относитесь к самому принципу «неприсоединения»?

Ответ. «Неприсоединение» — очень удобная форма для советского проникновения.

Вопрос. Итак — проникновение?

Ответ. Во всяком случае, это обычная форма советской внешней политики, если и не полное проникновение, то распространение просоветских настроений, как в свое время пресловутая политика создания «народного фронта»... Это только изменение форм воздействия.

Вопрос. Что это может значить для Югославии?

Ответ. Я думаю, что ее положение становится слабее. Это видно и из заявлений многих деятелей. К примеру, Доланц заявил, что среди «неприсоединившихся» стран положение Югославии весьма ненадежно, что «неприсоединение» — основная легенда о внешней политике страны. С усилением влияния просоветских элементов «неприсоединение» быстро может сойти к нулю. С другой стороны, существует некий моральный престиж, в силу которого Югославия будет продолжать придерживаться этого принципа. Хотя на конференции в Гаване атмосфера была странная... — антиюгославские настроения там были весьма заметны. И Арафат в президиуме, и приветствие Тито...

Вопрос. Что все это практически означает для внешней политики Югославии?

Ответ. Место Югославии — не среди «неприсоединившихся», она ведет себя так, словно перестала быть европейской страной. Я думаю, что она осторожно ищет поддержки Европы, но ее внешнеполи-

тическая линия останется прежней, и позиция ее будет еще больше ослабевать.

Наше правительство своей политики не изменит. Оно связано доктриной «неприсоединения». Вот тут и возможно обострение отношений как с просоветскими группами, так и с самим СССР.

Вопрос. Каков же выход для Югославии из этого положения?

Ответ. Я не вижу выхода, кроме как в крутом повороте всей внешней политики. Надо менять ориентацию. Возможны как перемены во внутренней политике, так и усиление связей с Европой без особо значительных внутренних перемен. Если бы политика «неприсоединения» претерпела некоторые изменения, Европа приняла бы известную устойчивость Югославии, ее позиции в остальном. Но «неприсоединение» стало главным препятствием. Это — кризис, который продолжается. Сравните прошлый год с нынешним — вы увидите немалые перемены, и не к лучшему.

Вопрос. В каком направлении развивается советская политика по отношению к Югославии?

Ответ. Ясно одно — советская политика имеет определенную цель: поставить Югославию в зависимое положение. Формы этой политики разнообразны. С одной стороны, активизировать Болгарию в македонском вопросе, с другой — усиливать влияние коммунистов во всем движении «неприсоединившихся» стран. Есть у СССР и другие возможности. Неясно, каковы связи советских политиков с крайне националистическими элементами Хорватии (усташами). Я не думаю, что хоть одно из подобных движений перспективно, но в любом случае они потенциально могут оказаться полезными для СССР. Есть и экономические возможности, ибо Югославия все же связана с восточным блоком, он для нас представляет весьма значительный рынок, мы ведем с ним крупную торговлю. Особенно важно, по-моему, то, что мы не стабильны. Конечно,

патриотизм в Югославии существует, но в то же время есть впечатление, что в Союзе Коммунистов появилась некоторая апатия и пассивность. И СССР может ее использовать в известный момент, скажем, гарантировать бюрократии прочное положение, вроде как они сделали это в Чехословакии: они гарантировали власть и привилегии определенным кругам. Этот фактор Москва тоже может учитывать в своей политике.

Я не верю в прямое военное вторжение, поскольку югославская военная машина достаточно стабильна. Но что-то предпринять косвенно они могут.

Вопрос. Что вы думаете о противостоянии Китая Советскому Союзу?

Ответ. В Китае происходят внутренние перемены. Там наступило теперь некое брожение в умах, некоторые перемены в сторону либерализации. Китай может пойти в этом направлении дальше, чем СССР, хотя сама система там не склонна к переменам. Но это не экспансионистская страна по сути*. Китай испытывает советское давление, но, в общем, обе системы сходны. И я думаю, что Китай может вполне верно оценить все, что касается СССР.

Вопрос. Не думаете ли вы, что представления китайцев в этой области искажены, преувеличены?

Ответ. Преувеличения бывают при эмоциональном подходе, идеологическом. Я же держусь мнения, что китайские представления об СССР рациональны. Перед войной, к примеру, гитлеровская Германия про-

* От редакции: На наш взгляд, нынешнее «миролюбие» коммунистического Китая объясняется лишь его военной и экономической слабостью, которая еще не позволяет ему осуществлять экспансию в сколько-нибудь широких масштабах, но он неизменно пользуется всяким случаем для локальных захватов. Вспомним хотя бы вероломную оккупацию Тибета, неспровоцированную агрессию против Индии, притязания на целый ряд индокитайских территорий. Так что «по своей сути» современный Китай ничем не отличается от своего советского собрата и при первой же возможности обнаружит эту самую свою «суть».

тивостояла СССР, пока Советы не заключили этот пресловутый пакт. Это привело к конфузу, но не было случайностью — они не слишком верили Гитлеру, но думали его умиротворить.

Вопрос. Думаете ли вы, что китайско-советский конфликт — это надолго?

Ответ. Думаю, что надолго. Он может менять формы, более или менее легкие, но длиться он будет. Я не очень верю в какой-либо конфликт между Западом и СССР, ибо Запад достаточно силен, но может быть конфликт косвенный между двумя системами — например, на Ближнем Востоке: одни пошлют войска туда, другие сюда, и возникнут необратимые последствия.

Вопрос. Вот уже 35 лет, как в Европе мир. Многие думают: «раз за такой срок СССР нам ничего не сделал, то и не сделает».

Ответ. По-моему, это иллюзии. Как сказал один американец, сейчас ситуация намного лучше, чем в 1947 году, значит, и опасности меньше. Но это неверно. Я помню, как было в 1947 году. Я еще был в правительстве. Я знаю, как мы чувствовали опасность. Она была ясна и Советскому Союзу. Это была разбитая страна, вступить в новую войну значило бы наверняка подвергнуться новой оккупации. Сегодня положение совсем иное. Насколько Европа сейчас укрепляется, настолько Америка попадает в позицию более слабую, чем в 1947 году. А СССР становится сильнее. Люди видят, что в Германии все идет хорошо, да и во Франции не так уж плохо, но если взять в глобальном масштабе, все выглядит иначе...

Вопрос. Хуже?

Ответ. Хуже. Я думаю, что мир медленно, против воли политиков, входит в конфликт большого масштаба. Представьте хотя бы, что в одно прекрасное утро просоветское течение побеждает в Иране. А кто даст вам гарантию, что такое невозможно и в других стра-

нах, где существуют эмиры или исламские владыки, называющиеся иначе? Это государства, монархии, где общество организовано самым несправедливым образом. И социальные конфликты там неизбежны. Тут для Запада может настать весьма сложная ситуация. То же грозит и другим странам. Европа не изолирована, она — часть мира. Я все же думаю, что Европа понимает свою огромную ответственность за дальнейшее развитие всего мира. Я никак не могу недооценить силу Америки, но все эти события развиваются в Европе.

Вопрос. По-вашему, Европа имеет достаточно возможностей для того, чтобы играть такую роль?

Ответ. Она достаточно сильна. Но, конечно, если солидарность европейских стран достаточно крепка, если они настороже. Европа не слабее восточного блока. Роль Европы в ее возможном позитивном воздействии на такие страны, как Польша, Венгрия, Югославия. И не следует удивляться, что Югославия ищет возможностей в среде «неприсоединившихся», если она не получает поддержки, которая нужна ей.

Вопрос. Вы думаете, что Запад должен оказать Югославии такую поддержку?

Ответ. Безусловно. Независимость Югославии необходимо защищать активно. Конечно, Запад не может сделать того, чего сама Югославия не делает; что касается внутренних проблем, оставьте их нам, мы сами будем искать решение.

Вопрос. Относительно того, что будет после Тито, — вы пессимист или оптимист?

Ответ. Я оптимист в том, что касается либерализации, но могут быть и обострения: инстинктивная реакция аппарата, допустим. Но я пессимист в вопросе о будущих трудностях. Они будут, ибо роль Тито была столь велика, что перемены могут быть нелегкими.

Вопрос. Что вы называете трудностями?

Ответ. Ну, например, активизация болгарских и албанских сил может привести к немалым трудностям.

Вопрос. А как с хорватами?

Ответ. Ну, я не верю, что хорваты могут устроить большие неприятности, но вполне возможно движение против централизма, за большую автономию. Это едва ли приведет к серьезным беспорядкам. Но могут возникнуть другие проблемы — отношения между сербами и хорватами, боснийская проблема.

Вопрос. Вы думаете, что Босния должна быть республикой в рамках Югославии или что ее надо разделить между Хорватией и Сербией?

Ответ. Я предвижу разные реформы и модификации, но лозунг «Босния автономна» — здоровый лозунг.

Вопрос. Значит, она не будет принадлежать ни сербам, ни хорватам?

Ответ. Да, это наиболее здоровое решение. Я не верю, когда эти националисты, хоть хорватские, хоть сербские, утверждают, что национальные проблемы в Югославии неразрешимы. Вы никак не можете утверждать, что сербская гегемония в Югославии существует.

Вопрос. Но в широких кругах хорватской эмиграции это утверждают?

Ответ. Да, но это скорее пропаганда. Шовинизм всегда имеет мобилизующее действие. Но сербской гегемонии не существует. Это видно хотя бы из того, что 40% сербов живет в других республиках Югославии: в Боснии, в Воеводине и других. Это ведь все отдельные государства, которые не так уж подчинены Белграду. Вы не можете, кстати, не ставить вопроса о хорватах, не ставя тем самым вопроса о сербах. Как сербы будут реагировать, каким станет их положение в национально смешанных областях?

Вопрос. Думаете ли вы, что можно найти единый ключ к разрешению взаимоотношений между

сербами и хорватами, сербами и мусульманами, мусульманами и хорватами?

Ответ. Это будет очень сложно. Я думаю, демократия — длинная дорога, и понадобится множество дискуссий, множество диалогов, чтобы все как-то поставить на место. Но как отправную точку надо использовать нынешнее положение вещей. У хорватов есть и сейчас некоторая автономия. Что касается Боснии, то тут прежде всего важно мнение самих босняков. Относительно мусульман и сербов — я верю, что и тут можно найти решение, которое устроит всех.

Вопрос. На Западе раздаются некоторые голоса, что просоветские настроения бытуют именно среди сербов...

Ответ. Не в Сербии. Может быть, в Черногории. Но там народ, который ставит свою независимость превыше всего в мире. Этот народ не пойдет назад. А сербы — сербы за Югославию. Конечно, есть некоторое заигрывание, но не настолько, чтобы проводить ясную просоветскую линию. Например, в нашей православной церкви есть явное стремление — не к просоветским настроениям, а просто к прорусским. А это другое... Хотя это играет, конечно, очень важную роль в политике. В Сербии всегда было сильно русское влияние, в том числе и культурное, не говоря о церковном. Но в сербском социализме скорее видны элементы австрийские или немецкие. Каутский, Бауэр, например... В этом смысле австрийское влияние куда серьезнее русского.

Вопрос. Может ли после Тито прийти к власти военная диктатура?

Ответ. В это я не верю. И если бы это случилось, это было бы концом для Югославии. Здесь любое военное руководство стало бы быстро сербским, с великодержавным духом, и отход от такой гегемонии немислим без гражданской войны... Это все-таки Балканы. Тут есть еще авторитарные структуры. Любой

режим тут, будь он самым демократическим, может быть мгновенно уничтожен армией. Но я не верю в прямую военную диктатуру, военные путчи не в наших традициях. В 1903 году был такой путч, но он быстро потерял военный характер. То же случилось и после путча 1941 года (Симович).

Вопрос. Как вы оцениваете роль русских, советских диссидентов?

Ответ. Как я говорил, Советский Союз измениться не может. Но я не стал бы утверждать, что эти люди мало что значат. То, что они существуют, — очень важный фактор. Они разрушают эту атмосферу монопольности в идеологии, явочным порядком устанавливают климат, годный для дискуссий, ставят вопросы о будущем России. Ведь советская система настолько подавляет, и аппарат ее настолько силен, что русский народ вообще утратил перспективы. Ну что за перспектива — оставаться всегда мощной империей? Это ведет только к большим войнам. И в этом смысле диссиденты очень важны, хотя я не вижу в обозримом будущем возможности победы для их движения. Но это уже не имеет значения.

Я точно так же не вижу здесь, в Югославии, никакой возможности успеха для своей позиции, но основное значение ее я вижу в том, что сопротивление существует и власти постоянно вынуждены думать, хорошо или плохо то, что я тогда-то или тогда-то скажу, и что им после этого делать. Возьмите, например, партийную программу Союза коммунистов Югославии — в прямой связи с моим арестом, как доказательство того, что обвинение было несправедливым, что они, коммунисты, на самом деле не испытывают никакой симпатии к либерализму и демократизму. В этой программе и верно не содержится ничего, что могло бы указывать на возможность перемен в сознании. В этом смысле диссиденты важны как субъект влияния на образ мыслей, что так или иначе сказывается на направ-

лении действий советской партийной бюрократии. Но это связано и со всем положением в мире. Мы можем произносить речи о переменах, в то время как СССР мог бы на деле сменить позицию, ну хотя бы в немецком вопросе. Никакого права продолжать насильственное разделение Германии он не имеет...

Вопрос. Права, конечно, нет, но сила-то есть?

Ответ. Да, сила есть. Мы говорим в каких-то наивных категориях. Итак: если у них есть сила, то тем самым и право. Но в этом случае вы должны быть готовы и к трудностям и к конфликтам.

Вопрос. А что вы думаете о новых тенденциях в Польше и Венгрии?

Ответ. Невозможно задержать их развитие, ибо это — жизнь.

Вопрос. Интересно, что в этих странах некоторые силы, в свое время полностью связанные с СССР, проявляют теперь стремление к национально независимому существованию — Герек в Польше, Кадар в Венгрии, Чаушеску в Румынии. Как это стало возможным?

Ответ. Эти люди прежде были больше коммунистами, чем поляками или венграми. Сегодня они почуяли новые тенденции в своих странах и поняли окончательно, что советская политика в меньшей степени коммунистическая, чем великодержавная. Но они не могут перейти известных границ, они идут недалеко, ибо не могут — реальность их сдерживает, но никто из них не хочет по доброй воле предавать свою страну.

Вопрос. Господин Джилас, ходят слухи, что вы написали очередную книгу ваших мемуаров. О чем она?

Ответ. Намерение такое было и есть, но я еще ничего не написал. Тема — послевоенное развитие Югославии, первые годы после войны. Вторая часть — различные наблюдения, третья — мой конфликт с партийным руководством. Но я думаю, что эти мемуары выйдут не так уж скоро...

В издательстве «Л Е В» вышли:

ТЭФФИ Н. — Воспоминания	45 фр. фр.
ГУБЕР П. — Дон-жуанский список А. С. Пушкина	52 фр. фр.
Вел. Кн. Александр Михайлович — Книга воспоминаний	54 фр. фр.
ВОЛКОНСКАЯ О. — Так тяжкий млат	48 фр. фр.
ТИТОВ А. — Лето на водах	48 фр. фр.
ЧЕРНЫЙ Саша — Румяная книжка	45 фр. фр.
ЧЕРНЫЙ Саша — Сатиры	44 фр. фр.
ЧЕРНЫЙ Саша — Солдатские сказки	44 фр. фр.
ТРУБЕЦКОЙ Кн. Е. — Смысл жизни	57 фр. фр.
ЦВЕТАЕВА Марина — Разлука — Стихи к Блоку	30 фр. фр.
ЦВЕТАЕВА Марина — Психея	33 фр. фр.
ЭФРОН Ариадна — Страницы воспоминаний	55 фр. фр.
ЖИЛЬЯР Пьер — Тринадцать лет при русском Дворе	54 фр. фр.
МИНЦЛОВ С. Р. — За мертвыми душами	48 фр. фр.
ЛЕЙКИН Н. А. — Где апельсины зреют	44 фр. фр.
НОРД Лидия — Маршал М. Н. Тухачевский	46 фр. фр.
ПАЛЕОЛОГ М. — Роман Императора	30 фр. фр.
МЕЛЬГУНОВ С. — На путях к дворцовому перевороту	48 фр. фр.

Готовятся к печати:

Дневник Императора Николая II (1890—1906 гг.)

ЦВЕТАЕВА М. — Волшебный фонарь

ЦВЕТАЕВА М. — Вечерний альбом

ЧЕРНЫЙ С. — Детский остров

ГОЛЛЕРБАХ Э. — Город муз

ИВАНОВ Г. — Стихи 1943—1958

Кн. Ф. Ф. ЮСУПОВ — Конец Распутина

**ПРИ ОПЛАТЕ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, УКАЗАТЬ
НОМЕР НАШЕГО СЧЕТА**

Пересылка за счет покупателя.

Книжникам обычная скидка.

EDITIONS «L E V»

85, rue Rambuteau · 75001 Paris (France)

Credit Lyonnais Agence AD-429

141, avenue Mozart 75016 Paris (France), Compte № 67.64 P

Editions Lev — Chocholeux

Специальное приложение



**Ответы А. Сахарова на вопросы
корреспондента Эй-Би-Си Ньюс
Ч. Е. Бирбауэра**

1. Какое значение имеет для советского народа изменение международного положения в результате событий в Афганистане, изменение отношений СССР с США?

Ухудшение международного положения, сокращение ввоза зерна и ограничение технико-экономического сотрудничества с Западом, конечно, скажутся на положении населения СССР. Меры эти, я убежден, носят вынужденный, ответный характер. Временный характер носит также, как я надеюсь, приостановка обсуждения ОСВ-2 и других вопросов разоружения. Главное, что должно волновать сейчас людей в СССР, как и во всем мире, — идущая в Афганистане война, опасность ее расширения. Каждый день, каждый час гибнут афганцы, гибнут советские солдаты, и их семьи получают похоронные. В этом районе Азии нарушено мировое равновесие. Опыт прошлого учит, что такие события, если человечеству не хватает мудрости, сдержанности и решительности, твердости и готовности к необходимым жертвам, могут стать началом большой войны. Каждое действие стран Запада, третьего и социалистического мира, каждое заявление политических деятелей сейчас надо расценивать с одной точки зрения — способствуют ли они выходу из трагической ситуации, устранению опасности для мира во всем мире.

2. Что означает изменение международного положения для диссидентов, для желающих эмигрировать?

Меня волнует усиление политических репрессий в СССР, продолжающееся нарушение права на эмиграцию, свободы убеждений, информации, вероисповедания и других основных прав. За последний год арес-

товано и осуждено более ста узников совести. Арестованы лично мне близкие Татьяна Великанова и Виктор Некипелов, которых я считаю образцом служения людям, общественному долгу, многие другие. Эти репрессии начались до событий в Афганистане; но сейчас, с обострением положения, можно опасаться дальнейшего усиления репрессий, еще большего затруднения эмиграции евреев, немцев, верующих и других. Мы глубоко благодарны всем на Западе, кто — вне зависимости от национальности и партийной принадлежности — выступает в защиту узников совести СССР, Восточной Европы, Китая, во всем мире.

3. Что вы думаете об отмене проведения Олимпийских игр в Москве?

Пока СССР ведет военные действия в Афганистане, проведение Олимпийских игр в Москве противоречит Олимпийской Хартии. Это очевидно. Или Олимпийский Комитет должен не заметить голосования в Совете Безопасности и резолюции Генеральной Ассамблеи — или сделать соответствующие выводы, несмотря на возникшие финансовые затруднения. Я знаю, что многие, в первую очередь спортсмены, с нетерпением ждут игр. Но они должны винить тех, кто нарушает принципы международного права.

4. Что могут сделать западные страны, чтобы выявить свое отношение к действиям СССР в Афганистане?

События в Афганистане — большая беда, большая опасность. Единственно возможный выход из этого — немедленный вывод советских войск из Афганистана, быть может, с заменой их войсками ООН. Я считаю оправданными политические и экономические меры со стороны западных и неприсоединившихся стран, которые имеют целью привести СССР к изменению позиции, — в том числе временное свертывание торговых

и научно-технических отношений, отмену Олимпиады в Москве. Самое главное, чтобы мир был един не только в своих оценках, так убедительно прозвучавших в Совете Безопасности и на Генеральной Ассамблее, но и в действиях. Советскому вмешательству в дела Афганистана предшествовал возмутительный захват заложников в Иране. Между этими событиями, возможно, существует внутренняя связь. В нашем мире, где все взаимосвязано, мы не можем рассматривать их изолированно. Я надеюсь, что твердая и сдержанная позиция США, их президента, единство американского народа приведут к разрешению конфликта и освобождению всех заложников. В иранском конфликте, как и в афганистанском, США защищают основные принципы международного права, демократии, цивилизации. Я не удовлетворен двусмысленной официальной позицией СССР в иранском деле и решительно осуждаю военные действия в Афганистане. В действительности СССР — так же, как и другие страны, — заинтересован в стабилизации положения. Людям нужен мир. Я надеюсь на победу здравого смысла.

Москва, 17 января 1980

K

КОНТИНЕНТ

Годовая подписка (4 номера)
40.— ДМ, или 25.— US\$, включая пересылку.

Вы экономите 8.— ДМ, или 5.— US\$
от розничной цены!

Желаю оформить подписку на 1 год (4 номера)

Имя:

Адрес:

.....

.....

Оплату произвожу:

приложенным чеком почтовым переводом
через банк

Платеж и заполненный талон просим направлять:

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB
Bauerstr. 28, 8000 München 40, West Germany

Bankkonto: Bayerische Vereinsbank München Nr. 6304630
Postscheckkonto: München 147391-804



1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

Условия подписки на журнал «КОНТИНЕНТ»

На 1 год — 40 н. м.; на 6 месяцев — 20 н. м.

Цена одного номера — 12 н. м.

Пересылка за счет подписчика

Подписка может быть оформлена в генеральном представительстве «Континента» по адресу:

A. Neimanis · Buchvertrieb

8000 München 40 · Bauerstrasse 28 · Germany

а также у корреспондентов журнала (адреса на второй странице обложки) или у представителей «Ассоциации друзей «Континента»:

США: Вост. побережье — Э. Штейн (E. Sztein),
594 Chestnut Ridge Rd. Orange, Conn. 06477
U. S. A.

Зап. побережье — В. Соколов (V. Sokolov),
871 Alice St. Apt. 6, Monterey, CA 93940,
U. S. A.

Мичиган — О. Политис, 3133 No. Wagner
Rd., Ann Arbor, Mich. 48103, U. S. A.

**Генеральное представительство
«КОНТИНЕНТА»**

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB

8000 München 40 · Bauerstr. 28 · Germany

Человек на все времена

Арестован и выслан в город Горький Андрей Сахаров, лауреат Нобелевской премии Мира. Для нас очевидно, что решение о его аресте могло быть принято только на самом высоком уровне — в Политбюро ЦК КПСС. Это опаснейший вызов стране и миру, свидетельствующий о резко возрастающей фашизации Советского Союза со всеми ее трагическими последствиями, внутренними и внешними.

Андрей Сахаров — светлейший, гуманнейший человек, совесть России, и символическое значение его фигуры ставит происшедшее далеко за рамки рядового ареста. После такого — нет ничего, на что не решились бы кремлевские вожди. Теперь от всех нас, от каждого из нас, от нашей воли к сопротивлению зависит всё — не только свобода Андрея Сахарова, но и судьба свободы во всем мире.

*Владимир Буковский · Александр Гинзбург ·
Наталья Горбаневская · Эдуард Кузнецов ·
Владимир Максимов · Леонид Плющ · Татьяна
Ходорович*

Париж, 22 января 1980